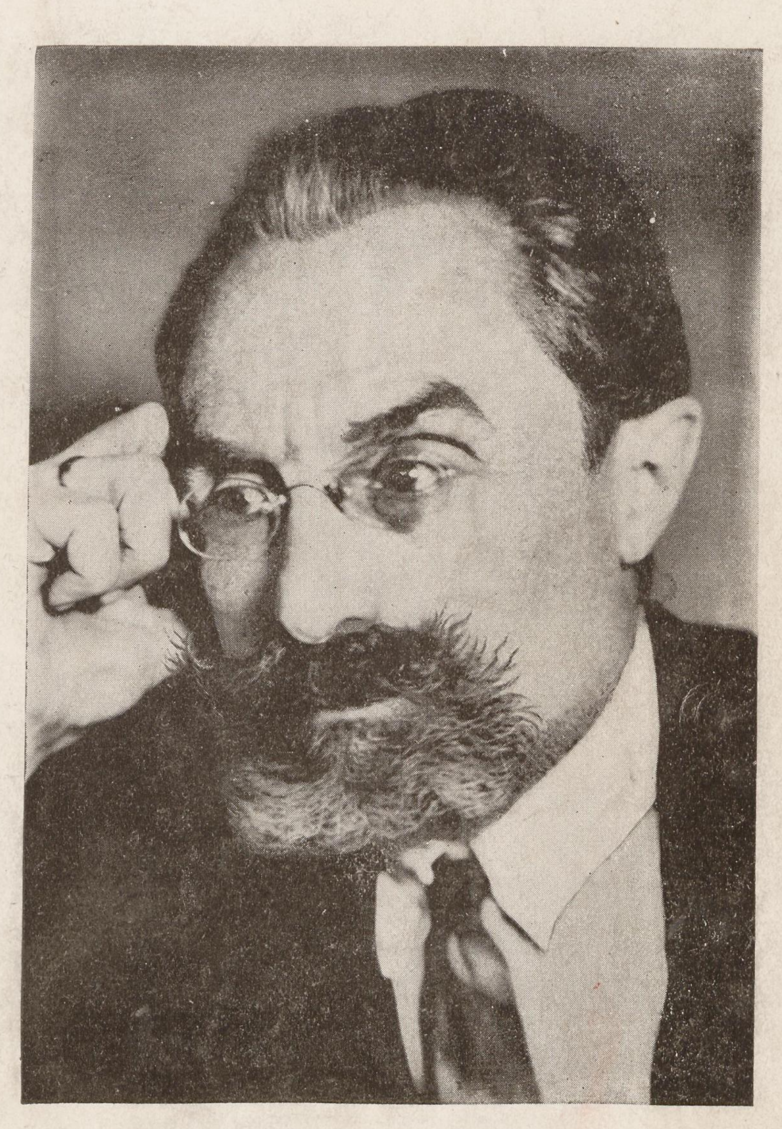
王大

Н. Байковъ.

В дебряхъ Маньчжуріи.

樹海



Н. Байков.

Н. А. БАЙКОВ.

В ДЕБРЯХ МАНЬЧЖУРИИ.

Очерки и рассказы из быта обитателей тайги.

ФОТОСНИМКИ И РИСУНКИ АВТОРА.

ХАРБИН.
1934 г.

Разрешено цензором Управления Великаго Харбина.

Типо-Хромо-Литография и Издательство „Офсет-Пресс"
Р. М. Бурсук.

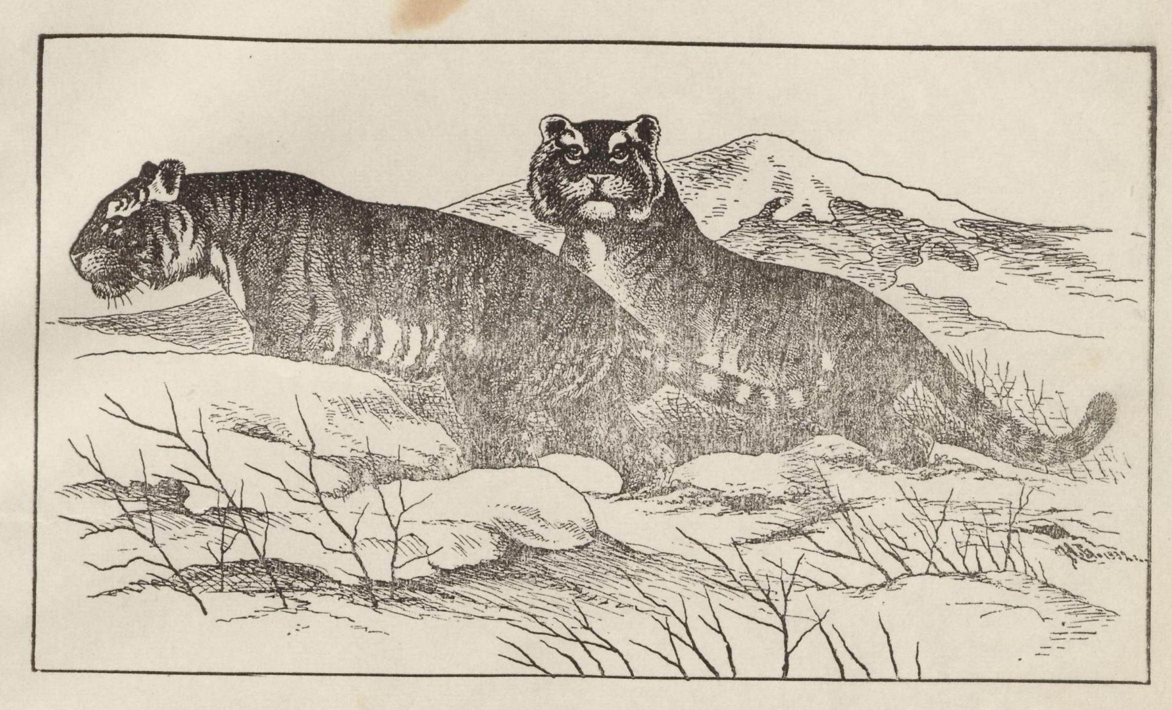
1. ПРЕДИСЛОВИЕ.

Эта книга является плодом личных моих наблюдений, переживаний и впечатлений во время многолетних скитаний по горам и лесам Маньчжурии. Она только слегка приподнимает завесу, скрывающую от взоров культурного человека интересный мир, полный таинственной романтики и очарования. Этот мир, ныне отживающий, сохранился еще во всей своей неприкосновенности там, где стоят, нетронутые рукой человека, девственные первобытные леса и простираются на сотни километров дикие пустыни.

С проникновением в край культуры, площади этих лесов сокращаются и исчезает прекрасная первозданная природа, а с нею тот оригинальный мир, который в настоящее время является реликтовым остатком древнейших эпох истории человечества.

АВТОР.

ОГЛАВЛЕНИЕ.



Тигры в снегах Татудинзы.

Туалет тигра. Очистка когтей.

2. ЖЕРТВА ГОРНОМУ ДУХУ.

Первобытные, дикие леса юго-восточной Маньчжурии, занимающие обширные площади Гириньской провинции, хранят еще в таинственных недрах своих древний отживший мир тех отдаленных времен, когда, в смертельной борьбе за существование, человек отстаивал свою жизнь и место свое на земле.

Леса эти тянутся на сотни километров и заливают темнозелеными волнами своими горные хребты, долины рек и высокие плоскогорья. Как безбрежное бурное море, шумят они, и эта дикая песня тайги напоминает о былом, давнопрошедшем.

У местных жителей леса эти известны под именем „Шу-Хай", т.-е. Лесное море.

СМжд пересекла их поперек, с северо-запада на юго-восток, и внесла в их дремучие дебри новую жизнь, современную культуру и могучие достижения технической науки.

Но в самых отдаленных уголках Шухая, куда не проник еще культурный человек со своими хитроумными машинами, царит еще древний языческий бог первобытных лесов и диктует всему живущему свою непреклонную жестокую волю, которая сказывается во всем укладе жизни и быте обитателей тайги.

Здесь свой особый мир, который ничего не имеет общего с тем миром, в котором живете Вы, мой любезный читатель.

Здесь нет места людям, слабым духом и телом. Праздность и беспечность не созданы для обитателя леса, их не должен знать бродяга лесной; праздность ослабляет силы, беспечность ведет прямо к смерти.

Тайга—это стихия, полная жизни, где совершаются бесконечные биологические процессы, возникают и погибают различные формы, где смерть сменяет жизнь и жизнь зарождается в смерти. Природа здесь уравновешена и гармонична во всех частях; ее законы последовательны и логичны, и суровы до жестокости; всякий, нарушающий их, становится «вне закона» и погибает безусловно, уступая свое место более сильному, приспособленному.

Таежная жизнь выработала особый кодекс неписанных законов, опирающихся на своеобразные обычаи, ведущие свое происхождение от древнейших времен, когда человечество не знало еще общественности и социальный строй его находился на самой низкой ступени развития.

Это закон тайги, суровый и беспощадный.

Здесь своя лесная мораль, своя этика и свой оригинальный принцип справедливости и возмездия.

Тягчайшим преступлением здесь является не убийство, но воровство и карается высшей мерою, т.-е. смертью.

Таежный суд быстр и неопровержим.

Потерпевший обыкновенно является свидетелем; судьями избираются ближайшие соседи.

Приговор приводится в исполнение немедленно.

Уличенного в воровстве обычно закапывают живым в землю, причем яму копают все сообща, кроме осужденного.

Перед казнью преступника напаивают до бесчувствия ханшином, такова традиция.

Зимою же, когда земля промерзает на два метра, и выкопать яму не представляется возможным, осужденного отдают на растерзание тиграм, для чего привязывают его к стволу дерева на тигровой тропе, т.-е. в том месте, где постоянно ходят эти хищники, при совершении своих охотничьих экскурсий.

Дерево это и место, где был растерзан человек, считается у таежных жителей священным. Здесь ставится кумирня в честь тигра, Великого Вана, Горного Духа, и всякий прохожий сжигает здесь свечу молитвы и кладет камень у корней священного дерева.

В глуши Шухая нередко можно встретить вековой дуб, или гигантский кедр, со следами тигровых когтей на коре и с кучкою обомшалых камней у корневища.

В настоящее время, с проникновением в край культуры и цивилизации, обычай этот выводится и отходит в область преданий, но еще два десатка лет тому назад он действовал беспощадно, являясь сдерживающим началом для преступных элементов.

Втечении моих многолетних скитаний по горам и лесам Маньчжурии, мне приходилось непосредственно наблюдать эту своеобразную, чрезвычайно интересную жизнь и нередко принимать в ней деятельное, активное участие.

Особенно ярко рисуется в моей памяти один из таких кровавых таежных эпизодов.

Это было в январе месяце. Около двух недель охотились мы в дремучих кедровниках верховьев Хайлинхэ на кабанов, и постепенно подвигались к западу. Прямо перед нами возвышалась скалистая пирамидальная вершина Татудинзы, освещенная красноватыми лучами заходящего солнца. Короткий зимний день приближался к концу. Со мной был неизменный товарищ по таежным скитаниям, промышленник Акиндин Бобошин. Его гигантская фигура маячила передо мной по тропе, оставляя за собой струю едкого табачного дыма.

Не доходя версты две до фанзы знакомого зверолова, мы нашли свежие следы больших тигров; звери пересекли тропу, направляясь в дубняки, где, вероятно, держались в то время кабаны.

Мы прибавили шагу, чтобы засветло дойти до фанзы.

Стемнело совершенно, когда мы подошли к фанзе старого Тун-Лин.

Услышав наши шаги еще издалека, он вышел нас встретить.

«Моу-цзы Бобошка! Пенснэ! Здравствуй!“,—кричал обрадованный зверолов, приглашая нас войти в натопленную уютную фанзу.

Мы разоблачились, и вскоре ароматные пельмени наполнили фанзу вкусным запахом. Нечего и говорить, что от большой миски пельменей вскоре не осталось и следа.

Утолив голод и жажду, мы расположились на теплых канах, как у себя дома, и незаметно заснули богатырским сном.

Перед рассветом я проснулся, с намерением выйти из фанзы.

Луна уже зашла и в тайге было темно, как в яме. При слабом свете ночника я еле различил сгорбленную фигуру старика, стоящую у дверей. Он очевидно к чему-то прислушивался. Не зная, в чем дело,

я задал ему обычный вопрос: «Шима?» Он замахал на меня рукою, приглашая послушать.

Когда я приблизился к нему, он прошептал: „Ходи не надо! Шибко худо есть! Около фанзы ходи два Большой Начальник—Ван! Моя всю ночь слушай его шаги. Его шибко сердись и хочу кушай китайски люди!" В подтверждение своих слов, напуганный старик указал мне место, откуда доносились звуки, и я действительно ясно услышал скрипение снега под чьею-то тяжелою стопой и по временам сдержанное ворчание и фырканье. По этим характерным звукам я догадался, что вокруг фанзы бродят тигры. Иногда они подходили вплотную к фанзе и казалось вот-вот вломится один из хищников внутрь. Инстинктивно я схватился за винтовку, но старый зверолов неодобрительно покачал головой, говоря: „Пу-ю! Пу-ю!".

Бобошин в это время также проснулся и отнесся совершенно спокойно к появлению хищников. В ночной темноте стрелять их все равно бесполезно и мы решили чуть-свет отправиться за ними по следам.

Видя наше спокойствие, Тун-Лин перестал нервничать и рассказал нам историю о тиграх людоедах, появляющихся через каждые десять лет за данью, в виде человека. Человеческая жертва должна быть представлена ему людьми добровольно, в противном случае людоед не ограничится одним человеком, а возьмет десять. Таково народное поверье. Ван со своей подругой уже вторую ночь приходил к фанзе, требуя себе жертву.

То же самое он проделывал и с другими фанзами звероловов в ближайших окрестностях. В конце, концов зверь навел такую панику и так терроризировал несчастных таежников, что они сообща решили исполнить волю Горного Духа, Вана.

Добровольно, конечно, никто из них не соглашался принести себя в жертву, но тут подвернулся счастливый случай: в дальней фанзе, на западном склоне Татудинзы, один из рабочих китайцев, приносивших продукты из Цунхэ, уворовал из тайника две собольих шкурки, его поймали с поличным, судили своим судом и приговорили к смерти в когтях тигра.

Когда в тайгу проникли первые отблески зари и скалистый кряж Татудинцзы озолотился солнечными лучами, мы с Бобошиным, ежась от холода, шагали уже вверх по тропе, по следам уходивших хищников.

Пройдя по следам их верст десять, мы остановились перед отвесною грядою гранитного гребня хребта Лао-э-лина. Следы хищников вели нас на эти отвесные кручи, недоступные для человека. Волей-неволей пришлось нам обходить этот кряж, который тянулся с севера на юг более чем на 20 верст.

Мы стояли на склоне хребта, поросшего дубняками. Всюду виднелись следы и покопки кабанов. Мы решили бросить на сегодня тигров и заняться кабанами, исходя из того соображения, что лучше синица в руки.

Скрадывать вдвоем зверя было неудобно и мы разошлись. Бобошин, как обладатель длинных ног, пошел в обход и засел на перевале, куда должны были двинуться кабаны после моих выстрелов.

Не прошел я и четырехсот шагов, как услышал характерный визг поросят.

Был ясный лучезарный полдень, какие бывают обыкновенно в середине зимы.

Белая пелена снега, покрывавшая южный склон хребта, искрилась всеми цветами радуги и слепила глаза.

Чувствуя близость зверя, я медленно подвигался вперед, стараясь не слышать самого себя.

Тишина была невозмутимая, только где-то недалеко, в редких дубняках слыщалось какое-то движение, шорох и задорное хрюканье молодых зверей. Стая сорок с безпокоиством носилась над ними и неугомонные дятлы стучали по стволам деревьев.

Зная, что кабаны находятся в ближайшем дубняке, я стал скрадывать их, переползая от одного дерева к другому.

Вскоре глазам моим открылась следующая картина: на солнопеке, среди дубового леса расположилось огромное стадо кабанов. Весь отлогий склон хребта был испещрен черными силуэтами зверей всевозможных возрастов, тут были старые секачи, с внушительными острыми клыками; подростки, с еле заметными зачатками клыков; молодые игривые свинки и старые матерые свиньи, окруженные суетливою и шумною толпой прибылых поросят.

Воздух тянул на меня и, стоя за деревом, я мог спокойно любоваться этой лесной идиллией и с наслаждением охотника втягивал в себя аромат тайги, пригретой солнцем, и специфический острый запах зверей.

Сколько было здесь кабанов, сказать трудно, но судя по площади, ими занятой, не менее двухсот.

Считая себя в полной безопасности, звери были беспечны и вели себя непринужденно. Многие расположились на отдых и лежали на мягких постелях из веток и сухой травы. Молодежь резвилась, гоняясь друг за другом взапуски. Тут-же вертелись лесные сплетницы сороки и прыгали по спинам и бокам кабанов, освобождая их густой пушистый мех от насекомых.

Долго я стоял, не шевелясь, за стволом старого дуба, не будучи в состоянии нарушить эту мирную безмятежную жизнь лесных обитателей чуждым ей звуком ружейного выстрела.

Но, вспомнив наше решение и выполняя свою задачу, я с неохотой поднял дуло винтовки и навел вершину мушки в левую лопатку ближайшого ко мне секача, стоявшего боком и чесавшего свой правый окорок о ствол дуба.

Грянул выстрел и кабан, сделав несколько шагов вперед, зашатался и лег на бок, обагряя кровью снег и желтый прошлогодний лист, вскопанный зверями, в поисках жолудей.

Первое мгновение после выстрела наступила мертвая тишина, ни один звук не тревожил притаившуюся тайгу. Затем, в мгновение ока звери ринулись на утек, вверх по косогору, на перевал хребта, где засел Бобошин.

Несмотря на стремительный бег большого стада по дубнякам и зарослям не было слышно ни одного звука этого движения: каждый зверь, сознавая опасность, пробирался по тайге бесшумно.

Вскоре на гребне хребта раздались, один за другим, два выстрела. Это стрелял Бобошин по двум кабанам, как всегда без промаха.

Когда я подошел к лежащему зверю,—он был уже мертв.

Небольшой карий глаз его еще не потерял жизненного блеска и смотрел вопросительно в голубое небо.

Могучая, плотная фигура зверя была красива и белый трехгранный клык грозно сверкал на конце длинного крутого рыла.

Судя по крупной голове, вес зверя достигал пятнадцати пудов.

Чтобы не давать туше застыть, я принялся немедленно за потрошение, что потребовало около часа времени, так как одному трудно было поворачивать тяжелое животное.

Желудок его был битком набит полуразжеванными жолудями и свежими побегами какого-то кустарника.

Для предохранения зверя от мелких хищников, пришлось навалить на него мелких веток и листьев, для чего я воспользовался кабаньей постелью; кроме того сверху еще присыпал снегом.

Бобошин убил кабана и молодую свинью. Когда я вышел к нему на перевал, он кончал потрошение зверей.

„Знаешь, Пенснэ! А ведь тигры-то здесь недалеко!"—произнес Бобошин, вытирая окровавленные руки снегом и закуривая свою короткую трубку носогрейку—„вон посмотри, чьи это следы?—указал он головой на тропу, проложенную на самом гребне хребта.

Сомнений не могло быть. Здесь была битая тропа, по которой хищники совершают свои обходы. Следы совершенно свежие, звери прошли не ранее утра и вероятно находятся где-то поблизости.

Завалив кабанов снегом, мы двинулись по этой тропе, придерживаясь следов зверей. Как большинство тигровых троп, она извивалась по гребням хребтов, вдоль каменистых россыпей, выходила на утесы и горные выступы, где хищники имеют обыкновение лежать и сидеть, обзирая окрестности.

В одном месте, под навесом скал, тигры отдыхали и колоссальные фигуры их резко отпечатались на девственной пелене снега.

Расстояние между нами очевидно сокращалось, но все-же наступившая ночь заставила нас искать убежища в одной из горных пещер, часто встречающихся в этой части Лао-э-лина.

Натаскав сухих листьев для постелей, мы с комфортом переночевали в уютной пещере и спали как убитые. Бобошин несколько раз будил меня, чтобы я послушал музыку тайги. Всю ночь, до самого рассвета где-то поблизости ревели тигры и грозные голоса их рокотали в лесных дебрях и горное эхо вторило им в далеких падях и ущельях.

Это была „звериная ночь", когда тигры сходятся вместе, дерутся из-за самок и оглашают безмолвную тайгу своими громовыми голосами. В остальное время года они молчаливы и ведут одинокий скрытый образ жизни.

Под утро, едва только порозовела скалистая вершина Татудинцы, мы были уже на ногах. Наскоро напившись чаю, мы снова зашагали по хребтам и увалам, по следам уходивших хищников.

К полудню вышли мы на крутой перевал, где представилась нам ужасная картина гибели человека в когтях преследуемых нами зверей. На самой вершине перевала снег был смят и вытоптан широкими лапами гигантских кошек и окровавлен. Всюду валялись обрывки и клочки ватной китайской одежды; тут-же торчали из под снега кожаные улы, порванные и измятые зубами зверей. Около меховой шапки под старым кедром, извиваясь как змея, блестела черная длинная коса. На коре дерева висели обрывки крепкой пеньковой веревки, толщиною в палец. Ствол кедра обрызган кровью. Недалеко отсюда, в замерзшей луже крови лежал обглоданный человеческий череп, ступни

ног, кисть руки и кости бедра. Вот и все, что осталось от несчастного китайца. Смотря на все это, можно было легко представить себе кошмарную таежную драму. Слова Тун-лина оправдались: человек, нарушивший закон тайги, был приговорен к смертной казни и отдан на растерзание зверей. Крепко привязанный к стволу дерева, прежде, чем принять мучительную смерть, он должен был испытать невероятные переживания, т.-к. свирепые кровожадные хищники по частям отрывали части его тела, чтобы освободить его от веревки. Мы долго стояли на этом лобном месте, где совершена была казнь во имя таежного правосудия.

Даже крепкие нервы Бобошина не выдержали и он разразился невероятной руганью по адресу знакомых ему таежников.

„Вот черти! Ироды проклятые! Накормили-таки человечьим мясом своего бога! Чтоб им принять такую-же смерть, окаянным!

Погоди-же! Попадись теперь мне на мушку ихний Великий Ван! Спущу с него полосатую шкуру!".

Долго еще возмущался мой приятель и его густой бас гудел под сводами дремучего леса.

Яркое маньчжурское солнце посылало свои веселые радостные лучи на горы и леса и равнодушное голубое небо сияло из бездонной прозрачной своей глубины.

На даровой кровавый пир слеталось голодное вороньё и зловещий клекот их нарушал тишину таежной пустыни.

Молча, понурив головы, думая свои думы, мы снова шагали по тропе, преследуя хищников.

Бобошин ожесточенно курил, пыхтя, как паровоз, своей носогрейкой, оставляя за собой струю едкого табачного дыма. Бронзовое лицо его выражало решимость и в глубоких зрачках серых глаз светилась непримиримая злоба.

Пролетая над вершинами таежных великанов, громко каркал старый горный ворон, сзывая товарищей на дикий кровавый пир.

Вскоре звери разделились и мы пошли по следам старого самца, Великого Вана.

Неустанно преследуя зверя и не давая ему возможности кормиться и отдыхать, мы выгнали его на лесные концессии вблизи линии железной дороги, где работали по вывозке бревен многочисленные обозы китайцев — возчиков. Изголодавшийся хищник втечение трех дней умертвил здесь четырех лошадей и двух погонщиков китайцев и навел такую панику на всех рабочих концесссии, что они наотрез отказались выехать в лес. Работы прекратились, и ужас объял обитателей тайги: появился Ван—людоед и требует себе человеческих жертв.

В кумирнях и таежных фанзах совершались моления грозному богу гор и лесов и дым благовонных курильниц возносился к синему безоблачному небу. Тайга притихла и чутко прислушивалась к шелесту сухих листьев, к треску сломанного сучка под тяжелою, мягкою стопой свирепого зверя.

Обозленный нашим преследованием, хищник решил дать нам бой и залег на своих следах, сделав засаду за пнем гигантского кедра.

Солнце высоко стояло в небе, бросая свои яркие лучи в чащу леса. Тихо и осторожно пробирались мы, вдвоем с Бобошиным, по тигровым следам, зорко всматриваясь в густые заросли тайги. Крики

Кумирня Ху-Мяо на горном перевале
Лао-э-лин.

Кабаны на солнопеке.

ворон и сорок заставили нас остановиться. Мы знали, что это верный признак близкого присутствия хищника.

Кроме этих криков, ни один звук не нарушал торжественную тишину дремучего леса.

Нервы наши были приподняты. Сердце усиленно стучало в грудную клетку. Мозг энергично работал. Сознание неизбежности смертельной борьбы удесятеряло наши духовные и физические силы.

Разойдясь на двадцать шагов, мы двинулись вперед по следам.

Вскоре показались над лесом черные силуеты ворон.

Они летали и неистово каркали над поляной, посреди которой возвышался широкий пень спиленного кедра.

За пнем, притаившись и сжавшись в комок, темнела длинная полосатая фигура зверя. Вытянутый, как струна, пушистый хвост его конвульсивно вздрагивал.

Словно по команде, мы остановились. До пня не более тридцати шагов. Хищник внимательно следил за нами, ожидая нашего приближения.

Момент был критический.

Зверь, видя, что мы остановились, решил перейти в наступление.

Прижав уши назад и вытянув туловище, он готовиля к роковому прыжку. Стальные мускулы его напряглись.

После первых наших выстрелов, зверь делает гигантский прыжок вперед и падает на бок, издавая яростное рычание.

Но быстро справившись, он вскакивает на ноги, стремясь добраться до нас, но вторые пули „exspresse", направленные в голову и в сердце, сражают его окончательно и могучий хищник, взревев и бросившись в сторону, вытягивается на белой пелене снега во весь свой колоссальный рост.

Еще один последний вздох гигантской груди и жизнь покидает прекрасное тело Великого Вана.

Перед нами лежал во всей своей дивной красоте царственный зверь, грозный Дух гор и лесов Маньчжурии.

Страшная пасть его, вооруженная острыми коническими клыками, была окровавлена.

Мертвый желто-зеленый глаз, с круглым зрачком спокойно смотрел в ясное голубое небо.

„Вот тебе и Великий Ван! — произнес Бобошин, набивая свою трубку корешками — Довольно! Попил человеческой кровушки, а теперь сам потерял свою шкуру! А важная, чорт возьми, мантия у ихнего бога! Чай, рублей 200 стоит!"—продолжал он, поглаживая своей заскорузлою рукой роскошный бурокрасный мех тигра.

Теперь только, когда хищник был убит, и победа склонилась в нашу сторону, нервы наши начали сдавать, и мы почувствовали наступившую реакцию. Теперь только нам понятна стала та смертельная опасность, которой мы подвергались!

Длина зверя на четверть презышала 5 аршин. Вес оказался около 20 пудов. (Длина—3 метра 80 сант. Вес—325 килогр.)

Так окончил дни свои Горный Дух тайги и поплатился своей шкурой за многих растерзанных им людей.

Прошла суровая зима с ее вьюгами и метелями, приносимыми из ледяных пустынь Сибири северо-западным циклон.

С берегов Тихого Океана повеяло теплою влагой и тайга оживи-

лась. Зашевелились почки на деревьях; на солнопеках показалась зеленая трава; зацвели ландыши, черемуха и вишня и нежный запах их слышался всюду, в чаще леса и на горных лугах.

Жажда жизни и творчества пробудились в растительном и животном мире. Горы и леса огласились песнями любви и призывными криками птиц и зверей.

По утренним и вечерним зорям начали токовать тетерева.

В зарослях речных урем и на склонах гор все чаще и громче раздавались голоса фазанов-петухов.

Радостная светлоликая весна сыпала свои прекрасные дары на оживающую природу.

Под ласкою солнечных лучей влажная земля дышала полною грудью и аромат этого дыхания наполнял прозрачный воздух горных долин и ущелий.

Этою же весной мне пришлось побывать в фанзе старика Тун-Лина.

Старый зверолов, успешно окончив свой зимний промысел и ликвидировав его результаты в ближайшем городе, вернулся опять в тайгу, добывать золото в песчаных россыпях горных речушек и собирать драгоценный жэнь-шэнь на северных склонах главного хребта Лао-э-лина.

В беседе со стариком, я напомнил ему кровавый эпизод минувшей зимы, и он поведал мне свои заветные думы и мысли, рождавшиеся в его дряхлой, удрученной годами, седой голове.

,,Душа человека, съеденного Ваном,—повествовал мне Тун-Лин— витает здесь же, недалеко от того места, где разорвано было его тело. Она переселилась в птицу Цяор, которая летает в горах, по вершинам вековых кедров и жалобно стонет, называя свое имя. Увидеть ее простому человеку нельзя, это доступно только великому праведнику и безгрешному, с чистым непорочным сердцем.

Если ты пойдешь на этот крик из любопытства, он заведет тебя в глубину тайги. ты заблудишься и попадешь в лапы Горного Духа. Птица эта хранит золото и жэнь-шэнь и приводит к Вану обреченного человека. На месте том, где был разорван человек, из крови его выростает весною красный мак,—это великий талисман и лекарство от болезней"...

Много еще говорил мне старый зверолов о таинственной птице и различных талисманах.

Желая услышать крик этой птицы и питая некоторую надежду увидить ее хоть мельком, я угворил старика пойти со мной на тот горный перевал, где совершена была казнь человека.

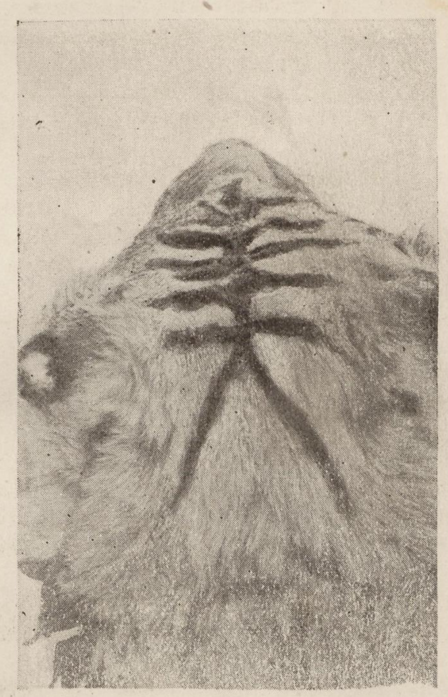
На следующее утро, едва только солнечные лучи осветили вершину Татудинзы, мы быстро шли по тропе, подымаясь на крутой перевал главного хребта.

Часа через два быстрого хода мы были уже на месте.

По просьбе Тун-Лина я остановился шагах в ста от лобного места.

На самом перевале по прежнему стоял вековой кедр. На седой коре его виднелись глубокие следы когтей хищника. У корней возвышался небольшой холмик камней. На ветвях деревьев повешаны были лоскутки одежды растерзанного человека.

Подойдя к кедру, Тун-Лин упал на колени и долго и усердно молился, обращая свои взоры на вершину дерева.



Голова тигра с иероглифами ,,Ван“ —,,Да“.

Горал—обитатель скалистых вершин.

Вокруг кедра, в яркой зелени молодой травы, как капли крови, алели пунцовые цветы дикого мака.

Тишина в тайге была невозмутимая, только где-то внизу, в глубине пади журчал ручей и утренний ветерок шумел в вершинах лесных великанов.

Но вот, совершенно неожиданно, откуда-то с вершины кедра раздался громкий голос неведомой птицы. Я вздрогнул от неожиданности и стал искать ее глазами в густых ветвях дерева. Голос птицы звучал, как флейта и далеко разносился по горам, рождая многократное эхо.

Старый зверолов, услыша эти звуки, пал на землю ниц, закрыв голову руками.

Тщетно я старался увидеть таинственную птицу в темной хвое могучего кедра.

---

3. ВОЛШЕБНЫЙ СТРЕЛОК.

Темная таежная ночь. Яркие звезды горят в вышине и блещут, переливаясь таинственным светом из неведомой пучины бесконечности. Тихо плещут в скалистые берега темные воды Лянцзухэ. Мерно покачивается утлый челн наш под нависшими ветвями старого кедра. Красноватый свет смолистой лучины, укрепленной на корме, выхватывает из непроглядного мрака наш челн и небольшое пространство каменистого дна реки.

Я сидел на корме и длинным шестом, упертым в дно, удерживал лодку на месте, а на носу с острогой в руке стоял промышленник Залесов, в ожидании появления рыбы.

По берегам реки, нависая над нею сплошными кущами зарослей, стояла стеной черная угрюмая тайга.

В темноте загорались и потухали огоньки фосфорического света, отражаясь в воде и рассыпаясь там множеством искр,—это светляки, радуясь появлению на свет, водили свои молчаливые хороводы. На ближнем болоте, подобно серебряному колокольчику, раздавался мелодичный крик карликовой совы; из глубины леса доносился плач неясыти; по временам слышался шелест листвы и хруст валежника в прибрежных кустах, и чья-то неведомая стопа, осторожно раздвигая заросли лиан и винограда, скользила вдоль берега.

Вот вблизи плеснула крупная рыба, ударив своим упругим хвостом по воде.

— Здесь ничего нет. Идем выше...—проговорил мой спутник, указывая головой направление.

Наш утлый челн, бесшумно скользя, продвинулся к середине реки и остановился у торчащей из воды коряги. Под нею темнело какое-то длинное тело с очертаниями рыбы. Всмотревшись, я различил голову, плавники и еле двигающийся хвост.

— Таймень,—шопотом произнес охотник, и гибкая острога, как молния, метнулась в воду, произведя только едва слышный шипящий звук.

Наше утлое суденышко покачнулось, зачерпнуло одним бортом воды, но не перевернулось. В это же мгновение большая сильная рыба, выхваченная острогой из родной ее стихии, билась на дне челнока, стараясь освободиться от острых шипов вонзившейся в ее спину остроги. Длина ее была не менее пяти четвертей; широкая пасть ее судорожно хватала воздух и упругое тело отливало золотом и серебром под лучами горящего смоляка.

Первая добыча придала нам бодрости и энергии и долго еще скользили мы по сонной реке, насаживая на шестизубую острогу большую и малую рыбу.

Набрав целую кучу рыбы, промокшие до нитки от ночной сырости, мы причалили к берегу, где расположились у костерка скоротать весеннюю короткую ночь. Скоро в котелке закипела чудная уха.

Время летело быстро. Часы показывали полночь. Тайга притихла; слышен был только плеск игравшей рыбы да тихий рокот волн горной красавицы Лянцзухэ.

Теплый, напоенный ароматом леса и цветов воздух нежил и и усыплял нас своим опьяняющим дыханием. Рои всевозможных насекомых носились вокруг, привлеченные светом костра, но едкий дым отгонял их и держал на почтительной дистанции, иначе нельзя было бы усидеть спокойно и любоваться чарами этой чудной весенней ночи. Комары и москиты жужжали неистово над нашими головами, не будучи в состоянии преодолеть плотную завесу „ядовитых газов".

Закусив и напившись чая из виноградных листьев и побегов лианы-лимонника, мы пристроились у костра, подложив под себя козьи шкурки.

Не спалось. Мысли улетали далеко; образы и впечатления прошлого роились в голове. Далеко на юге, в скалистых кряжах Лянзалина кричали козлы.

— Ишь ты, раскричались,—произнес мой товарищ, вынимая изо рта короткую трубку-носогрейку —Когда-то я побил их много, а теперь не бью,—не стоит,—продолжал он, подкладывая сухие сучья в огонь.—Вот панты,—это другое дело. Или вот медведя, тигра, соболя. А мясо теперь несподручно, возиться не стоит,—одна канитель. — С этими словами он выколотил своей единственной правой рукой трубку о сапог и задумался.

Это был тип крепкого, сурового охотника - промышленника, старого таежника. Высокий сильный, закаленный девственным лесом и борьбой за существование, он производил впечатление несокрушимой мощи и железной воли. Типичное лицо его носило отпечаток затаенной грусти, хотя изредка в его серых глазах вспыхивали огоньки задорной удали и лихости.

Как и многие русские промышленники в Маньчжурии, Залесов отбыв военную службу, остался здесь, ради охоты и привольной жизни в новом девственном крае.

Вначале он занялся торговлей и женился. Но вскоре дела пошли плохо, и он всецело отдался охоте. Постоянное отсутствие из дома, иногда по месяцам, сделано то, что его жена его бросила и ушла к знакомому десятнику на дальнюю станцию; единственная дочь, любимая отцом, умерла. Не выдержала крепкая натура испытаний, и Залесов запил горькую. В пьяном виде он как-то упал с поезда, и ему отрезало левую руку повыше локтя.

Долго пролежал он в больнице и, когда выписался, очутился в жалком беспомощном положении, без крова и работы.

— Тогда-то,—говорил он,—я решил наложить на себя руку. Выбрав крепкий сук в лесу, закинул веревку и надел уже петлю на шею. Вдруг слышу, кто-то бежит ко мне и кричит: „маманды" (по-китайски — подожди). Гляжу,—китаец старичок. Подбежал ко мне и давай лопотать по-своему. Нечего делать, снял я петлю и пошел за ним. Оказался зверолов-таежник. С ним я года четыре промышлял зверя. Жили вместе, как братья. Спасибо ему. Человеком меня сделал. Умер бедняга в тайге, должно, от старости. Почитай, ему было годов сто.—

Таков был однорукий охотник Илья Залесов, промышлявший зверя и птицу в дремучих кедровниках Лянзалина и рыбу в таежных ручьях и речках. По всей вероятности, старик зверолов, бобыль без роду и племени, умирая отдал все, что накопил за свою долгую ски-

тальческую жизнь», русскому охотнику, т.-к. последний, повидимому, в деньгах не особенно нуждался, охотился только по влечению своей энергичной страстной натуры. Стрельба этого однорукого промысловика была изумительна.

Винтовку он держал правой рукой, а левой культяпкой поддерживал снизу у цевья. Зачастую он бил пулей на лету фазана и утку, не говоря уже о звере, по которому не знал промаха.

На промысел он всегда ходил в одиночку и не любил компании. Не раз побывал он в объятиях медведя, но отделался только царапинами и шрамом на голове. Один раз в верховьях реки Эрдаохезы он выследил двух тигров, самца и самку во время течки.

Тигра убил одним выстрелом наповал, а раненая тигрица бросилась на охотника, ударом лапы сбила его на землю и начала рвать когтями. Спасло его только хладнокровие и присутствие духа. Лежа под зверем, он успел ножом распороть ему брюхо во всю длину; тогда только умирающая тигрица оставила охотника и ушла от него в ближайшие скалы, где и была добита второй пулей в голову. После этой схватки у Залесова оказалась переломленной правая лопатка и ключица. С такими ранами охотник имел еще силы продолжать охоту и добить зверя. Приходиться удивляться, как выносливости человека, так и живучести зверя.

Любимым оружием этого зверобоя была наша трехлинейка военного образца, которую он сам переделал по своему вкусу, укоротив ствол и изменив прицел с мушкой. В прикладе его винтовки были врезаны когти убитых им десяти тигров.

Местные китайцы относились к нему с большим уважением и называли его „И-шу-ху", т.-е. однорукий тигр, или же „Волшебный стрелок".

В противоположность другим русским промышленникам, не умеющим добывать пушного зверя силками, этот охотник очень искусно устанавливал различного рода капканы и западни на соболя, белку, выдру и колонка и добывал их в большом количестве. Этому искусству он, вероятно, научился у китайцев-звероловов, во время совместной жизни со стариком. Добытые панты изюбря и оленя он умел сохранять и заваривать и продавал их с большой выгодой знакомым скупщикам. Большинство русских промышленников, не умея сохранять от порчи свежие панты, спешат продать их даже за бесценок скупщикам-китайцам, понижая стоимость самых ценных пантов до минимума.

Во время промысла Залесов неизбежно сталкивался с хунхузами и должен был войти с ними в соглашение. Они не трогали его отчасти из уважения, отчасти из боязни. Он импонировал им своей моральной и физической силой. Хунхуз признает и уважает только одну силу, в чем бы она не проявлялась. Его психология резко отличается от психологии культурного человека; его этика подчас диаметрально-противоположна нашей.

В некоторых отдельных частях зверовых угодий Залесов имел свои избушки-зимовья, где он проводил значительное время года и промышлял разнообразного зверя, преимущественно пушного.

Несмотря на незначительность научной подготовки и отсутствие элементарных знаний, человек этот производил впечатление высшего развития, благодаря постоянному общению с природой, своей чрезвычайной любознательности и вдумчиво-внимительному отношению к

окружающим его явлениям... Дикая величественная природа края и жизнь, полная опасностей, сделала его поэтом и типичным лесным скитальцем, напоминающим нам одного из героев бессмертных романов Купера и Майн-Рида, увлекавших нас в дни юности красивыми образами примитивной борьбы за существование, принявшей такие легендарно-поэтические формы.

Под утро я незаметно для себя заснул, убаюканный журчаньем реки и кваканьем лягушек.

Залесов просидел всю ночь, поддерживая огонь, и курил свою неизменную трубку, приводя в отчаяние наседавших на него маленьких кровопийц-москитов.

Солнце поднялось уже над зубчатыми гребнями далекого Лао-Лина, когда я проснулся под давлением тяжелой руки промышленника.

— Пора вставать,—говорил он своим низким грудным голосом,— солнышко высоко; пора за работу. Вон китайцы давно уже рыщут по берегу за жемчугом.—

Я взглянул по направлению его руки и увидел синие фигуры китайцев, искателей жемчуга, бродящих по колена в воде у берега реки.

Заботливым промышленником был приготовлен виноградный чай, за который мы и принялись с усердием.

Искатели жемчуга продолжали свою работу, и скоро груды развороченных раковин на берегу свидетельствовали об энергии и трудолюбии китайцев. При нас один из них нашел жемчужину, величиной с горошинку, оцененную им в 20 золотых рублей.

Солнце поднялось уже высоко над нашими головами и жгло немилосердно. Воздух был неподвижен. Парило. Тайга дышала ароматом разнообразных цветов. В прибрежных зарослях неистово стрекотали кузнечики и цикады.

Уложив свою добычу и пожитки в челнок, мы понеслись быстро вниз по течению, отталкиваясь шестами от встречных камней и направляя утлое суденышко наше по главному руслу реки.

Залесов стоял на корме во весь рост, искусно действуя одной рукой и внимательно следя за быстро несущейся лодкой среди кипящих стремнин и водоворотов. На востоке, в фиолетовой дымке тумана, словно туча, темнела громада лесистых хребтов Ляо Лина.

---

4. ПРИЗРАК СМЕРТИ.

Зима 1910 года в Маньчжурии ознаменовалась особенно сильной вспышкой чумы, в ее наиболее опасной, легочной форме. Распространителем этой болезни, как известно, является небольшой зверок из отряда грызунов, а именно тарбаган (Arctomys sibirica. Radde), обитающий в степных местностях Центральной Азии, а также— в южных частях Сибири и в Монголии. Довольно ценный мех этого животного, идущий, преимущественно, на заграничные пушные рынки, создал в местах обитания зверка особый вид пушного промысла, называемого здесь «тарбаганьим».

Поздней осенью, когда тарбаган выкунел, т.-е надел свой зимний пушистый мех, за ним устремляются из населенных пунктов в необитаемые степи многие тысячи охотников-промышленников, с целью добыть возможно большее количество шкурок. Охотники эти, в отличие от других промышленников, получили название «тарбаганщиков». Кроме кочевых монголов, промыслом этим в последнее время занялись также китайцы и русские.

До европейской войны, большая часть добываемых шкурок шла, транзитом через Россию, в Лейпциг, откуда, в выделанном виде, поступала уже на мировые меховые рынки. Цена шкурки в то время не подымалась выше 50 коп. за штуку, но уже во время войны, с 1916 года, центр выделки мехов и меховой торговли перешел к Америке, спрос на меха возрос и цены сразу вскочили вверх чуть ли не на 300—500% на низшие сорта мехов, к которым, между прочим, относится и тарбаган. В настоящее время цена этой шкурки достигла 3 зол. рублей.

Добывают тарбагана различными способами, а именно: стрельбой из винтовки, когда зверок сидит на своем холмике (бутане) столбиком; различными петлями и ловушками, и выкапыванием из нор, когда отъевшиеся за лето грызуны залягут на всю зиму в свои, толково и с большим искусством устроенные подземные помещения.

По новейшим научным исследованиям, возбудителем чумы является специальный микроорганизм, развивающийся в теле некоторых видов грызунов и производящий среди них массовые заболевания, в виде эпидемий, опустошающих целые колонии этих зверков на пространстве многих сотен и тысяч километров. Болезнь эта чрезвычайно заразительна и может передаваться человеку различными способами, как-то: непосредственным попаданием инфекции на слизистые оболочки, в дыхательные пути, а также посредством передачи инфекции насекомыми, в виде вшей, комаров, мошек и, главным образом блох.

Промышленник, убив зараженного зверка и сняв с него шкурку, обязательно заражается сам, служа, в свою очередь, распространителем заразы для своих товарищей. Китайцы, кроме того, заражаются при употреблении в пищу мяса и жира тарбагана.

Легочная форма чумы поражает, кроме лимфатических желез человека, дыхательные пути и вся болезнь протекает чрезвычайно быстро: в 5—7 дней. Смерть наступает от удушения.

Да настоящего времени наука еще не нашла способа борьбы с возбудителем этой ужасной болезни и поэтому смерность равняется 100 проц. Всякий заболевший обречен на смерть.

Болезнь эта распространяется, главным образом, зимой и самые лютые морозы на нее не действуют; наоборот, солнечные лучи и теплота убивают чумные бациллы в самое непродолжительное время. Китайцы утверждают, что эпидемия эта появляется регулярно через известные промежутки времени, причем в народе существуют всевозможные суеверия и легенды, связанные с чумой.

Эпидемия в зиму 1910—1911 г. была одной из самых опустошительных. Точных статистических данных по этому предмету, конечно, собрать никому не удалось, но с некоторым вероятием можно предполагать, что китайцев и монголов погибло от этой болезни не менее полумиллиона.

Район эпидемии был довольно обширен и охватил собой, кроме трех провинций Маньчжурии, северную Корею, Сев.-Вост. Монголию и сев.-восточную часть Китая. Несмотря на предупредительные меры к локализации очагов заразы, принятые ЮМжд и КВжд, население в панике разбегалось во все стороны, распространяя заразу, и только с наступлением весеннего тепла интенсивность ее начала падать и в мае месяце 1911 г. эпидемия прекратилась совершенно.

Жертв среди европейцев было, сравнительно, очень мало, и—то среди медицинского и санитарного персонала, в числе не более двух десятков человек. Это можно объяснить разницею гигиенических и санитарных условий жизни. Китайцы называют эту болезнь «Вень-и».

В населенных местностях края чума имела особенно сильное распространение, например, в Мукденской и Шандунской провинциях; на севере-же, в районе Большого Хингана и на северо-востоке, в горно-таежных частях Гириньской провинции распространение ее ослабевало, появляясь только случайно, вблизи линии жел. дороги и других путей сообщения.

Этот злосчастный год как раз совпал с необычайным урожаем кедровых и других орехов в тайге, где появился тогда в большом количестве пушной и мясной зверь. Местные звероловы и охотники, в надежде на обильную добычу, ушли в леса на промысел, не обращая внимания на свирепствовавшую эпидемию. В дикой, безлюдной тайге она казалась не страшной и далекой.

В самый разгар ее, 8 января, мы, вдвоем с промышленником Козьмой Шелеговым, также отправились промышлять зверя к северо-востоку от ст. Гаолинзэ, в верховья реки Эрдахэцзы. В два дня быстрого хода по знакомым таежным тропам покрыли мы расстояние в 70 километров и на вторые сутки к вечеру были уже у фанзы звероловов, работавших артелью, в количестве четырех человек.

Эти промышленники были известны мне по предыдущим охотам. Отношения между нами были самые приятельские. Я жил у них в фанзе иногда подолгу и мы помогали друг другу, чем могли. В особенности они полезны были для меня при вытаскивании тяжелого зверя из тайги к фанзе, за что я старался отблагодарить их мясом и сахаром; запас последнего у меня всегда был большой, специально для этой цели.

Нас встретили с радушием и принялись угощать таежными лакомствами: рагу из тушек добытых зверков: белок, бурундуков, крыс, колонков и полевок. Проголодавшись, мы не подвергали строгому

анализу содержимое этого блюда и уплетали за обе щеки поджаренные и пахнущие хвоей сочные куски изысканной дичи. В виде приправы нам подали крепкую и едкую, как огонь, сою, собственного таежного приготовления.

Короткий зимний день приближался к концу. Таежные тени потемнели. При тусклом свете ночника мы занялись разборкой своих вещей, так-как предполагали прожить в фанзе недели две и охотиться в ближайших ее окрестностях. Звероловов было только двое, остальные, по нашим предположениям, ушли по ловушкам и должны были вернуться к ночи домой.

Один из звероловов, глубокий старик, Фу-тай, приготовил нам постели на теплых канах, подстелив пушистые шкуры горалов. Так-как в самой фанзе было все же довольно холодно, он накрыл нас рваными и грязными до нельзя ватными одеялами. Согретые теплом и утомленные предыдущей бессонной ночью, проведенною у костра, мы заснули быстро и спали непробудно.

На следующее утро меня разбудил Шелегов, тряся изо всей силы за плечо. Спросонья я не мог сразу сообразить, в чем дело, и всматривался в лицо товарища, наклонившееся надо мной и освещенное тусклым светом утреннего солнца, проникавшим сквозь бумажное оконце фанзы. Отогнав от себя сон и придя в сознание, я был поражен видом и выражением этого лица: оно было бледно и искажено ужасом, зубы его стучали, как в лихорадке, и в расширенных глазах светилось безумие. — Вставайте скорее! Чума! — едва слышно произнес Шелегов, укладывая в свой мешок вещи, разбросанные на канах. Руки ему не повиновались и вся фигура его изображала страх и отчаяние. Услыша страшное слово „чума", я вскочил, как ужаленный, и забросал его вопросами, желая выяснить положение.

Оказалось, что два зверолова в фанзе умерли от чумы за две недели до нашего прихода, а оставшиеся скрыли это обстоятельство от нас по каким-то своим соображениям. Шелегов узнал об этом только утром, когда случайно нашел обоих мертвецов невдалеке от фанзы, полузанесенных снегом. Подозревая неладное, он заставил старика сознаться, что товарищи умерли от чумы, и что он решил скрыть это от нас из боязни, зная, что русские сжигают фанзы, где обнаружены были чумные. Рано утром оба зверолова, надев свои кошелки на спину, ушли по ловушкам, оставив нас одних разбираться в создавшемся положении, каковое, конечно, было незавидно: мы чувствовали себя приговоренными к смерти.

Чтобы вполне удостовериться в степени угрожавшей нам опасности, я попросил Шелегова показать мне место, где лежали трупы умерших звероловов.

Шагах в пятидесяти от фанзы они положены были на доски и белая пелена снега прикрыла их своим саваном; виднелись только острые, худые колени и локти рук. Разметав немного снег, мы обнажили их головы, причем выражение лиц покойников поражало немым, смертельным ужасом, застывшим в искаженных страданиями чертах и широко открытых глазах, устремленных мертвым, стеклянным взором в голубое, прекрасное небо.

Один из звероловов, старик, умирал, очевидно, спокойнее, так-как в застывших зрачках его и во всей фигуре не было заметно особенно мучительной предсмертной агонии, другой же, молодой китаец, занесший сюда болезнь из города Футоми и умерший первым, был

страшен видом сведенных судорогами рук и ног, кровавой пеной, замерзшей клубами у раскрытого рта и отвратительной гримасой смерти животного страха, застывшей на израненном и исковерканном ногтями мертвом лице.

Впечатление от всего этого было настолько значительно, что мой спутник, Шелегов, обладавший крепкими нервами таежника, не выдержал и зарыдал, как ребенок, жалуясь на свою судьбу и проклиная звероловов, скрывших от нас истину. Заражение наше было вполне возможно, так-как мы нисколько не остерегались, пили и ели из общей посуды, спали на канах, где умерли звероловы, и покрывались их грязными, вшивыми одеялами.

Видя отчаяние своего товарища, я старался доказать ему возможность отсутствия заражения, указывая на уцелевших звероловов, но самочувствие мое было также не важно, хотя я и сдерживал себя, елико возможно. Все же, несмотря на видимую безнадежность нашего положения, необходимо было принимать какие-нибудь меры, хотя бы—для очистки совести. Наскоро уложив вещи и продукты в ранцы, мы поспешили оставить это печальное место и быстро двинулись по тропе, направляясь к югу, т.-е. к линии КВжд.

Нам предстояло перевалить три высоких горных хребта и спуститься в долину реки Хайлин-хэ, к станции Хайлин.

Обратное путешествие наше, под впечатлением происшедшего и под гнетом вероятности заражения, не было веселым; мы шли молча, погруженные в свои думы, изредка обмениваясь короткими фразами.

На первом же привале, у реки Тутахезы, мы разложили большой костер, разделись до нага, вытрясли и прокоптили все свои вещи и одежду на огне, причем обнаружили присутствие некоторого количества весьма подозрительных насекомых, называемых китайцами „ши цзы". Последнее обстоятельство еще более убедило моего компаниона в неизбежности заражения и привело его в состояние нравственной апатии, весьма близкой к духовному маразму. Некоторые симптомы заставили меня даже опасаться за его рассудок.

Сидя у костра, этот таежный богатырь бесстрашный в борьбе с дикими зверями, жаловался на свою судьбу, как малый ребенок и готов был плакать при одном намеке на страшный призрак чумы, преследующий нас своей роковой действительностью. В разговоре со мной Шелегов часто заговаривался и нес такую чушь, что у меня даже являлось подозрение, не начинается ли у него процесс болезни с жаром и бредом. Ночью, лежа у огня на шкурке козули, он, положительно, бредил и бормотал непонятные слова, вспоминая свою прошлую жизнь и приводил меня в отчаяние, т.-к. перспектива ухода за больным в глухой, дикой тайге казалась мне каким то кошмаром. Так прошла одна долгая, томительная ночь, полная гнетущих дум, тревог и опасений.

Яркое зимнее солнце, бросившее свои живительные лучи на наш унылый бивак, разогнало мрачные мысли и таинственные призраки ночи. Даже печальное лицо Шелегова немного просветлело и оживилось. Тогда у меня явилась счастливая идея, — поднять искусственно его дух изрядной порцией крепкого рома, который всегда находился в моем мешке, на случай простуды и обмерзания.

Не говоря ни слова, я откупорил бутылку, налил полную кружку „огненной воды" и подал ее своему товарищу. Он посмотрел на

меня вопросительно и, также не говоря ни слова, выпил ее залпом, крякнув и закашлявшись.

Через четверть часа действие ямайского напитка сказалось и прежнего угнетенного Шелегова как не бывало. Откуда явилась бодрость, ясность духа и даже отчаянная бесшабашность! Я не узнавал его и в душе радовался, что страшный, кровавый призрак чумы не посмеет приблизиться к нам и на винтовочный выстрел. Я видел, что в психике охотника произошел перелом и после упадка физических и духовных сил, наступила реакция и прилив новой энергии и жизнедеятельности.

—А ну ее к чорту, эту проклятую чуму!—кричал на весь лес расходившийся Шелегов.—Что ее бояться?! Поддайся только ей,—она и на самом деле заберет в свои лапы, тогда не выкрутишься!

Внешность охотника также радикально изменилась, в глазах светилась прежняя сила воли и самая фигура его говорила о готовности к борьбе за жизнь.

Крайне довольный оборотом дела, я старался поддержать такое бодрое настроение в своем товарище, решив, все же, наблюдать за ним, на случай появления первых признаков заразы. Наблюдения эти незаметным образом я производил и над собой, от времени до времени щупая у себя пульс, с целью определить повышение температуры.

Таким образом, призрак чумы хотя и отдалился от нас на почтительное расстояние, но, все же, висел над нами, как Дамоклов меч, готовый поразить нас своим смертельным ударом. Шелегов, казалось, совершенно забыл о нем и намеревался поохотиться на кабанов и козуль в кедровниках Тутахезы. Принимая во внимание скрытый период болезни втечение десяти дней, я решил провести это время в тайге, так-как—если нам суждено было заболеть чумой, то лучше уж погибнуть здесь, среди дикой, прекрасной природы, вдали от людей, без звона колоколов, но под шум первобытного леса, который скрыл бы нас навсегда в своих таинственных дебрях. Старая калдунья-тайга напевала бы над нами свои дикие песни и звуки эти, как погребальный напев, раздавались бы под сводами темных кедровников в горах Лао-Лина.

Такие мысли и думы неотвязно преследовали нас во время наших охот и скитаний в поисках зверя в верховьях Тутахезы. Бывало, преследуя раненого кабана по горячим следам, вспомнишь о существовании злополучного призрака чумы, остановишься и нащупываешь свой пульс, показывающий учащенное кровообращение, вследствие быстроты движения, и закрадывается опять щемящая тревога, и призрак страшной болезни, в виде окровавленного, изуродованного трупа, встает перед тобой.

Или, сидя у костра в глухую таежную ночь, внимательно присматриваешься к своему товарищу, ища у него каких-нибудь наружных признаков начинающейся болезни и с тревогой следишь за собой невольно преувеличивая каждый незначительный симптом.

Но, несмотря на тяжесть нашего пложения, мы, в конце-концов, привыкли к нему и, по прошествии нескольких дней, начали относиться к угрожающему призраку все с большим хладнокровием и все реже и реже щупали свой пульс, увлекаясь чудной охотой, ее переживаниями и настроением.

Заходить в фанзы звероловов мы избегали, не говоря уже о ночевке в них.

Однажды, проходя мимо одной из них, стоящей в низовьях Тутахезы, мы заглянули внутрь ее, желая расспросить хозяина о зверях, обитающих в районе фанзы. Каково же было наше удивление, когда мы нашли труп зверолова на холодных, остывших канах и другой труп—его работника—невдалеке от фанзы, на берегу реки, у проруби, где чумной, очевидно, утолял жажду и умер в этом положении.

Оба трупа были изуродованы судорогами и имели кошмарный вид. У молодого работника почти все лицо было объедено крысами и расклевано птицами; остались одни кости; два ряда белых зубов с открытым ртом изображали страшный смех смерти.

Прозрачное, голубое небо бесстрастно сияло в вышине и яркие лучи полудневного солнца, проникая сквозь темные вершины старых кедров, искрились радужными цветами на белой, девственно-чистой пелене снега. Прекрасная природа была равнодушна ко всему и трагедия жизни человеческой не нарушала ее величавого спокойствия.

Около двух недель блуждали мы по тайге, в погоне за зверем, ночуя у костра и стараясь отогнать от себя страшный призрак, следовавший всюду за нами, как тень, и напоминавший о превратностях судьбы и бренности существования человека. И только, возвратясь домой с большим грузом добытых нами кабанов и козуль, мы вздохнули свободно, почувствовав, что кошмарный призрак чумы остался далеко в тайге, где смерть заглянула нам в глаза своими страшными очами.

---

5. ТИГРОВАЯ НОЧЬ.

Знаете ли вы, что такое звериные ночи? Если хотите,—я могу вам о них кое-что рассказать.

Однажды, охотясь в дремучих кедровниках реки Лянцзухэ, верстах в 50 к северу от ст. Яблоня, на закате солнца я зашел в фанзу зверолова Ли-суна и заночевал в ней. Гостеприимный хозяин, древний старик, обрадовался моему приходу, угостил меня пельменями из мяса кабарги и ароматным чаем.

Это было в конце декабря. Мороз трещал по стволам деревьев. Глубокое, звездное небо раскинуло свой шатер над горами и лесами этого дикого края.

Натопив хорошенько кан, мы улеглись на горячие цыновки и чувствовали себя великолепно под двойным одеялом из козульего меха. Ли-сун долго возился у очага, пыхтел своей трубкой и все прислушивался к звукам, доносившимся из глубины темной тайги. Звуки эти слышны были хорошо в ночной тишине. Это ревели тигры и горное эхо вторило голосам их, замирая в далеких падях и ущельях.

— Сегодня—звериная ночь!—сказал мне старик, раскуривая угольком свою трубку и пуская клубы едкого дыма,—таких ночей три: сегодня, завтра и послезавтра. В эти дни звери собираются и празднуют свой праздник. Начальник сзывает их со всей округи и они ему повинуются и идут за ним всюду, куда он поведет. В такую ночь все другие звери спасаются бегством и уходят из района.

Эти ночи—«звериные» и горе человеку, застигнутому в тайге. Звери его не пощадят и разорвут по приказанию своего начальника, у которого на лбу начертаны особые знаки иероглифа «Ван». В это время звери ищут крови и, не находя добычи, дерутся между собой. Сильный побеждает слабого и умерщвляет его. Только один Ван не участвует в драке, но, иногда, подает свой голос, который заглушает все остальные и подобен раскатам грома. Все трепещут, услышав его, и замолкают. Это продолжается три ночи подряд. Затем звери расходятся по своим районам, и лес опять становится безмолвным, как и прежде...

Слышишь,—подает свой голос Ван!..—заметил старый таежник, приподнявшись на локте и указывая головой направление.

Я прислушался и, действительно, из глубины тайги неслись какие-то глухие, звуки, напоминавшие далекие раскаты грома. То стихали они, то усиливались и, казалось, исходили не из груди животного, а из каменных утесов гранитных гор.

Рев тигра в дремучей тайге, ночью, производит сильное потрясающее впечатление на непривычного человека. Его можно передать звуком „еоун", повторяемым один, два и, редко три, раза подряд; после этого громоподобного рыканья он переходит в рокотание, подобное рокотанию пара, выпускаемого из гигантского котла. В звуках его голоса слышится не только могучая сила и свирепость, но что-то стихийное, величественное. Почти все животные, услыша этот страшный рев, становятся безумными,—или бегут, сломя голову как шаль-

-ные, или же подвергаются действию временного паралича, вроде каталепсии, когда ужас сковывает волю, сознание и способность двигаться. В такое же состояние впадают иногда и люди, впервые услышав эти звуки в диком, первобытном лесу.

Теперь вы уже знаете, что такое звериные ночи, но китаец-зверолов объясняет их по-своему, между тем—биология говорит нам, что время это как-раз совпадает с известным периодом года, когда звери обоего пола сходятся вместе, ищут друг друга, призывая голосом, и самцы, дерутся между собой, нередко увеча один другого. Во время моих охот мне неоднократно приходилось ночевать в тайге по целым неделям и проводить звериные ночи у костерка или одному, или в компании верных друзей и хороших товарищей. Одну из таких ночей я хочу вам описать и поделиться своими впечатлениями.

Это было в 1909 году, в конце декабря перед праздниками. Из Москвы ко мне приехал на охоту некто П., большой мой приятель, весельчак и балагур, типичный представитель столичной богемы, оперный певец. На охоте до того он бывал редко, и то—на облавах, но страстно любил природу, понимал ее, и умел ее ценить, как художник.

Жил я тогда на станции Ханьдаохэцзы.

На все рождественские праздники я предполагал уйти в тайгу, т.-е. недели на две. П. уговорил меня взять его с собой я согласился и вот, в двадцатых числах декабря, взяв с собой провизии, с винтовками за плечами, мы отправились ранним, морозным утром из Ханьдаохецзы к северо-востоку, направляясь поперек хребтов, в верховья реки Тутахэзы, где в те времена было очень много всякого зверя, в особенности—кабанов и тигров.

До фанзы старика-зверелова, под названием Чапи-гоу (Дяо-пигоу) было около 35 верст, и мы предполагали быть там к ночи этого же дня; но удачная охота на кабанов верстах в 10-ти от фанзы заставила нас искать пристанища в тайге, на берегу реки Тутахэзы, вблизи того места, где лежали убитые нами кабаны, прикрытые кедровыми ветвями и засыпанные снегом.

Мы расположились.

Весело потрескивал наш костерок под старым, могучим кедром; его темные ветви качались над нами, колеблемые разгоравшимся пламенем.

Незаметно и неслышно спустилась ночь на горы и леса. Сквозь черную сетку ветвей таежных великанов блеснули звезды. Мороз крепчал. Изредка потрескивали стволы деревьев и лед на Тутахэзе.

Вскоре закипел наш котелок и, напившись горячего чая, мы принялись устраивать себе постели из широких лап елей.

Тайга безмолвствовала, только издалека доносился шум деревьев как рокот морского прибоя. В глубине темной пади кричал филин и его громкое «угу» раздовалось в ночной тишине.

Пригретые огоньком костра, мы, незаметно для себя, забылись и крепкий сон сковал наши уставшие члены. Чудная таежная ночь плыла над уснувшею землей и навевала прекрасные сны и грезы. Однако, холод все же давал себя чувствовать, мы просыпались и, поочередно, подкладывали в костер собранные накануне дрова.

Занявшись как-то этим делом, я услышал невдалеке голос какого-то зверя: он доносился сверху со стороны ближайшего горного хребта, покрытого лесом. Сначала я принял его за голос красного

волка, но вскоре к нему присоединился другой, более громкий и могучий. Тогда для меня стало ясно, что это тигры.

Разбуженный мною. П. сел у костра, поеживаясь от холода, и задал мне вопрос: „Кто это кричит?“

„Разве не знаешь! Это—тигры! Сегодня—звериная ночь!“—ответил я, как ни в чем не бывало, увеличивая огонь в костре и набрав снегу в котелок, для приготовления чая.

Не выдавая своего волнения, я наблюдал за своим приятелем и следил за выражением его лица.

Оно было спокойно и невозмутимо, очевидно, он мне не верил и принял мои слова за шутку. Но, когда я разложил второй костер, голоса зверей настолько приблизились. что П. перестал сомневаться и видно было по его движениям и тону голоса, что на душе у него не все спокойно. Но, видя мое относительно спокойствие, он старался себя взять в руки и даже начал шутить, напевая вполголоса какую-то песенку.

Я был спокоен, зная, что звери боятся огня, который их удержит от нападения. Но близость битых кабанов немного смущала меня, в особенности, когда голоса зверей начали раздаваться со всех сторон.

Судя по тембру и силе этих голосов, зверей было не менее четырех. Они приближались и надо было немедленно принять меры, чтобы обезопасить себя огнем, единственным, имевшимся у нас в руках средством против нападения хищников.

Голоса раздавались уже в непосредственной близости от нас. Положение становилось критическим.

Мы сидели внутри треугольника из костров и прислушивались к этой чудной музыке первобытного леса. П. сидел рядом со мной и, желая показать свою выдержку и хладнокровие, напевал различные арии из веселых оперетт и даже опер.

Под конец он так увлекся и распелся, что встал во весь рост и спел своим чудным. бархатным баритоном несколько песен и оперных арий. В особенности, с большим темпераментом и подъемом исполнены были песни: „Ноченька“, „Стенька Разин“ и варнацкая „Тайга“. По содержанию своему они, как нельзя более, гармонировали с окружающей обстановкой. и сильный, могучий голос молодого певца вторил голосам зверей, сливаясь в один величественный гимн прекрасной природы.

Певец совершенно забыл о действительной опасности, и увлекаясь звуками, казалось—бросал дерзкий вызов грозным силам дремучего леса. Многократное эхо отражало эти звуки в далеких горах и ущельях.

Я сидел неподвижно, с винтовкой наготове, словно очарованный, весь отдаваясь этим чудным звукам, впервые раздававшимся под сводами девственных первобытных лесов Маньчжурии.

Около часа продолжалось это вокальное состязание человека со зверем.

Наконец, голоса зверей начали мало-по-малу ослабевать, звучали реже и совсем стихли. Только до самого утра на том месте, где лежали наши кабаны, раздавались взвизгиванья, мяуканье и какая-то возня.

Опасения наши, что тигры попортят нашу добычу, оправдались, так-как на следующее утро, едва только лучи восходящего солнца ос-

ветили горные пики, мы были уже на том месте и обнаружили исчезновение двух кабанов, съеденных хищниками,—остались только головы и концы ног с копытами. По другую сторону Тутахэзы, недако от берега, нашли мы совершенно свежие следы четырех тигров.

Во многих местах снег был вытоптан ими до земли. Кровь виднелась повсюду; на одной лежке даже стояла небольшая ее лужица, натекшая, повидимому, из раны на боку зверя. Очевидно, здесь был жестокий бой между самцами.

Выходные следы зверей шли на запад. вверх по Тутахэзе, куда мы за ними и направились, тем более, что в этом же направлении, на берегу реки, находилась знакомая мне зверовая фанза.

Найдя тропу зверолова, мы двинулись по ней. П. шел за мной безмолвно, о чем-то мечтая; на мой вопрос,—о чем, он ответил, что до сих пор не может очнуться от пережитых впечатлений, т.-к. в ушах его все еще раздаются голоса ,,Звериной ночи" и мозг его работает в этом направлении, над созданием проекта грандиозной по замыслу пьесы. Дальнейшее не входит в план этого очерка; только считаю не лишним заметить, что молодой певец и музыкант П.. подававший большие надежды, был убит в первых же боях с австрийцами в Галиции, и унес с собой в могилу свою идею создания великого музыкального произведения, изображающего ,,Звериную ночь" в дремучей тайге Маньчжурии.

---

6. ЗА ЖЭНЬ-ШЭНЕМ.

Вероятно, вам приходилось слышать о корне „жэнь-шэнь"? Растение это принадлежит к семейству аралиевых (Araliacea) и растет дико в очень ограниченной области Дальнего Востока, а именно: в Уссурийском крае, в Гириньской провинции Маньчжурии и в Северной Корее. Это—многолетнее растение, с травянистым, до 75 см. длины тонким стеблем, на конце которого сидят 3-4 длинночерешковых, пальчато-раздельных листа; на стебле они расположены, как пальцы раскрытой руки человека.

Растение это напоминает „чертово дерево" (Aralia mandjurica), но листья жэнь-шэня отличаются тем, что они гладкие и края их черешков мало зазубрены. Число листьев очень редко достигает 5-6. Толщина стебля не превышает 1 см. в поперечнике. Цветет в августе; цветы мелкие, находятся в соцветиях, в 5-7 см. длины; соцветие—простой зонтик с 15-20 цветами; завязь двугнездная; плоды—светло-красные ягоды; семена белые, плоские. Цветы нежно-розовые, редко—белые. Корень желтовато-белый, толстый, диаметром редко более 7 см., с черноватою сердцевиной и многочисленными, мелкими отростками. У основания стебля находится характерная чешуйка, которая не отпадает и с годами увеличивается. Эта чешуйка особенно ценится и тщательно предохраняется от порчи при выделке корня. Знатоки разделяют корни на мужские и женские, определяя это по внешнему виду корня, имеющего самое отдаленное сходство с мужскою и женскою фигурой.

Ни одно из растений на земном шаре не пользуется такою легендарною славой и таинственностью, как жэнь-шэнь. С самых древнейших времен, исчисляемых тысячелетиями, растение это известно в тибетской и китайской медицине, и славится, как радикальное средство от многих тяжелых хронических болезней и расстройства всего организма. Корень этого растения в различных формах входит в восточную фармакопею. Без сомнения, в корне этом заложено какое-то действенное начало, которое дает ему такую значительную силу и целебные свойства. В настоящее время этим растением заинтересовалась и европейская медицина: в Америке, Франции и Германии производятся опыты в лабораториях—по химическому составу и в клиниках—по терапевтическим его свойствам.

Растение это древнейшего происхождения и является реликтовым остатком третичной флоры. Встречается чрезвычайно редко и растет только в самых глухих горных лесах, на северных склонах, среди густых зарослей папоротника и кислицы. Солнечных лучей оно не переносит, ему вполне достаточно тех лучей, которые проникают сквозь чащу. Кедровый лес, повидимому, ему необходим, по крайней мере, его находят только там, где растет сплошной кедровник, или смешанный лес.

Близким родственником жэнь-шэня является чубышник, элеуторококус (Eleuthorococcus senticosus), встречающийся в большом количестве в горных лесах. Растение это, как более сильное, вытесняет

жэнь-шэнь; вот почему последний растет только там, где нет чубышника.

Вследствие уничтожения кедровых лесов, а также от лесных палов и истребления его человеком, жэнь-шэнь относится к вымирающим растениям местной флоры и не далеко уже то время, когда это драгоценное, таинственное растение исчезнет с лица земли. Чрезвычайная его редкость и огромный, возрастающий спрос подняли цену на „корень жизни“ до невероятных размеров: так, самый высший сорт жэньшэня оценивается иногда в 2 или 3 тысячи зол. рублей за корешок!

Такова цена дикого корня, но в продаже имеются еще другие сорта жэнь-шэня, а именно—культурного, или искусственно взрощенного на особых плантациях. Такой, культурный корень ценится сравнительно недорого и также делится на сорта по возрасту, внешнему виду и качествам. Цена культурного—от 3 до 50 зол. руб. за штуку. Разведением такого жэнь-шэня в последнее время в больших размерах занялись в Америке, а также—в Корее (японцы). Восточная медицина не признает культурного жэнь-шэня, отрицая его целебные свойства, а потому и цена на него стоит сравнительно низкая.

У китайцев и у всех народов Дальнего Востока существует множество легенд о жэнь-шэне. Происхождение этих легенд и народных сказаний теряется во тьме веков. Растение это одухотворено и обладает сверхъестественной силой, присущей божеству. Оно может превращаться в любое животное, в человека, в растение и во что угодно. Поэтому, найти его может только достойный. Такой ореол таинственности, славы и обаяния, соединенный с этим растением, свидетельствует о том значении, какое имеет „корень жизни“ для народов Восточной Азии.

Сравнительная редкость и дороговизна дикого жэнь-шэня выработали в продолжение многих веков особый, интересный тип „искателей жэнь-шэня“. Большею частью, это—бездомные люди, выходцы из внутренних провинций Китая, ушедшие в горы и леса от суеты мирской и посвятившие себя этому трудному промыслу, под влиянием внешних неблагоприятных условий современного социального строя.

Многие из них занимаются этим делом почти всю свою жизнь, с юношеских лет до глубокой старости. Внешность их так же типична и оригинальна, как и внутреннее содержание.

Отличительными признаками этих лесных бродяг являются: промасленный передник, для защиты одежды от росы; длинная палка, для разгребания листвы и травы под ногами; небольшая кожаная сумочка, для носки необходимых вещей и предметов промысла; деревянный браслет на левой руке и барсучья шкурка, привязанная сзади к поясу. Шкурка позволяет садиться на сырую землю и бурелом. На голове, обыкновенно, конусообразная берестяная шляпа. На ногах—улы из невыделанной кожи кабана.

Среди толпы китайцев искателя жэнь-шэня всегда можно узнать по этим признакам: кроме того, блуждающий взор его, опущенный книзу, выдает его ремесло.

Жизнь, полная лишений, тревог и опасностей в дремучих лесах, наложила на этих людей особый отпечаток аскетизма и подвижничества. Это—человек, превратившийся в особое существо с хитростью и умом китайца, чутьем волка, глазом сокола, ухом зайца и ловкостью барса. Человек и зверь соединились в нем в одно целое, создав интересный, оригинальный тип лесного скитальца, в душе кото-

рого развились поэтические струны любителя природы. Весь мир его— в тайге; миросозерцание его не выходит за ее пределы. Здесь провел он свою долгую скитальческую жизнь, здесь же он сложит свои кости, в непрестанной борьбе за существование, одинокий, оторванный от людского мира, на лоне дикой, прекрасной природы. Как истый сын Востока, верящий в рок и предопределение, суеверный до мозга костей, он безропотно и безмолвно несет бремя подвижнической жизни, не стремясь к улучшению ее условий.

Опасное и трудное ремесло его не обогащает. Продукты промысла сдаются, обыкновенно, за безценок, в главную в этой местности торговую фирму, имеющую колоссальную прибыль в этом деле.

Почти каждый дикий корешок жэнь-шэня омыт потом и кровью полудикого таежника и имеет свою историю, чреватую глубоким, непередаваемым драматизмом.

Ежегодно, с начала июня, искатели жэнь-шэня отправляются в тайгу за драгоценным корнем. Идут в одиночку и, редко вдвоем, без всякого оружия, с одной только верой в успех и надеждой на милость великого властелина гор и лесов (могучего тигра). В лохмотьях, полуголодные и изможденные, они скитаются по дебрям тайги в поисках таинственного „пан-цуя", как называют местные маньчжуры жэнь-шэнь.

Много их погибает от голода и пропадает без вести, еще больше делается жертвой диких зверей; но это нисколько не уменьшает их рвения и стремления уйти в леса. Чем больше лишений и опасностей, тем больше надежды найти корень. Для человека вооруженного, порочного и безнравственного найти жэнь-шэнь невозможно, так-как от такого человека корень уходит глубоко в землю, горы начинают колебаться, лес—стонать и из зарослей выходит „Ван", грозный владыка тайги, хранитель жэнь-шэня,—тигр, и разрывает дерзкого искателя.

Такова сущность поверья, связанного с добыванием пан-цуя, великого корня жизни. Слово жэнь-шэнь в буквальном переводе означает «человек-корень», т.-е. корень, обладающий человеческими качествами.

Существует сказание о зарождении жэнь-шэня из молнии. Если молния ударит в чистую, прозрачную воду горного источника, последний исчезает и уходит в землю, а на месте его вырастает жэнь-шэнь, который хранит в себе силу небесного огня, силу неиссякаемой мировой энергии. Вот почему жэнь-шэнь иногда называют „шан-дянь-шэнь", т.-е. корень молния.

В Китае и Тибете легенд и сказаний о жэнь шэне великое множество, ими можно было бы наполнить объемистые тома, но мы ограничимся вышесказанным и перейдем к повествованию о моих личных наблюдениях и впечатлениях, вынесенных из скитаний по необозримым девственным лесам Восточной Маньчжурии, совместно с искателями, в поисках таинственного «корня жизни .

Во время моих экспедиций и странствований по краю, в целях охоты по крупному зверю и исследования его природы, мне неоднократно приходилось встречаться с этими лесными бродягами, но благодаря их замкнутости и скрытности, мне не удавалось познакомиться поближе с их жизнью и бытом, а потому, в конце-концов, у меня явилась идея побродить по тайге совместно с одним из этих интересных

тружеников, предложившим мне свои услуги и давшим свое согласие.

В кедровниках верховьев реки Ляндзухэ жил древний старик-зверолов, по прозванию Хосин; несколько лет подряд я останавливался в его фанзе, когда приходил в те места на охоту, и старик, очень расположенный ко мне, рассказывал часто о своей жизни, о прошлом и о таежном быте. Между прочим, от него же я узнал, что летом он, как и все звероловы, занимается исканием жэнь-шэня.

Тогда там стояли еще дикие, нетронутые кедровники. Всякого зверя водилось много; Жэнь-шэнь также встречался довольно часто в глубоких ущельях и падях Лао- лина. Теперь там вырублен почти весь кедр концессией Ковальского и жэнь-шэня нет и в помине, но в старину окрестности скалы Балалазы и горы Тиколазы отличались обилием жэнь-шэня. Зверовая фанза Хо-сина находилась у подножья Тиколазы.

В конце июня к этой фанзе, отстоящей от линии КВжд в 40 верстах к северу, мы и отправились, вместе с хозяином ее, ранним летним утром, со станции Ханьдаохэцзы. Никакого оружия, согласно указаний Хо-сина, я с собой не взял, только на поясе у меня висели небольшой охотничий нож и походный топорик,—на случай заготовки дров в тайге и постройки шалаша.

Не буду утомлять читателя подробным описанием наших скитаний по бесконечным горам и лесам Шухая (Шу-хай—лесное море); интересных таежных встреч с дикими его обитателями, зверями и хунхузами; многочисленных ночевок у костерка, на берегу горных речек; поисков таинственного жэнь-шэня в густых зарослях лесной чащи, и других эпизодов нашей скитальческой жизни, полной захватывающего интереса и непередаваемого очарования.

Таким образом, странствовали мы вдвоем с Хо-сином впродолжение четырех недель, обходя все укромные уголки тайги и исследуя каждый распадок в поисках пан-цуя.

Идя поперек западных отрогов Лао лина, мы дошли почти до Сунгари, но, выйдя из тайги к возделанным местам, повернули назад, направляясь вверх по течению Лянцзухэ к фанзе Тиколаза. В берестяной коробочке Хо-сина, аккуратно завернутые в шелковые тряпочки, находились уже три корешка жэнь-шэня. Старик был доволен своей добычей, так как такое количество корешков взять за один сезон считается исключительной удачей.

Последний корешок найден был в одном из глубоких ущелий северо-восточного склона Тиколазы. Мы предварительно долго и упорно блуждали по зарослям, разгребая палками листву и сплошную сеть вьющихся растений, покрывавшую землю, в надежде увидеть знакомые нам листья и цветочные бутоны растения, но поиски наши были тщетны. Старик взбирался уже на самую вершину Тиколазы, где у него построена была небольшая кумиренка на выступе скалы. Там совершал он моления и приносил жертвы духу гор и лесов, но могучий Ван, повидимому, был неумолим и не желал показать нам охраняемый им пан-цуй. Ночуя у костра в каменных трущобах горы Тиколазы, мы неоднократно слышали голос грозного владыки и слабые, вроде кошачьего мяуканья, голоса его детей.

В те времена в пещерах горы тигры выводили своих детенышей и в ясные летние ночи можно было слышать, сидя у спасительного огонька, жалобные голоса тигрят и довольное мурлыканье взрослых. Иногда, очевидно, из любопытсва, звери подходили к на-

шему костру, но держались, все же, на почтительном расстоянии. Фосфорический свет их глаз мелькал тогда блуждающими огоньками на темном фоне зарослей, и слышны были их мягкие, крадущиеся шаги по камням и скалистым утесам, причем на нас сверху сыпались с характерным звуком щебень и мелкие камешки.

Опытный искатель корня несколько дней водил меня в районе горы, говоря, что здесь непременно должен быть пан-цуй, по определенным, одному ему известным признакам. И, действительно, после нескольких молений горному духу и тщательных поисков, мы подошли к высокому гранитному утесу, на вершине которого вековые кедры вздымали свои темные ветви к голубому небу. Внизу, среди густых зарослей папортника и актинидий, скромно приютился невзрачный стебелек жэнь-шеня. Отличить его в этой массе листьев, травы и зелени мог только опытный и зоркий глаз таежника.

Увидев драгоценное растение, старик остановился, как вкопанный, отбросил от себя палку в сторону, закрыл глаза рукою, упал на землю ниц и стал произносить молитву для умилостивления божества.

Молитва эта, приблизительно, такова: «Великий дух, не уходи! Я пришел сюда с чистым сердцем и душой, освободившейся от грехов и злых помышлений! Не уходи!»

Произнеся эти слова, Хо-син решился взглянуть на рестение. Я стоял немного поодаль и наблюдал всю эту процедуру. Затем старик тщательно исследовал окружающую местность, перебрал руками все соседние растения и только убедившись, что поблизости нет другого пан-цуя, приступил к выкапыванию корешка, для чего у него имелись всевозможные специальные инструменты, в виде особых лопаточек, шильев, ножей, скребков, ножниц и палочек

Возраст жэнь-шеня был настолько значителен, что он представлял уже большую ценнность. Надо сказать, что молодые экземпляры растения не выкапываются из земли, а оставляются на месте на год, два и более, чтобы корешок «дошел».

Цветочного стебелька у растения не было, он оказался обломанным и торчал на вершине стебля в виде пенька, вышиной в 3 см. Длина корня вместе с мочками не превышала $1^1/_2$ четвертей. Листьев было 4 шт, каждый—пятипальчатый. Длина стебля—2 четверти.

Отряхнув его от песку и земли, Хо-син тщательно завернул драгоценный корешок в тряпицу и положил в берестяную коробку, находящуюся в походной сумке. Затем, опять совершив благодарственное моление горному духу, сделал на коре дерева затеску, поставив острием ножа какой то знак на таинственном языке «Шу-хуа». Знак этот обозначал, что здесь найден был пан-цуй.

Часа через два мы были уже в фанзе старика. Солнце склонялось к западу... Вечерело...

Наскоро поужинав, похлебав жидкого супа из чумизной крупы, мы занялись приготовлениями к ночлегу, при свете примитивной лампы, состоящей из кусочка скрученной ваты, положенной на край глиняного черепка, на дне которого темнела густая масса бобового масла. Копоть и дым от этого светильника наполняли всю внутренность фанзы, так что у меня от непривычки в носу щекотало и я принужден был выйти на свежий воздух.

Таежная ночь приближалась. Ночные тени легли на долину горной красавицы Лянцзухэ, на пади и ущелья Тиколазы. В глубине тем-

ного неба заискрились звезды. В приречной уреме кричали козы и из чащи лесной доносилось уханье горного филина...

Войдя в фанзу, я застал старого Хо-сина за очисткой корня от остатков земли. Промыв все мелкие корешки и мочки, он положил его на чистую бумагу на теплых канах, для просушки.

Дальнейшая обработка корня состоит в его консервировании впрок; в этом виде он поступает в продажу. Этим делом занимаются уже специалисты, сохраняющие свое искусство в глубокой тайне.

Окончив очистку корня, старый искатель вышел из фанзы, притворив за собою дверь.

Я улегся на теплых канах, подложив под себя пушистую шкуру горала, и стал прислушиваться к ночным звукам, доносившимся с реки и из чащи дремучего леса, стоявшего со всех сторон непроницаемою, черной стеной. Предположения мои, что Хо-син молится у своей домашней кумирни, на опушке леса, оправдались, так как вскоре металлические звуки чугунного колокола нарушили торжественную тишину таежной ночи и, вибрируя на одной ноте, понеслись над затихшею землей, то усиливаясь, то ослабевая; и далекое горное эхо вторило этим звукам, отражаясь в глубоких падях и ущельях Тиколазы.

Долго молился старый лесной бродяга, благодаря могучего горного духа за богатую добычу. Звуки чугунного колокола, рокотавшие в лесной чаще, становились все тише и тише и постепенно замерли в далеких тайниках угрюмой тайги.

Я стал уже засыпать и, сквозь одолевшую меня дрему, слышал, как пришел старый Хо-син, раскурил у очага свою длинную трубку и затих. Не будучи в состоянии преодолеть сна, я мельком взглянул на старого таежника и увидел его, сидящим на корточках перед очагом; во рту его дымилась трубка и взор был обращен на тлеющие угли; красное пламя последних отражалось бликами в его глазах; мысли мои путались и я видел перед собой, не то на яву, не то во сне, гигантскую фигуру труженика леса, освещенную красными лучами нарождающейся зари...

---

7. ЛЮДОЕД.

Стоял ноябрь месяц. Снег только что выпал и покрыл тонким белым покровом горы и леса Лао-Лина.

Промышленники, ждавшие с нетерпением этого времени, небольшими партиями, или в одиночку, ушли на промысел.

В числе этих промышленников были и мои постоянные спутники по охоте—Арсеньев и Пашков, отправившиеся к горе Бейшилазе за козами и горалами, водившимися в тех местах в изобилии.

По первой пороше следы зверей были видны, как печатные.

Пройдя версту вместе, охотники разделились и пошли по следам двух партий коз. Пашков пошел вверх по пади, а Арсеньев, перейдя через падь, отправился на Бейшилазу, куда вели следы коз. Условились встретиться к вечеру на перевале у горы Бейшилазы. Пашков, убив двух коз и выпотрошив их, оставил их на месте и пошел на перевал, где должен был всретиться с товарищем. Солнце уже скрылось за скалистые гольцы Бейшилазы, и таежные тени стали гуще, когда охотник достиг перевала, присев на кедр, поваленный бурей.

Пашков долго поджидал своего компаньона и, когда луна выплыла на темный небосвод, бросив в тайгу свои бледные лучи, ушел с перевала, решив, что Арсеньев зашел слишком далеко и не может выйти к условленному месту.

Связав убитых коз за шеи и перекинув веревку через плечо, Пашков отправился в обратный путь, к линии железной дороги.

В полночь он был уже дома. На следующий день он снова ходил на то же место и взял еще двух коз. Арсеньев не возвращался и вечером следующего дня. Пашков пришел ко мне и сообщил об этом тревожном событии.

— А как твое мнение,—спросил я его,—куда он мог деваться, не мог же он заблудиться.?—

— Заблудиться? Нет. Но я думаю, что с ним стряслась беда. Ведь продуктов он взял только на один день,—ответил мне с тревогой Пашков и прибавил:

— Не пойдешь ли со мной искать его. Сердце мое чует недоброе. На перевале я видел свежие следы тигра. Не вышло ли какой ошибки у Арсеньева. Зверь строгий и хитрый. Неровен час. Не долго и до греха. Пойдем завтра с утра—следы печатные.—

— Ну, что же пойдем. Только надо взять с собой собаку, это облегчит наши поиски,—согласился я на просьбу промышленника, в надежде поохотиться на интересного хищного зверя.

Я был почему-то уверен, что Арсеньев далеко зашел и должен скоро вернуться, т. к. не мог допустить, что он погиб в неравной борьбе со зверем.

На следующее утро, едва только засерело небо, мы с Пашковым уже шагали по мягкой пороше, поднимаясь на крутые предгорья Бейшилазы, придерживаясь следов пропавшего охотника. Собака наша Волчок бежала впереди, обнюхивая следы и часто останавливаясь, повидимому, что то соображая. Несколько раз следы охотни-

Неожиданное нападение.

Людоед.

ка пересекали следы тигра. Чем выше поднимались на вершину, тем чаще встречались следы хищника. Очевидно, зверь находился где-то в гольцах, на самой вершине. Собака наша, хотя и опытная в охоте на крупного зверя, стала нервничать и беспокоиться и в конце-концов не отходила от наших ног, вздрагивая при малейшем шорохе и шуме в лесу. Тигровые следы были старые. Арсеньев шел все время в гору, очевидно, намереваясь добыть тигра. Несколько раз он останавливался и топтался на месте, затем опять шел вверх, взбираясь по гребню на вершину горы.

Мы находились уже у подножья гольцов, которые обрисовывались своими острыми силуэтами на синеве неба.

Вдруг Волчок сразу присел на задние лапы, задрожал всем телом и завыл, сначала тихо и глухо, а затем протяжно и жалобно. Мы остановились и, пораженные, смотрели то на собаку, то на лежащий перед нами колоссальный кедр, упавший поперек гребня хребта, по которому мы шли.

— А, ведь, Волчок чует недоброе. Быть беде,—произнес с уверенностью мой приятель. В тоне голоса его я заметил дрожащие нотки смятения и тревоги. Я молча смотрел на эту сцену и машинально поставил свою трехлинейку на боевой взвод. Никакие понукания на собаку не действовали, она упорно не двигалась с места и как бы окаменела.

Перед нами возвышался гигантский ствол кедра. Подойдя к нему, я увидел почти под ним какой то темный предмет. Это оказалась шапка Арсеньева. Тут же на снегу была вытоптана большая площадка и множество следов тигра. Сверху на коре кедра виднелся белый пучок пушистого меха тигра с брюха. За кедром следов человека больше не было, но зато ясно выделялись следы хищника, который, очевидно, сделал засаду и бросился на охотника совершенно неожиданно из-за кедра и сгреб его в мгновение. Здесь же, в трех шагах, нашли мы винтовку злосчастного промышленника; она лежала, уткнувшись дулом в заросли, ремень ее был оборван, курок стоял на боевом взводе. Суммируя все виденное и сопоставляя факты, мы пришли к определенному решению, что Арсеньев погиб в когтях тигра, который бросился на него из засады. Быстрота нападения и стремительность были таковы, что охотник не успел даже вскинуть винтовку к плечу и выстрелить.

Постояв на этом месте и разобрав дальнейшие следы зверя, мы по ним начали спускаться в глубокую падь, в роде узкого ущелья, заросшего густым орешником.

Волчок перестал выть и робко, дрожа всем телом, следовал за нами, постоянно останавливаясь и озираясь по сторонам. Видно было, что он одержим паническим страхом и ужас светился в его глазах.

Спуск был очень труден, вследствие крутизны и густых зарослей. Следы показывали, что тигр нес свою жертву в пасти, взяв тело за поясницу, т. к. ноги человека часто бороздили снег и цеплялись за кусты и деревья.

В глубине пади, под старым могучим кедром нашли мы остатки съеденного тигром промышленника. Снег на этом месте протаял до земли и был окрашен по своим окраинам в желтовато красный цвет от крови.

Здесь нашли мы только лицевую часть черепа, обглоданную до кости, одну кисть руки, которая была туго затянута рукавицей, обе

ступни ног, обернутые в портянки и бродни, и часть костей таза, все остальное отсутствовало, очевидно, было съедено хищником. Здесь же валялись обрывки одежды охотника, изодранные в клочья. Тут же на земле, пропитанной кровью, лежал красный кисет с табаком и коробка спичек,—все было раздавлено, и спички рассыпались.

Вот все, что осталось от охотника Арсеньева, с которым мы не раз промышляли зверя в тайге Лао-Лина и делили радость и горе охотничьей жизни.

Волчок, несмотря на наш зов, держался в стороне и не подходил к страшному для него месту. Он сидел в отдалении, пока мы возились с укладыванием остатков в принесенный с собой мешок, и завывал тонко и жалобно, поднимая свою острую мордочку кверху.

Наевшись доотвала, хищник тут же лег отдыхать, и место, где он лежал, также протаяло до земли, резко обрисовывая его колоссальную фигуру.

Судя по следам, тигр был очень крупный и вес его мог достигать 320 килограмм.

Встреча охотника с тигром произошла в первый же день охоты, таким образом, до того дня, как мы сюда пришли, прошло уже трое суток, и свежих следов зверя не было. Для нас стало очевидным, что преследовать его бесполезно, а потому, пройдя по следам еще до двух километров, мы повернули назад, к тому месту, где оставили мешок с печальными остатками человека.

Солнце уже перевалило за полдень и ярко светило с вышины безоблачного синего неба. В лесу было тихо и безмятежно-спокойно. Величественная природа, прекрасная в своем суровом покое, была безмолвна и равнодушна. Над вершинами деревьев, каркая, летали вороны. Они чуяли добычу и беспокоились.

Пашков, вначале разговорчивый, теперь стал угрюм и молчалив. По сосредоточенному его виду можно было судить, что он многое переживает в своей бесхитростной, несложной душе; катастрофа с товарищем произвела на него потрясающее впечатление.

— Я чувствовал, что Арсеньеву не сдобровать,—говорил он сам с собой, усиленно раскуривая коротенькую трубку-носогрейку,—так оно и вышло. Да, от судьбы не уйдешь. Что кому положено, то и будет. Видно, его уж такая планида.—

Философские реплики Пашкова изредка прерывались завываниями Волчка, чуявшего что-то грозное и неотвратимое.

Собрав все остатки погибшего и клочки его одежды в мешок, мы возвращались обратно к линии железной дороги.

Солнце склонялось уже к западу, и вечерние тени в тайге удлинились и потемнели. Мы быстро спускались с крутого гребня Бейшелазы. Пашков нес наши винтовки; у меня за плечами был мешок со страшной находкой. Мы шли без остановок, углубившись в свои думы. В лесу было тихо; слышались только постукивание дятлов и протяжный свист самцов-рябчиков.

До линии железной дороги оставалось уже немного. Мы вышли на последний перевал, откуда открылся чудный вид на широкую долину Май-Хэ, по которой извилистой лентой обозначалось полотно дороги, с его сооружениями, выемками, насыпями, постройками, станциями, полями и огородами. На востоке темнела своими дремучими кедровниками громада Лао-Лина.

Останки русского охотника, съеденного тигром.

Ночь приближалась. Надо было торопиться. Немного отдохнув, мы начали спускаться с перевала. Волчок, шедший все время за нами с понурой головой, вдруг выбежал вперед и потянул носом в сторону. Всматриваясь в лесные прогалины, мы увидели группу козуль в шесть штук. Четыре лежали, а два козла бродили около, срывая с кустов засохшие листья. До них было не больше двухсот шагов.

Пашков, шедший впереди, вскинул винтовку. Щелкнул сухой выстрел и ближащий козел, сделав скачок вперед, упал на колени, а затем на бок. Лежащие козы вскочили на ноги и одно мгновение стояли неподвижно, как изваяния, а затем сорвались с места и огромными прыжками пошли от нас вверх по косогору. Прозвучал еще один выстрел, но безрезультатно. Мелькнув последний раз в зарослях белыми „платочками", козы скрылись из глаз.

— Вот досада, кажется, промазал, — произнес охотник, опуская винтовку и провожая жадными глазами убегавших зверей.

Козел лежал на боку. Пуля поразила его в сердце, судя по ране,— в области передней лопатки.

Наскоро выпотрошив добычу и привязав за голову к поясу, Пашков поволок ее по снегу легко и свободно.

Волчок бежал сзади, слизывая со снега капли крови, оставшиеся на следу.

К линии дороги мы вышли поздно. Полная луна показалась над зубчатым гребнем горного хребта. освещая темную тайгу своими холодными лучами. Только к полуночи добрались мы домой, принеся с собой добычу и печальные остатки трагически погибшего товарища.

---

8. ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ.

Кто бывал в дремучей тайге Маньчжурии и нашего Дальнего Востока, и бродил по ее звериным тропам, тот, вероятно, знает, кое-что о таинственном языке условных знаков, встречающихся там на каждом шагу на деревьях, кустах, камнях и других местных предметах. Эти условные знаки являются единственным немым «языком тайги», называемым таежными обитателями „Шу-хуа“, что означает „лесной язык“. Происхождение его весьма древнее и, вероятно, скрывается в глубине веков, когда первобытный человек, не имея письменности, выражал свои мысли примитивным способом, в виде простых, несложных знаков и изображений на окружающем его подручном материале. Этот язык, являясь родоначальником позднейшей письменности, сохранился до сих пор во всей своей неприкосновенности в диких, некультурных странах, где примитивная жизнь человека всецело зависит от окружающей его природы. В нашей тайге язык этот применяется ее обитателями при всех передвижениях, в поисках зверя или человека, для указания направления и в других случаях. когда это признается необходимым, как для себя лично, так и для других заинтересованных лиц. В большей или меньшей степени язык этот известен всем таежникам и все условные знаки имеют свой определенный шаблон, выработанный практически и на основании известных традиций. Количество знаков этого языка очень велико и, вероятно, доходит до нескольких сот.

Всех таежных обитателей, по профессиям, можно разделить на следующие котегории: звероловы, охотники, хунхузы, золотоискатели, рыболовы, искатели жэнь шэня, собиратели грибов (му-эрр) и дровосеки. Члены всех этих профессий живут между собой очень дружно. Взаимоотношения их регламентируются не писанными законами, а обычаями, установленными самой жизнью в суровых условиях тяжелой борьбы за существование.

По существу, все условные знаки можно разбить на несколько типов, а именно: 1) затесы на стволах деревьев, с разнообразными на них значками показательного характера; 2) заломы ветвей; 3) завязки ветвей; 4) срезы ветвей; 5) особая укладка камешков; 6) зарубки на стволах и т. д.

Существуют еще и другие типы, но шесть главных здесь перечислены.

Солидарность друг с другом и чувство взаимопомощи заставляют таежного человека делать необходимые указания, с целью облегчить промышленнику его тяжелый труд, сопряженный с опастностями и лишениями, лицом к лицу с суровой беспощадной действительностью

Необычайно тяжелые условия жизни и промысла в дикой, первобытной тайге выработали свой особый оригинальный социальный строй, основанный на превосходстве реальной силы и, в то-же время, при участии этически-гуманитарных начал, как-то—взаимного доверия, взаимопомощи и сострадания. Такое странное сочетание противопо-

ложных этически-нравственных элементов, как господство грубой силы и сострадание к слабости, объясняется всей сущностью таежной жизни, при бессилии человека в борьбе с грозными силами природы. Сила, как она есть, и в чем-бы она не выражалась, без сомнения, должна быть преобладающим началом в этой первобытной борьбе за жизнь, но, параллельно с этим, и другие гуманитарные элементы человеческих взаимоотношений находят себе место в этом древнем социально-правовом строе.

Лесной обитатель, таежник, представляет собой оригинальный, отживающий тип, выработанный исключительными условиями жизни, вне влияния культуры и цивилизации. Его психология и мировоззрение имеют мало общего с таковыми современного культурного человека. Его физический и духовный облик вполне гармонируют с окружающей лесной стихией и соответствуют тем требованиям, какие предъявляет сама жизнь и крайне трудная, опасная профессия. Хитрость лисицы, выносливость тигра, чутье собаки, глаз сокола, ухо зайца, вот—характерные качества старого лесного бродяги, приобретенные и усовершенствованные в тайге. Человек и зверь соединились в нем, но зверь не заглушил в нем человека. Материалист уживается в нем рядом с мечтателем, поэтом и философом. Одинокая жизнь в пустыне, полная опастностей, наложила на него свой отпечаток, свое клеймо.

Совершая передвижение по тайге, он весь превращается в зрение и слух, ничто не ускользает от его внимания! Зная закон тайги, дающий право на жизнь сильнейшему, он всегда «начеку», всегда готов к борьбе на жизнь и смерть. Религиозные убеждения его не выходят из рамок узкого материализма; одухотворяя природу, он создал себе особый культ, отражающийся на всем быте его и укладе жизни.

Таков таежник, лесной обитатель! Этот тип сохранился не только у нас, в Маньчжурии, но и в других странах, где существуют обширные девственные леса, где культура не смела еще с лица земли ее природное первобытное украшение. Этот оригинальный и красивый человеческий тип воспет в мировой литературе и знаком нам по романам Купера и Майн Рида.

Язык тайги, о котором идет здесь речь, очень мало, или даже почти совершенно неизвестен русским, живущим в Маньчжурии и на нашем Дальнем Востоке. Причина этого явления, без сомнения, кроется в отсутствии у местного русского населения интереса к тому народу, с которым ему приходиться сталкиваться и жить бок о бок.

Язык тайги, как характерный выразитель психологии лесных обитателей заслуживает всестороннего изучения, не только с точки зрения принципиальной: он открывает перед нами завесу, скрывающую неизвестную нам трудовую жизнь.

Во время моих скитаний по горам и лесам Маньчжурии, мне часто приходилось не только встречаться, но и жить среди этих простых и наивных, и, в то-же время, мудрых тружеников леса, посвятивших меня в тайны их первобытного лесного языка, научивших понимать красоту и величие вселенной, и читать ее открытую книгу, написанную искусною рукой вечно-молодой, прекрасной природы.

---

9. ВСТРЕЧА С ХУНХУЗАМИ.

Был июнь месяц,—самое лучшее время в Маньчжурии для пантовки.

Период дождей еще не наступил и летняя жара, хотя и давала себя чувствовать, но переносилась сравнительно легко.

Верстах в двадцати к северо востоку от ст. Ханьдаохэцзы я устроил несколько солонцов, для привлечения изюбрей, и предполагал заняться пантовкой, т.-е. боем самцов, имеющих еще молодые, неокостеневшие рога, называемые китайцами Лу-жунь и ценимые ими весьма высоко за их несомненные целебные свойства.

Местность была очень пересеченная, наполненная довольно крутыми, каменистыми отрогами хребта Лао-лина, покрытыми редкими дубняками. Среди этих лесов, на горных перевалах находились мои солонцы. Здесь же, в одном из распадков, у чистого горного ключа, приютился мой незатейливый шалаш из дубовых веток и луговой травы. В этом примитивном жилище я проводил жаркое время дня, а на ночь располагался на окраине одного из солонцов, в ожидании прихода изюбря с драгоценными пантами.

Время летело незаметно. Добытые панты, вырубленные с лобной костью, я относил на станцию для продажи, а сам на другой же день возвращался к своему шалашу и продолжал охоту.

Много времени утекло с тех пор. Давно это было. Но я с удовольствием и с какой то затаенной грустью вспоминаю это былое.

Картины и многие эпизоды таежной жизни встают передо мной и образы минувшего заслоняют настоящее и его осязаемую действительность. Один из этих ярких образов, резко выделяющихся на фоне дикой, первобытной тайги, я и хочу начертать.

Вечерело. Солнце скрылось уже за зубчатыми гребнями Лао-Лина, и ночные тени протянулись по склонам хребтов и легли поперек глубоких ущелий. Жара спала и живительная прохлада повеяла со дна сырой, заболоченной долины.

Разведя небольшой костер у шалаша, я занялся приготовлениями к предстоящему сиденью на солнце. Темнело быстро и я не заметил, как первые яркие звезды заискрились на побледневшем горизонте. Тишина была полная, только где-то д а л е к о, далеко бухала выпь и в глубине соседнего ущелья изредка перекликались болотные совы. Я уже был готов и собирался уходить на ближайший солонец, как вдруг, неожиданно, до слуха моего долетели необычные здесь звуки человеческого голоса.

Я насторожился и, помня суровый закон тайги, схватив всегда заряженную винтовку, отбежал в противоположную сторону и стал за ствол первого попавшегося дерева. Крики болотных сов стали слышнее и чей то низкий человеческий голос раздавался в ночной тишине. Ожидать пришлось недолго. Вскоре из темноты показалась высокая фигура человека с мешком за плечами. Постояв немного у опушки,

незнакомец направился к моему шалашу и, сбросив грузный мешок у костра, выпрямился во весь свой гигантский рост.

„Эй! Кто здесь! Выходи!“—раздался низкий, громоподобный голос пришельца, и я сейчас-же узнал своего приятеля, промысловика-охотника, Акиндина Бобошина, с которым не раз делил радость и горе в диких лесах Маньчжурии. Я вышел из своей засады и крайне удивил Бобошина своим появлением.

„Пэнсэ! Это ты!?“—вскричал он, гаркнув на весь лес и принимая меня в свои могучие объятия.

„Я здесь не один, со мной хунхузы, но ты не опасайся: это народ смирный и худа не сделают!“ — проговорил он после взаимных приветствий и расспросов. Затем, приложив палец к губам, он издал звук, похожий на крик болотной совы, ему ответили тем же из чащи и, вскоре, мы были окружены толпой вооруженных китайцев.

„Вот, видишь-ли, я добыл панты и несу их на Хантахезу продавать; да по дороге встретил этих... Эй! Тун-Сан!“—обритился он к высокому хунхузу, отдававшему другим какие то распоряжения. Обоюдного объяснения их на китайском язык я не понял, но судя по всему, промысловик, указывая на меня, делал ему какие то наставления и указания, на что Тун-Сан отвечал только „Син! Син!..“

Хунхузов было человек пятнадцать. Одежда их отличалась опрятностью и однообразием. Вооружение также. Почти все были высокого роста, коренасты и хорошо сложены. Выражение глаз их поражало своей серьезностью и даже суровостью. Они были сдержаны и молчаливы. Бесшумно развели они еще несколько костров и занялись чаепитием. Сам Тун-Сан лично расставил вокруг становища часовых и возвратился к нашему костру, у которого мы с Бобошиным расположились поудобнее на разостланной изюбриной шкуре. Я отложил свое намерение—итти на солонец, предпочитая провести время в такой интересной „теплой“ компании.

Темная таежная ночь окутала землю. Где-то поблизости кричали козлы и весело потрескивали костры, освещая фигуры китайцев и стволы ближайших деревьев.

Тун-Сан, выпив предложенного ему чаю, поджав под себя ноги, сидел у костра, посасывая массивный каменный наконечник, длинной трубки. Его лицо, темно-бронзового цвета, было сурово и неподвижно. Черные зрачки его косо прорезанных глаз устремлены были на красноватое пламя. Вся его фигура изобличала непреклонную силу воли и властность. Это был известный и популярный среди таежных обитателей нингутинского района предводитель нескольких хунхузских шаек, оперировавших к северу от линии КВжд, вплоть до Сансина.

Пока Бобошин занят приготовлением ужина, в виде шашлыка из изюбриной вырезки, обратим внимание на его далеко необычайную наружность.

Очень высокого роста (около 2 ар. 13 вер.), сухощавый, широкий в кости он обладал громадной физической силой. Большая голова его сидела на длинной, жилистой шее, длинные ноги и руки и громоподный бас производил импонирующее впечатление на маленьких, тщедушных звероловов, в фанзах которых, он жил иногда подолгу. Бороду и голову он брил обломком перочинного ножа, носимого в кармане кожаной куртки. Широкое, скуластое лицо, посреди которого возвышался большой, горбатый нос, было неопределенного цвета по той причине, что воду и мыло оно видело редко, зато—

постоянно подвергалось различным внешним влияниям климата и других факторов. Небольшие, но выразительные глаза смотрели смело и задорно, а в гневе сверкали, как у волка. На вид ему было лет сорок.

По происхождению, он был из крестьян Забайкальской обл. и до поступления на военную службу занимался хлебопашеством, а зимой—белкованьем. Отбыв срок действительной службы, он поступил в Охранную Стражу строившейся КВжд. По окончании службы в Страже, остался здесь, увлекшись охотой, простором и свободной жизнью зверобоя-траппера.

Отличный стрелок, смелый и отчаянный до безумия, великолепный следопыт и знаток тайги, он добывал много зверя и выручал хорошие деньги; но свободная натура его, дикая и бесшабашная, была причиной того, что Бобошин всегда сидел без гроша, оборванный, грязный и нищий. Убив зверя, он тащил его на станцию, продавал за бесценок, и вырученные деньги, подчас немалые, пропивал с товарищами и друзьями в притонах Ханьдаохецзы или Имяньпо. Пил он горькую, пока не пропивал всего, включительно до винтовки. Попойки зачастую оканчивались скандалами и драками и Бобошин, пьяный мертвецки, почти голый, выбрасывался честною компанией на улицу. Иногда же судьба окончательно от него отворачивалась и, в конечном итоге, он попадал в полицейский участок.

Зачастую, и не без усиленных хлопот, мне приходилось выручать его и освобождать из узилищ, с возложением на себя ответственности за последствия. Один раз ему угрожала даже тюрьма и ссылка на поселение.

Каждый раз, после такой передряги и более или менее продолжительной высидки при полиции, он чистосердечно каялся в своих грехах, ревел как белуга, и давал мне клятвенное обещание исправиться и изменить свое поведение, но, разумеется, все эти благие намерения разбивались вдребезги, когда Бобошин менял свое зверье на деньги и становился лицом к лицу со всеми соблазнами изнанки городской культуры, в виде бесчисленных батарей бутылок в грязных притонах станционных поселков.

Этот богатырь и грозный таежный зверобой, ходивший один с ножом на медведя и меткою пулей свалившний уже не одного владыку лесов,—могучего тигра, становился слаб и беспомощен, как ребенок, перед соблазнами пьянства. Протрезвившись и придя в себя, угрюмый и суровый, он обходил своих более или менее хороших знакомых и друзей, русских и китайцев, которые и снабжали его в тайгу всем необходимым. Будучи на промысле, он не позволял себе никаких вольностей и излишеств, и жил в тайге иногда подолгу,—от 2 до 4 месяцев.

Жил он там, кочуя по фанзам звероловов, охотился и добывал пушнину, в то же время помогая, чем мог, своим приятелям-коллегам, которые уважали его не только за духовные и физические качества, но и за отсутствие в нем племенной гордости. Он был с ними за панибрата и они считали его своим. Называли его обыкновенно „Моуцзы Бобошка" и под этим именем он был известен по всей тайге, от границ Кореи до Сунгари.

Одевался он во что придется: то увидишь на нем китайскую курму и наколенники; то—русскую поддевку и лакированные сапоги; то—енотовую монгольскую шапку; то—щеголеватый суконный кар-

туз; то, на ногах—дырявые опорки и на плечах — рваный китайский халат. С хунхузами он ладил и жил с ними дружно; они его не трогали, зная его достоинства и недостатки, и, отчасти, побаиваясь.

В тайгу он всегда ходил один и не любил товарищей-компанионов. Только для меня он делал исключение, ввиду некоторых услуг, оказанных ему мною. Таков был Моу-цзы Бобошка, с которым мне пришлось так неожиданно встретиться в тайге, при необычайных обстоятельствах.

О различных эпизодах из его богатой приключениями жизни можно было бы рассказать многое, но мы остановимся только на некоторых из них.

Иногда, раскаявшись в своих грехах и в порыве благих намерений, Бобошин приносил мне на сохранение деньги, подчас значительную сумму, просил не давать ему их втечение двух, трех месяцев; при этом он говорил, передавая мне тряпицу, в которую деньги были завернуты:

«Вот, Пенснэ! Спрячь деньги и не давай мне ни за что и ни под каким видом, даже—если я буду просить! Убей меня, но не давай!»

После этого, обыкновенно, приятель мой исчезал надолго; где он пропадал,—не знаю, но вероятно, в тайге, на промысле. Через два или три месяца он являлся ко мне под легким хмельком и со сконфуженным видом просил отдать ему деньги, говоря на мои возражения и протесты, что «все равно пропадать,—пить или не пить! Лучше уж пропадать пьяному!»

Как я ни старался отделаться от него и внушить ему все неблагоразумие его поступка, из этого ничего не выходило, и, в конце концов, он выуживал у меня все сданные деньги по частям, конечно, проживая их без остатка; при этом он становился так жалок и возбуждал такое сострадание, что я не сдерживал своего обещания и отдавал ему все деньги.

Меня он называл „Пенснэ“, по той причине, что я всегда носил этот прибор на носу по большой близорукости. Вообще, всех он называл на „ты“, не признавая „вы“. Как и мне, многим он давал свои прозвища, иногда очень меткие и остроумные. По своему характеру, несмотря на внешнюю грубость и суровость, он был чрезвычайно мягок, деликатен и добр. Как говорили про него товарищи, он „мухи не обидит“, и это была сущая правда.

Известно было несколько случаев, когда он отдавал все, что у него было, нуждающемуся, все равно, будь то русский, или китаец, чем он и заслужил общую любовь и расположение. Между приятелями, к сожалению, находились и такие, которые эксплоатировали этого богатыря-ребенка, пользуясь его добродушием, незлобивостью и откровенностью. Должно быть, это в порядке вещей, т. к. типы эти цинично заявляли: „На то и щука в море, чтобы карась не дремал!“

Бобошин был женат, но семья его осталась на родине в Забайкалье, и Акиндин никогда о ней не вспоминал. К женщинам он относился резко отрицательно.

Когда я познакомился с Бобошиным, семья моя оставалась в России и охотник часто приходил ко мне, иногда жил у меня втечение недели и более, и мы совершали с ним охотничьи экскурсии в тайгу. Бобошин считал меня одиноким и привязывался ко мне все

более и более. В свою очередь, и я привязался к этому гиганту-ребенку, открывая в нем все новые и новые достоинства.

Жили мы с ним душа в душу и я начал замечать, что Акиндин меньше пьет и интересуется книгами, которые я давал ему читать. Особенно занимало его чтение народных сказок, басень Крылова и „Записок Охотника“ Тургенева.

Так шло время.

Приехала ко мне семья из России. Бобошина не было, он ушел в тайгу и пропадал там более двух месяцев. В ноябре он появился на станции и пришел ко мне, по обыкновению, не зная о возвращении моей семьи.

Войдя в переднюю, он крикнул, как всегда, своим зычным голосом:

„Пенснэ! Здравствуй! Я принес тебе мяса, возьми!“

С этими словами он подошел ко мне, пожимая своей огромною рукой мою руку у локтя. Выражение его лица было задорное и веселое, его громоподобный голос и звучный смех наполняли всю комнату, так что стекла в оконных рамах дребезжали. Но, разговаривая с ним, я заметил, что выражение его лица изменяется, веселость пропадает, уступая место недоумению и растерянности. Немного погодя, он начал всматриваться в мои глаза и пристальный взор его омрачился; он что-то понял и сообразил, молча и с упреком пронизывая меня острым, испытующим взглядом своих карих, глубоких глаз.

„Пенснэ!—начал он,—да никак у тебя „баба“!? Я сразу почувствовал это, как только вошел сюда! Ну, прощай! Я иду!“

Произнеся это, Бобошин круто повернулся кругом и быстро направился к двери. Я бросился за ним, стараясь его удержать, объясняя, что ко мне приехала семья, что не может повлиять на наши отношения; но все—напрасно.

Только на пороге он повернул ко мне голову и сказал, стараясь сдержать свое волнение:

„Пенснэ! Брось! Ей-ей, брось!“

Я стоял у крыльца на улице, ошеломленный и звал его вернуться и поговорить, но,—куда там; присутствие у меня жены так его напугало, что все старания,—вернуть его,—ни к чему не привели.

Отойдя шагов сто, он остановился, посмотрел еще раз в мою сторону, махнул безнадежно рукой и скрылся за поворотом. Долго он не появлялся, что-то около полугода; но потом, совершенно неожиданно, я встретил его в поселке. Вид у него был самый отчаянный: грязный, оборванный и полуголый, он был весь в синяках и кровоподтеках. Меня он узнал еще издали и крикнул полупьяным, хриплым голосом: „Пенснэ!“ Он валялся посреди улицы и неистово ругался с проходящими мальчишками. При помощи этих же мальчишек мне удалось его поднять на ноги и привести к себе домой.

Впоследствии, мы снова часто ходили с ним в тайгу и промышляли зверя, причем свое мнение о „бабах“ он высказывал очень сдержанно, и уже не так непримиримо.

К деньгам и материальной выгоде относился он совершенно равнодушно. Деньги интересовали его, как возможность выпить. Бескорыстие его и безупречная честность, проявлялись не раз во время нахождения его на военной службе. Так, будучи послан начальником участка службы пути, с крупными деньгами, со ст. Шаньши на Ханьдаохэцзы, он подвергся нападению шайки хунхузов в 10 человек

Отстреливаясь и тяжело раненный, он вынес тяжелый мешок с золотом на станцию и отказался даже от награды. В мешке было около 10 тыс. золотою монетой.

Иногда у Бобошина на руках было до 10-12 тыс. рублей, и ни одна копейка не пристала к закорузлым, сильным рукам его. В те времена Бобошин совершенно ничего не пил, очевидно, сознавая всю ответственность.

В тайге и на охоте по зверю это был незаменимый и верный, компанион, готовый пожертвовать своей жизнью ради спасения товарища

Я знаю случай, как нельзя более подтверждающий эти его высокие духовные качества.

В конце декабря компания промысловиков, состоящая из трех человек, преследовала раненного тигра. В каменной россыпи горного хребта тигр устроил им засаду и неожиданно бросился на одного из охотников, подмяв его под себя. Стрелять не было никакой возможности, так как риск попасть не в зверя. а в человека, был слишком велик. Бобошин, шедший вторым, передает винтовку заднему и, выхватив нож, бросается на тигра.

Рассвирепевший зверь оставляет свою жертву и одним ударом могучей лапы валит на землю Бобошина. Начинается между ними борьба и охотник, несмотря на тяжелые раны, причиненные когтями хищника, успевает распороть ему брюхо своим коротким финским ножом. Тогда третий охотник, видя критическое положение Бобошина, удачно пускает разрывную пулю в голову разъяренного агонизирующего зверя.

Бобошин получил глубокие поранения на плечах и груди, второй же охотник отделался царапинами и переломом ключицы.

Все свои подвиги он ставил ни во что и из присущей ему скромности никогда о них не говорил. Вероятно, он считал, что это в порядке вещей и не заслуживает даже похвалы.

Мировоззрение этого таежника было оригинально. Стоя близко к природе и черпая у нее свои физические и духовные силы, он под час поражал своими познаниями, меткими, определенными с глубокими мыслями. Как-то, бродя по звериным следам в главном хребте Лао-Лина, мы остановились на большом перевале, отделяющем бассейны верховьев Сунгари и Муданцзяна. На юге—темная, словно туча, конусообразная вершина Та-ту-динцзы. На запад и на восток, как морские волны, уходили сине-фиолетовые лесистые гребни горных хребтов, теряясь в туманной дали горизонта. Мы с Бобошиным долго стояли на этой горной высоте, любуясь открывшейся перед нами панорамой.

— Пенснэ! А, ведь, это-ж красота, чорт возьми!—произнес, наконец, Бобошин, указывая рукой на этот безбрежный океан первобытных лесов.—А знаешь-ли, что я тебе еще скажу! Ведь, я тут хозяин и никто другой! Ты думаешь,—я беден? Ничего подобного! Я—не нищий! Я—богач! Здесь пасутся бесчисленные стада моей скотины: кабанов, изюбрей оленей и коз! Я беру из своих стад, сколько захочу зверя! Податей никому не плачу! Никому не подчиняюсь и знать никого не знаю! Все, что ты видишь,—мое!—

Голос великана звучал, как труба, и в чистом морозном воздухе горных высот и, отражаясь в глубоких ущельях Та-ту-динзы, замирал вдалеке, вызывая многократное эхо. Вся фигура великана, резко обрисовываясь на фоне тайги, засыпанной снегом, вполне гармониро-

вала с дикой, прекрасной природой и, казалось, дополняла ее, как-бы составляя с ней одно целое.

Таков был старый таежник- промысловик, Аккиндин Бобошин, известный на севере-востоке Маньчжурии зверобой, прозванный китайцами «Моу-цзы Бобошка» ,,Лян-ге-ли''—за свой гигантский рост.

Тихая таежная ночь плыла над землей. Весело потрескивал наш костерок, бросая снопы красноватых искр.

Бобошин сидел рядом со мной, подобрав под себя свои огромные ноги, обутые в оленьи мокассины, и с особым причмокиванием пил ароматный чай в прикуску.

После полуночи хунхузы засуетились и, быстро собравшись в поход, ушли так же неожиданно, как появились, потонув во мраке дремучего леса.

Почти всю ночь мы просидели у костра и низкий, грудной голос Бобошина, как шмель, гудел под сводами старого дуба.

Под утро, пригретый разгоревшимся пламенем костра, я крепко заснул и только под давлением тяжелой руки Бобошина проснулся. Солнце еще не показалось из-за горных хребтов, но было уже светло. Открыв глаза, я увидел приятеля с неизменною носогрейкой во рту. Он собрался уже уходить и огромный мешок виднелся за его плечами.

— Ну, Пенснэ„! Счастливо оставаться!—произнес он, похлопывая меня по спине своей тяжелой десницей,—иду на Хантахезу: как-бы панты не прокисли! Прощавай! На обратном пути, однако, загляну к тебе.

Вскоре высокая фигура его замелькала среди дубняков и исчезла в глубине распадка.

Я остался один и занялся ремонтом своего шалаша, ввиду предполагаемого дождя. Вершины Лао-Лина заволокло тучами. Начинало парить. В неподвижном воздухе чувствовалась гроза...

Накрыв шалаш снопами свеже скошенной травы и не заботясь более о предстоящей грозе, я залез под уютный кров свего таежного вигвама и снова забылся в крепком, беззаботном сне.

К полудню разразилась гроза. Дождь лил, как из ведра. Сквозь сон я слышал трескучие раскаты грома и мне казалось, что среди этих грозных звуков разбушевавшейся стихии я слышу густой бас своего приятеля, Бобошки, и вижу его колоссальную фигуру на горном перевале Лао-Лина.

---

10. ЛЕГЕНДА ДРЕМУЧЕГО ЛЕСА.

Была весна. Тайга одела уже свой пышный зеленый убор. Чистый горный воздух, напоенный ароматом цветущих растений, вливался в грудь животворящею волной. Дышалось легко и свободно, и казалось, что вздымается широкая грудь исполинов-сопок и вся окружающая прекрасная природа наполнена этим дыханием жизни и стихийным стремлением к теплу, свету и солнцу.

После утомительного перехода через крутой, скалистый хребет Лянзалин, мы со стариком Ли-саном спускались по едва заметной зверовой тропе в долину реки Лянцзыхэ, где приютилась у высоких прибрежных скал убогая и древняя фанза зверолова, служившая нам всегда пристанищем во время скитаний по дремучим кедровникам этого пустынного и дикого края. До фанзы было еще далеко и мы, выйдя на берег горной красавицы Лянцзыхэ, расположились под темным шатром развесистых ветвей старой ели. Прислушиваясь к шуму бурных волн, лежа на мягком ковре молодых трав, мы глядели в ясное голубое небо, просвечивавшее между ветвей темнозеленой хвои. Старый Лисан нес на своей, сгорбленной жизнью и летами, спине тяжелую ношу, в виде пудового мешка муки, фляги с бобовым маслом и других продуктов, купленных им на ст. Ханьдаохэцзы. Вес этого груза был не менее полутора пудов, но старый таежник с удивительною легкостью шагал по крутым лесным тропам, без признаков видимого утомления, только, от времени до времени, он останавливался, вытирал грязным полотенцем пот, катившийся по лицу и шее, и раскуривал свою длинную трубку, набивая ее самодельным табаком из кожаного кисета, висевшего у него на поясе. На вид ему можно было дать лет 45, но, на самом деле, возраст его превышал эти года лет на 20. Моложавость эта объясняется постоянной жизнью на лоне природы, где физические и моральные силы человека не растрачиваются так, как это мы наблюдаем среди культурных людей, в условиях искуственно созданной обстановки. По существу, этот шестидесятилетний зверолов был еще молодым, жизнерадостным человеком, удивительно крепким физически и духовно. Таково влияние природы на человека! Но, к сожалению, общественные условия жизни многих миллионов людей настолько ненормальны и далеки от нее, что у современного человечества явилось опасение вырождения и вымирания не только отдельных лиц, но даже целых наций. Эти ненормальные условия жизни, в связи с недостатком воздуха, питания и переутомления, являются серьезными вопросами современных социальных учений и многие лучшие умы работают над разрешением этой промблемы, с целью облегчить положение и участь тружеников, лишенных возможности вести более нормальную жизнь, присущую человеку и, предназначенную ему самою природой.

Такие отвлеченные мысли бродили в моей голове, когда я наблюдал за старым своим приятелем, Ли-саном, сидевшим на корточ-

ках у самого берега реки и занятым полосканием своего грязного полотенца, скорее похожего на тряпку. Окончив эту процедуру, старик снял свою грязную, засаленную рубашку и принялся обтирать холодною, как лед, водой свои руки, шею, плечи и грудь, причем я не мог не восхищаться его крепкой мускулатурой и стройными линиями его юношески-упругого тела.

Вечерело. Солнце, стоявшее еще высоко, склонялось к западу, и из тайги повеяло прохладой и особым ароматом наступающей ночи. Жара спала. Огромные хвостатые бабочки, с темно-синим отливом крыльев, порхая над цветами сирени, медленно проносились вдоль реки, одна за другой, исчезая в прибрежных зарослях.

Вставать не хотелось. Все располагало к лени и бездействию и тело просило покоя.

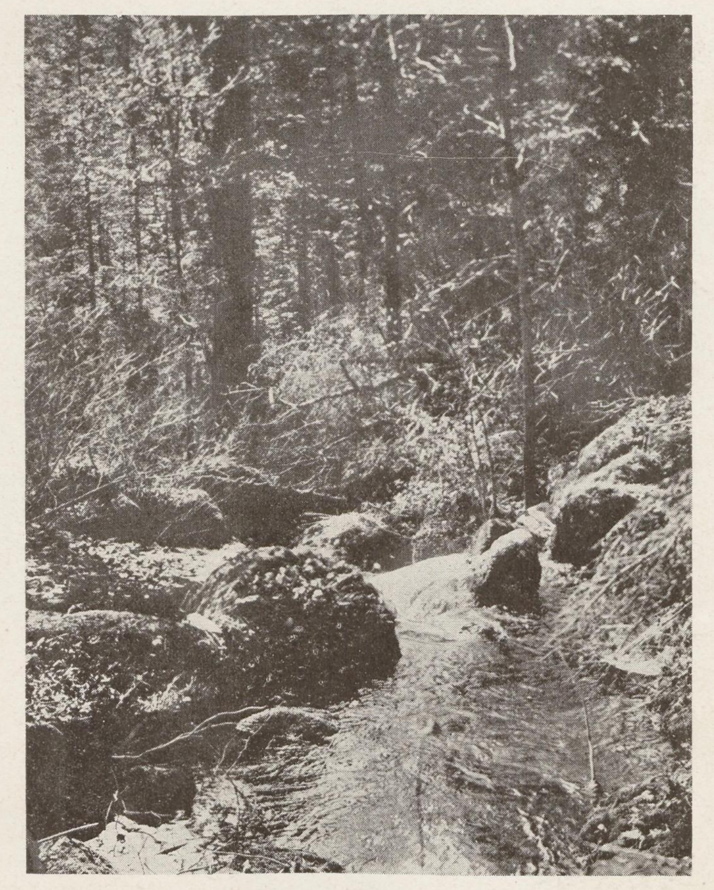
По окончании омовения, Ли-сан закурил, свою трубку и стал собираться в дальнейший путь. Я нехотя поднялся и, следуя благоразумному примеру своего приятеля, также приготовился к походу.

В это время со стороны реки раздался голос какой-то птицы. Он звучал громко, как флейта, и по временам становился похожим на человеческий. В звуках его было всего четыре ноты. Крик этот повторялся часто, через небольшие промежутки времени, и доносился откуда то сверху, где темнели на фоне голубого неба кудрявые вершины гигантских кедров. На мой вопрос, что это за птица, Ли-сан ответил:

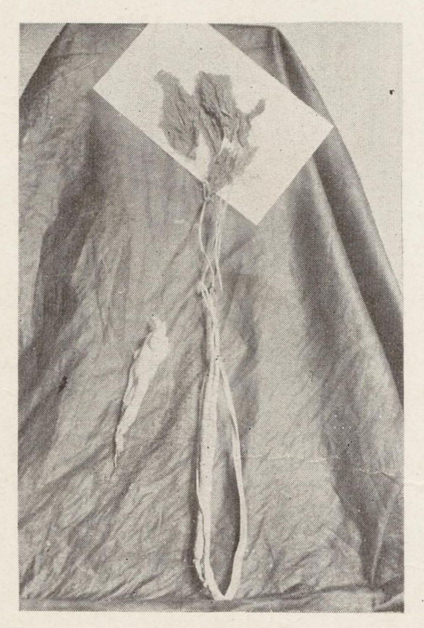
— Это птица «Цяо р! Если хочешь, я расскажу тебе о ней нашу таежную легенду, которую — передавал мне мой отец, когда я был ростом не выше пояса!—

Я с радостью согласился. Мы уселись с ним на обрывистом берегу реки. Внизу, под нами, бурлила и пенилась по камням беспокойная Лянцзыхэ. Раскурив свою трубку, старый зверолов начал повествование о той таинственной птице, крик которой раздавался в тишине дремучего леса, будя далекое горное эхо.

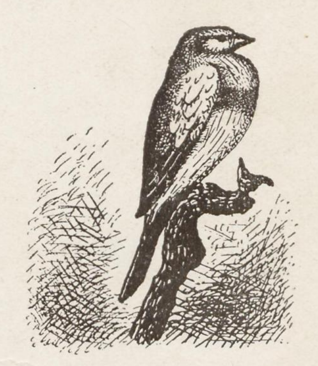
— В далекие, далекие времена жил в Нингуте старый Ван-га-го. Было у него два сына: старший Лиу и младший Кон-гуль-точу. Отец был беден и не мог прокормить свою семью, а поэтому братья каждое лето уходили в леса Шу-хая, искать и добывать в горных речках золотой песок, а в конце лета бродили по тайге, в поисках драгоценного жэнь-шэня, чем и поддерживали семью, облегчая труды престарелых родителей. Братья были очень дружны и крепко любили друг друга. Никогда они не разлучались, росли, играли и работали всегда вместе. В поисках жэнь-шэня они также никогда не расходились по-одиночке; но, однажды, во время отдыха на берегу лесного ручья, старший брат Лиу вспомнил, что на предыдущей остановке, нездалеке оттуда, он забыл свою любимую трубку, подарок отца. Не долго размышляя, он встал и пошел искать свою трубку, велев брату ожидать его возвращения. Прошло много часов с тех пор, как ушел Лиу; в тайге повеяло уже вечернею прохладой и густые тени легли по склонам лесистых сопок. Лиу не возвращался. Обеспокоенный Кон гуль-точу начал звать своего брата, предполагая, что он сбился с пути и потерял направление, но ответа не было, только горное эхо вторило ему и откликалось многократно в далеких ущельях. Наступила ночь и злые духи гор и лесов покинули свои убежища, нарушая тишину дикими криками и хохотом. Кон гуль-точу не



Лесные дебри.



Жэнь-Шэнь.



Таинственная
птица Цяор.

был труслив и смело шел по тайге, пробираясь через заросли, скалистые хребты гор, через болота и трясины, в надежде найти любимого брата. Но все напрасно... Всю ночь бегал по тайге Кон-гуль-точу, изорвал в клочья свою одежду; шипы и колючки чертова дерева вонзались в его тело.

Израненный и изможденный, он бежал все дальше вглубь дремучего леса и звал, громко крича: „Лиу! Лиу!" Но ответа не было. Наступил день и Кон-гуль-точу в отчаянии ломал себе руки и просил всесильного духа отдать ему брата! Он плакал и рыдал, падал на землю, царапая ее ногтями, и все призывал своего брата. Несколько дней он бегал по лесу и вдруг с невыразимою ясностью почувствовал, что никогда, никогда не найдет своего брата и невыразимая тоска вошла в его сердце и затуманила его мозг. Он стал призывать горного духа и просил у него смерти, так как жизнь без брата была для него невозможной. В это время вышел из чащи горный дух в образе тигра и растерзал бедного Кон-гуль-точу и душа его, освободившись от тела, улетела в тайгу, в поисках души Лиу. Добрые духи гор и лесов сжалились над душами любящих братьев и превратили их в птиц. С тех пор, раннею весною, когда в тайге зацветает ландыш, раздаются крики двух птиц. Это братья, Лиу и Кон-гуль-точу, летают по лесам и зовут друг друга. Голоса их тоскливо звучат в тишине вечерней и утренней зари, нагоняя суеверный страх на обитателей тайги. .

В лесу, действительно, тоскливо раздавалось: „Кон-гуль-точу!" и где то вдалеке кричала какая-то птица: „Лиу! Лиу!".

— Если ты вздумаешь пойти за этой птицей Цяо-р,—продолжал Ли-сан,—с целью посмотреть ее или убить,—она заведет тебя в такие дебри, что ты заблудишься и попадешь в лапы горного духа — тигра. Она знает, где растет жэнь-шэнь и поведет тебя к нему, но знай, что корень этот охраняет тот же дух и он тебе не отдаст его даром: ты заплатишь за него своей жизнью.

Так поучал меня старый зверолов Ли-сан, а вдали перекликались эти таинственные птицы и казалось, что в голосе их было что-то человеческое, так мало он походил на птичьи крики.

— Кон-гуль-точу!—заливалась одна звучною флейтой в вершине старого кедра.

— Лиу! Лиу!—отвечала ей другая из глубины темнеющего леса.

Заинтересовавшись этими птицами, впоследствии я много лет подряд старался их добыть для орнитологической коллекции, но все попытки мои не привели ни к чему, так как подойти к птице почти невозможно: крик ее слышен далеко, за 1—2 километра; сидит она, обыкновенно, на вершине высочайшего кедра или тополя; на выстрел она не подпускает, слетает и начинает кричать опять за $^1/_4$ или $^1/_2$ километра. Крик ее слышен только весной, в конце апреля и мае, в остальное время ее не слышно. Вероятно, это — время гнездованья. Птица эта принадлежит к числу прилетных, т. е. гнездующих у нас только летом. Водится она только в Гиринской провинции, в Южно-Уссурийском крае и в Корее. Где проводит зиму—неизвестно. Китайцы называют ее „Цяо-р". Видеть ее мне удавалось только на далеком расстоянии, в бинокль. Величиной она с сороку; оперение пестрое; хвост длинный. Может быть весной птицы эти живут парами и крик самца отличается от крика самки, а может быть —это два различных вида. Интересно было-бы добыть эту птицу, еще неизвестную науке, для нашего края. Держится она в больших лесах, преимущественно

хвойных и смешанных. Мистически настроенные китайцы-таежники ни за что не соглашались добыть для меня эту птицу, веря, что в ней пребывает душа заблудившегося человека. Когда я однажды прицелился из винтовки в птицу, сидевшую на верхушке сухого кедра, бывший возле меня зверолов отвел дуло в сторону, со словами: „Не надо! Пу-син!“ Впоследствии, я раза два стрелял в птицу из винтовки, на расстоянии 300-400 шагов, но разумеется, не попал: слишком уже мала была цель.

Солнце совсем уже село, когда мы с Ли-саном поднялись с места и двинулись по тропе, направляясь вверх по течению Лянцзыхэ. Зверолов шел впереди меня; во рту его дымилась неизменная трубка и деревянные рогульки с тяжелою ношей покачивались на его спине из стороны в сторону.

В тайге было совсем темно, но каменная гряда на водоразделе Лао Лина, освещенная последним отблеском вечерней зари, розовела на фоне темносинего неба. В кустах и прибрежных зарослях мелькали фосфорическим светом светляки, отражаясь в бурных волнах реки мигающими бликами. Долго еще слышны были тоскливые голоса неведомых птиц, пока дремучая чаща не поглотила их в бездонных недрах.

Ли-сан молчал всю дорогу и только иногда тяжело вздыхал под грузною ношей. Шаг его все так же был быстр и размерен и усталость не ослабила его железных мускулов. Я шел за ним налегке, но чувствовал, что ноги мои утомлены и требуют отдыха.

Тропинка вилась по самому краю обрывистого берега и ее контуры едва только намечались, так что приходилось ориентироваться на темную фигуру зверолова, на спине которого белым пятном выделялся мучной мешок, служивший мне «путеводным светочем» в непроглядном мраке таежной пустыни.

Вверху, кое-где, между темными ветвями великанов леса, мерцали и искрились звезды.

Уханье филинов, заунывные крики сов и голоса зверей раздавались в глубине тайги, как стихийный призыв к жизни вечно-юной бессмертной природы.

Я долго не мог отделаться от впечатления, произведенного на меня рассказом старого зверолова, и в ушах у меня звенели необычные голоса таинственных птиц маньчжурской тайги.

---

11. ДИКИЙ ОХОТНИК.

Наступила золотая осень. Однообразный зеленый наряд тайги запестрел всеми цветами радуги; не цветы, а листья загорелись яркими самоцветами, оттеняя зеленые фоны глубины лесов. Огненно-красные, малиновые, белые, розовые и бурые пятна выступили на темной зелени сопок и, расцвеченные ими, стояли горделиво, как огромный пышный цветник. Горный воздух, чистый и прозрачный, напоен был запахом увядающей растительности, созревших ягод и плодов тароватой тайги. Мягкие контуры далеких хребтов подернулись фиолетовой дымкой, и зубчатые вершины гор, под лучами яркого солнца, горели серебром и золотом в синеве безоблачного неба.

Мы быстро подвигались по зверовой тропке к северу от разъезда Шихо, направляясь к зимовью охотника-промышленника, в надежде поохотиться там на изюбрей.

Течка у этого зверя начинается с 10 сентября и оканчивается в двадцатых числах того же месяца; в это время производится охота на рев. Сущность ее состоит в следующем:

Охотник, искусно подражая реву самца-изюбря, приманивает его к себе и бьет из винтовки. Для подманивания употребляется обыкновенная труба, которая делается из елового дерева, и представляет собой усеченный конус, до 40 сант. длиной. Толщина стенок трубы $1\frac{1}{2}$ сант., отверстие узкого конца 1 мм, широкого конца 15 сант. Дуть в такую трубу надо, вдыхая воздух в себя и прижимая тонкий конец к губам. Подражать приходиться реву молодого изюбря, тогда старый самец отвечает охотно и идет на призыв; молодой же на крик старого не пойдет. Чаще всего изюбри ревут на утренней и вечерней заре; тогда все сопки и пади оглашаются их голосами, и звонкое горное эхо вторит им, откликаясь в далеких ущельях. Старые изюбри, вызывая на бой противника, яростно роют землю передними ногами и рогами; бросаются с ожесточением друг на друга, стараясь вонзить острия своих рогов в незащищенные места тела противника. Фехтуют они рогами великолепно, и редко случается, чтобы сильнейший убил слабейшего; обыкновенно последний уступает и спасается бегством, оставляя победителю своих самок. Сильный самец гоняет перед собой стадо самок, от 5 до 8 и даже 12 штук, обращаясь с ними жестоко. На этой охоте необходимо соблюдать тишину, не курить, не кашлять и, кроме того, становиться против ветра, иначе чуткий зверь узнает обман и не выйдет на призыв, некоторые охотники удачно ревут в ствол ружья, или же в срезанный ствол зонтичного растения.

Солнце склонялось к западу, когда мы вдвоем с промышленником Бобошиным подошли к его зимовью, расположенному в живописном месте распадка, на берегу быстрой горной речушки, шумно катящей свои кристально чистые холодные струи по узкому камени-

стому ложу. Рев изюбрей уже начался. Голоса зверей раздавались в тишине наступающего вечера и неслись непрерывающимся гулом с обоих склонов горных хребтов и из глубины далеких падей.

Сбросив с себя лишнюю ношу и вещевые мешки, мы наскоро захватили винтовки с патронами и быстро зашагали вверх, по склону хребта, где слышались голоса по крайней мере пяти изюбрей, перекликавшиеся между собой на небольшой сравнительно площади, Голоса то приближались, то удалялись. То грозные и вызывающие, то жалобные и печальные, они производили сильное впечатление среди этой дикой, величественной природы, в суровых горах и девственных первобытных лесах.

Под крики и вопли зверей мы поднялись на перевал горного хребта, где остановились на обширной поляне, покрытой пожелтевшею травой, окруженною со всех сторон дубовым лесом. Солнце одним своим краем коснулось зубчатого гребня лесистых гор, и вечерние тени поползли по склонам и вершинам скалистого хребта. Из соседнего ущелья повеяло прохладой. Ближайший изюбрь, старый самец, судя по низкому голосу, находился от нас недалеко, и его то мы решили подманить на трубу моего компаниона Бобошина. Я стал на опушке леса, скрытый за густым боярышником, а Бобошин расположился немного в стороне от меня, в лесу и начал подражать реву молодого самца. Сначала изюбрь замолк, очевидно его поразили эти звуки, и он стал вслушиваться и соображать. Так прошло минут пять, затем он снова рявкнул несколько раз и замолк. Труба прозвучала еще два раза, и наступила тишина, нарушаемая только далекими голосами зверей и неясным шумом тайги.

Я стал за закрытием, держа винтовку наготове, всматриваясь в темнеющую чащу леса на противоположной стороне поляны. После минутного молчания труба промышленника издала тонкий призывный крик, ему ответил изюбрь густым угрожающим басом, и слышно было его стремительное движение по чаще и зарослям. Зверь приближался, и вот на светложелтом фоне поляны из темного леса показались фигуры зверей. Это были самки; они шли скромно одна за другой, шевеля своими длинными широкими ушами. Выйдя на поляну, они все сгрудились и остановились, насторожившись. За ними, роя землю, с огромными ветвистыми рогами, вышел самец изюбрь и погнал их снова вперед перед собой, угрожая ударами острых рогов. Выйдя на середину поляны, самки снова остановилсь. Их было шесть штук. Все они повернули свои головы в одну сторону, к чему-то прислушиваясь. Повелитель их, наклонив голову книзу и взрывая землю, обошел вокруг и стал перед своим гаремом в гордую позу, подняв прекрасную голову, увенчанную великолепными рогами. Постояв так некоторое время в ожидании, он начал бить землю передними ногами, при чем изо рта его летела в стороны клубами пена, и горячее дыхание вырывалось из раздутых ноздрей, в виде беловатого пара. Он был великолепен в диком гневе и прекрасен, как художественное произведение бессмертной природы. Я стоял очарованный, любовался этой картиной и забыл о смертоносном оружии, бывшем в моих руках. Только, когда зловещая труба снова прозвучала в чаще леса, я очнулся и вспомнил о реальной и грустной действительности. Страсть охотника победила мечты художника, грозное дуло винтовки вскинулось вверх, и грянул сухой, как удар бича, выстрел. Пораженный насмерть, зверь метнулся вперед, в надежде сделать гигантский

прыжек, но упал на колени и потом грузно свалился на бок, судорожно подергивая задними ногами. Самки растерянно заметались по поляне и скрылись в чаще леса.

Сраженный нами изюбрь оказался крупным самцом, с огромными рогами о четырнадцати концах. Вес его вероятно презышал 200 килогр., так как поднять его при потрошении нам никак не удалось.

Навалив на изюбря кучу ветвей и листьев (для предохранения от хищников), мы вернулись в зимовье, где и переночевали; а на следующее утро, на расвете, снова охотились на изюбрей, при чем поменялись ролями: я трубил и подзывал зверя, а Бобошин стрелял и также взял одного старого самца, с рогами о двенадцати отростках. В тот же день обоих зверей мы отправили на арбах на станцию Хайлин.

Вечером мы снова подманивали изюбрей на том же перевале, но только по другую сторону, так как чуткий зверь слышит запах крови издалека и не подойдет к месту, где был убит зверь.

Погода благоприятствовала. Днем выпал небольшой дождь и смочил листву. Ходьба по тайге была легкая, и сырость заглушала шаги, так что можно было подходить к зверю не слышно, не боясь его подшуметь.

Так же, как и в прошлый вечер, Бобошин стал с трубой недалеко от опушки леса, а я засел на конце поляны, замаскировавшись дубовым кустом, не обронившим еще своих засохших листьев. Вечерело, тайга потемнела, и ярко-красный закат предвещал на завтра холод или ветер.

Невдалеке, за увалом ревел старый изюбрь, и слышно было, как он бил копытами землю и сбивал рогами сухие сучья с кустов и деревьев. На звуки трубы он отзывался усердно, но не приближался, оставаясь повидимому на месте. Вдруг, совершенно неожиданно, слева от нас, из зарослей раздался протяжный и тонкий голос молодого изюбря. Старик немедленно ответил ему густым угрожающим басом и очевидно напрявился к нему; судя по звукам его голоса, звери от нас находились шагов 400 и приближались друг к другу. Итти на рев было бесполезно, так как легко подшуметь, и мы решили ожидать, пока старик погонит молодого и пойдет в нашу сторону. Молодой изюбрь продолжал реветь то тонким голосом, то опуская звук до басовых нот. Тембр этого голоса был необычайный, хотя походил на изюбревый, но в нем слышалось что-то фальшивое и чужое, странно было и то, что молодой изюбрь ревел и быстро шел навстречу старому; обыкновенно же молодой отзывается на голос старого и стоит на месте, а последний ищет его и приближается к нему довольно быстро. Мы стояли за своими закрытиями, прислушиваясь к реву изюбрей и ждали, когда они сойдутся, и начнется между ними бой. Но вот, внезапно рев прекратился, и наступила тишина. Чувствовалось, что в тишине девственного леса что-то происходит, что-то творится таинственное и грозное. Где-то в далеких падях ревели изюбри, и в непроглядной чаще леса плакала неясыть. Молчание изюбрей продолжалось не более десяти минут. Неожиданно эту торжественную тишину нарушили звуки ломаемых ветвей, какой то возни и заглушенного хрипа. Затем послышался сдержанный рев, ворчанье, и снова все опять стихло; тайга замерла, как бы прислушиваясь

к зловещей тишине, и тихо-тихо, едва слышно шумела, точно прибой волн, далекого моря.

Мы стояли попрежнему на своих местах, недоумевая и стараясь объяснить себе происходящее. Бобошин тихонько подошел ко мне и прошептал на ухо; — «Пенснэ! (он меня всегда называл так —а ведь быка схватила какая то-нечистая сила! Я слышал ее хрип; так он всегда хрипит перед смертью! '

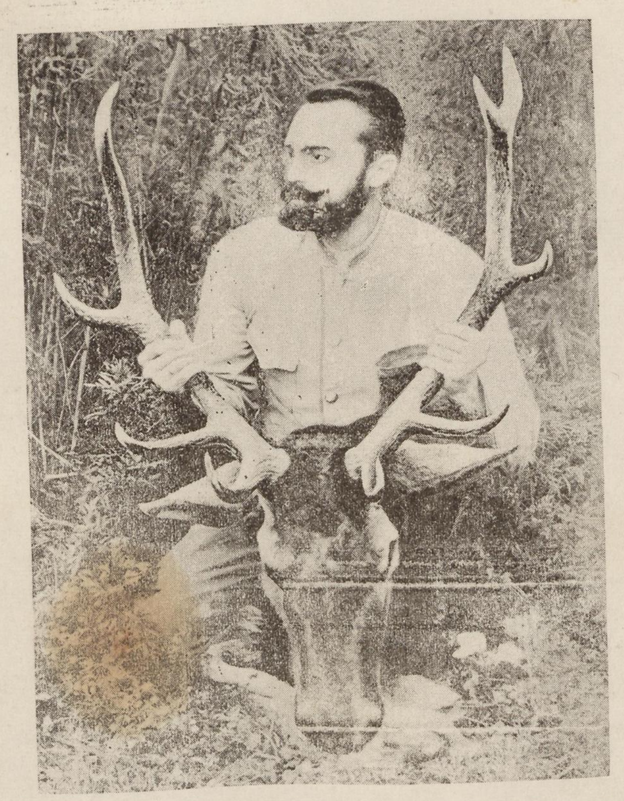
—,,Согласен,—ответил я,—и думаю также, что старый бык погиб в когтях хищника. Но какого? Неужели тигра?"

— ,,Не иначе, как она его схватила. Больше некому, — повторил за мной промышленник и продолжал,—бык-то наш. Надо отбить его. Иначе она испортит его и слопает!»

Мысленно я был согласен с ним, и, кроме того, хотелось испытать свои нервы и сердце в борьбе со страшным хищником.

Посоветовавшись, мы решили итти к месту, где должен был лежать изюбрь. В тайге былоуже темно, хотя западная часть небосклона сохранила еще тусклый отсвет вечерней зари. У меня был с собой карманный электрический фонарик с большой силой света и с прожектором. Я шел впереди, освещая дорогу. Луч прожектора, пронизывая чащу леса, давал возможность двигаться беспрепятственно. Пройдя шагов двести, мы услышали треск валежника и глухое сдержанное рычание зверя, обеспокоенного во время трапезы. Остановились. Я поднял фонарик над головой, стараясь осветить впереди лежащую местность. Но ничего не было видно, кроме сплошных зарослей. Не надеясь взять хищника врасплох и все же опасаясь его внезапного нападения, мы сделали по выстрелу в чащу леса. Тайга зарокотала и застонала, как бы жалуясь на нарушителей ее вечной тишины и покоя. После выстрелов зверь отошел от своей добычи, что ясно было слышно по шороху и шелесту листвы.

Пройдя еще шагов двести, мы наткнулись на тушу изюбря. Зверь лежал на правом боку. Голова была откинута назад, и роскошные ветвистые рога упирались в спину. На горле и шее зияли глубокие кровавые раны. Бока изодраны когтями хищника так глубоко, что виднелись ребра. Закушенный язык окрашен запекшеюся кровью. Трава и кусты вокруг были измяты и забрызганы кровью. На мягком глинистом грунте ясно отпечатывались характерные круглые следы большого тигра. Для нас стало ясно, что хищник подманил старого изюбря, подражая крику молодого, и бросился на него, не делая прыжка и схватил его снизу за горло. До нашего прихода тигр успел сожрать порядочный кусок мяса из задней ляжки. Чтобы не потерять добычу, мы решили здесь переночевать, для чего необходимо было заготовить достаточное количество дров. Вскоре два больших костра запылали в лесной чаще, освещая стволы старых дубов и желтую листву кустарников. Мы расположились между кострами у туши изюбря, и всю ночь должны были поддерживать огонь, так как голодный хищник не отходил далеко и держался на близкой дистанции, удерживаемый только ярким пламенем наших костров. В тишине таежной ночи мы не раз слышали его угрожающее ворчанье, похожее на громкое мяуканье. Для утоления голода и развлечения, мы всю ночь пекли на углях вкусный шашлык из изюбрятины, раздражая аппетит грозного ,,владыки тайги". Иногда нам казалось, что хищник подходил слишком близко к нашему становищу, судя по



После охоты на рев.

Рев изюбря.

звуку его шагов, тогда мы усиленно разжигали костры, подкладывая побольше дров. О сне думать уже не приходилось, хотя мы и были уверены, что всесильный огонь удержит зверя на почтительном от нас расстоянии. Под утро, как только забрезжил свет, и тени тайги стали прозрачнее, хищник удалился в недоступные каменные трущобы гор и больше не показался. Довольные тем, что нам удалось отбить у тигра славную добычу, мы днем перетащили тушу изюбря в зимовье и спали следующую ночь, как убитые, не слыша ни рева изюбрей, ни диких песен старухи—тайги.

---

12. ВАРНАКИ.

(Очерк).

Слово «варнак» в Сибири общеупотребительно. Этим именем называли обыкновенно беглых с сахалинской и забайкальской каторги, пробирающихся через горы и леса, с востока на запад, за Урал, т.-е., на далекую, милую родину, откуда выбросила их карающая рука уголовного закона Не вдаваясь в критический обзор этого уголозного кодекса и целесообразность его применения, я намерен только в кратком очерке дать наиболее характерные особенности психологии этих «отверженных», с которыми приходилось мне не раз встречаться в диких лесных пустынях Дальнего Востока.

Тяжелые условия жизни среди первобытных дремучих лесов, нелегальное положение и всевозможные опасности выработали особый тип людей, отличавшихся специфическими качествами, как духовными так и физическими.

В большинстве случаев контингент беглых комплектовался из крестьян и рабочих центральных губерний России, что объясняется, конечно, подавляющей массой крестьян среди общего состава населения. Значительный процент беглых состоял из уроженцев Кавказа, отбывавших каторгу за убийство по адату кровавой мести. Представители интеллигенции редко встречались среди отверженных, так как физические их качества не соответствовали суровым условиям борьбы за существование в бегах.

Наблюдая этих людей не в тюремной обстановке, а на просторе бескрайной тайги, я могу с уверенностью сказать, что большинство этих «несчастных», как называют их в России, не представляло собой уголовно-преступных типов, а являлось жертвой темперамента, суеверия, нравственной неустойчивости, иногда юридических ошибок и отчасти несовершенства современного социального строя.

Конечно, были между ними и зоологически преступные типы антропологического вырождения, но этот элемент рано или поздно погибал из за своих анти-общественных, преступных наклонностей.

С каторги бежал только тот, кто не мог помириться с ее режимом, убивавшим человеческое достоинство, у кого не умерли запросы свободного духа и не иссякло врожденное стремление на волю, свойственное всякому мыслящему существу. Чувство это стихийное и подчиняет себе волю человека, заставляя его действовать иногда вопреки здравому смыслу и рассудку. Природа человеческая этим выявляет свой протест и возмущение и, ломая все преграды и препятствия, неудержимо рвется на свободу из душных стен тюрьмы и мрачных подземелий каторги.

Самый побег совершался всегда раннею весной, когда, оживала природа, и вместе с ароматом полей и лесов в душу узника вливалось бурною волной непреодолимое желание вырваться на волю, где призывно шумит зеленый лес.

Много беглых погибало в непосильной борьбе с сурсвыми условиями таежной жизни и только выдающийся по своим физическим и духовным качествам элемент сохранял свою жизнь и мог существовать более или менее продолжительное время.

Душа народа, его мысли, желания и мечты отражаются в его поэзии, в сказаниях и песнях. Много раз приходилось мне слышать эти песнн беглых. Они проникнуты печалью, безысходной тоской и жалобой на свою горемычную судьбу и беспросветную жизнь, но в то же время в них чутко подмечены красоты дикой природы и изредка блеснет, как искра в тлеющем костре, богатырская удаль.

В своих передвижениях беглые придерживались таежных районов, где они были обеспечены приютом, топливом и дичью не только летом, но и в суровую зиму, поэтому в песнях своих они тайгу называли ласкательным именем «Тайга-матушка»; она давала им, как любящая мать, все необходимое для существования.

Остров Сахалин назывался у них «Соколиным островом». Отсюда они предпринимали побеги, причем совершали чрезвычайно опасное плавание через бурный Татарский пролив, отделяющий остров от материка, на утлых челнах, на плотах и даже просто на бревнах, связанных попарно,

Большая часть этих смельчаков погибала в волнах Охотского или Японского моря, куда их относило течением; уцелевшие-же, попав на материк около устья Амура, собирались в неболшие артели, по 4-6 человек, и шли тайгой, по известным «варнацким» тропам, на запад, к Байкалу, представлявшему собой также значительное препятствие в пути, так как приходилось переплывать его на плоту, или же в челноке туземца-рыболова.

Бурное озеро немилостиво и неласково встречало беглых и много их погибало в его холодной загадочной пучине. Перебраться через Байкал считалось вторым крупным шагом, после переправы через Татарский пролив.

Песни беглых о Байкале многочисленны, но во всех звучит жалоба на его жестокость и злобу и просьба помиловать бедных «сиротинушек». В сказаниях народных это озеро-море называется «святым», варнаки же называли его «Байкал-батюшка», сравнивая его с суровым и немилостивым стариком-отцом. Крики многочисленных чаек, раздававшиеся над бурными волнами озера, напоминали беглым плач и стенания родных сестер, при отправлении в далекую каторгу. Тоска по отчему дому и семейному очагу затрогивала лучшие струны души беглого и заставляла их звенеть чистыми, как кристалл, звуками.

Немногие решались обойти Байкал с юга или с севера, так как там ждала их почти верная смерть от пули кордонного стражника или туземного охотника. Последний охотился на белсго, как на зверя, чтобы попользоваться лохмотьями его одежды и обуви, или запасами хлеба, полученного от сердобольных жителей попутных деревень, снабжавших «несчастненьких» одеждой и кое-каким продовольствием. Охота на беглых называлась здесь «охотою на горбачей», так как варнаки несли свои пожитки в мешкгх за спиною.

Иногда беглым удавалось раздобыть себе ружья у бродячих инородцев, но это доставалось всегда ценой человеческих жизней. Оружие давало возможность варнаку существовать охотой на крупного зверя и не бояться встречи с вооруженным туземцем.

В конечном результате, после многолетних мытарств и скитаний по тайге, беглому иногда удавалось достигнуть земли обетованной, т. е. милой его сердцу родины. Он попадал к себе домой, виделся с родными и друзьями, но здесь положение его становилось тяжелым и невыносимым. Его нелегальное существование подвергало всех его родных и знакомых юридической ответственности; скрываться не было уже возможности, и беглый, скрепя сердце, должен был расстаться с родиной и снова бежать, куда глаза глядят, скитаясь по белу свету, пока случай не выдавал его властям, или он сам добровольно не являлся в полицию, в качестве «Ивана Непомнящего».

Такие добровольцы ссылались обыкновенно в Сибирь на поселение и жили там до нового побега. В большинстве случаев побеги повторялись многократно и новая весна гнала беглецов в тайгу, под ее надежную защиту. Некоторые беглые поздней осенью добровольно возвращались в тюрьму, проводили там зиму, а весной уходили опять бродяжить на все лето, до наступления морозов; и так до бесконечности тянули они свою жизнь, пока избавительница-смерть не исключала их из списков «Непомнящих».

Были и такие, которые не сдавались добровольно, продолжая вести бродяжническую жизнь в тайге, превращаясь в закоренелых варнаков-таежников. Эти люди предпочитали одинокую смерть в диких лесных трущобах суровому и жестокому режиму каторжных тюрем, где человек лишен был самых элементарных прав, в виде примитивной физической свободы.

Старая дремучая тайга много видела человеческих драм и скрывала их в своих недрах, сохраняя тайные слезы неутешного горя и и кровь безвестных убийств.

С проведением КВжд, беглые с Сахалина шли не только вверх по Амуру, но и по северной части Маньчжурии, придерживаясь линии ж. д. и ее населенных пунктов, где они имели свою базу, служившую им резервом для пополнения запасов продовольствия.

Возраст беглых был самый разнообразный, но все же преобладал средний, от 39 до 45 лет. Старики выше пятидесяти лет, ветераны каторги, были вожаками этих своеобразных таежных артелей и хранителями оригинального обычного права, которое служило связующим звеном этих миниатюрных республик первобытного леса.

Жестокая и беспощадная борьба за существование и суровая дисциплина каторжной тюрмы выработали и создали законы этого права, сплачивавшего пеструю, разношерстную массу людей в одно целое, в крепкий и стойкий организм. Все эти люди, выброшенные за борт общественности и государственности, отверженные и угнетенные, были членами особого примитивного социального образования, созданного самою природою, вне всякого влияния культуры и цивилизации. Они имели свою этику, свою логику и их психология отличалась первобытною оригинальностью.

Слишком молодой элемент в этих артелях отсутствовал, так как хрупкий, не окрепший физически, юношеский организм не выдерживал тяжелых условий таежной жизни и погибал чрезвычайно быстро. Как исключение, среди беглых можно было встретить юных уроженцев Кавказских гор; но здесь не физические, а скорее духовные каче-

ства давали необходимую силу и энергию свободолюбивым горцам, к достижению своей заветной цели,

Через Маньчжурию беглые пробирались по лесам, держась от линии КВжд на расстоянии 10-20 километров. От времени до времени они выходили к поселкам и постам охранной стражи, где всегда получали хлеб, а иногда и кое-какую одежду. Русское население относилось к ним благодушно и помогало им, по мере возможности, но местное китайское население в большинстве случаев, было настроено к ним враждебно, вследствие того, что беглые не всегда вели себя корректно по отношению китайцев.

При встречах с беглыми в тайге, мне приходилось проводить с ними более или менее продолжительное время, причем отношения между нами всегда были прекрасные и они никогда не позволяли себе ничего предосудительного. Держали они себя с большим достоинством, были предупредительны и вежливы. Это нельзя объяснить боязнью перед людьми хорошо вооруженными, но своебразной этикой и традициями.

Особенно памятны для меня были темные таежные ночи у костра, когда группа лесных бродяг, сибирских варнаков, во главе с каким-нибудь седовласым старцем, ветераном сахалинской каторги, затягивала свои печальные, заунывные песни, и дикая дремучая тайга вторила им немолчным шумом. Звуки этих песен будили далекое горное эхо, замирая в недрах неисходного Шу хая, В них слышались то тоска и горе бескрайное, как море глубокое, безграничное, то богатырская сила и удаль.

Горы, леса и долины внимали этой песне и теплая летняя ночь, окутав мир своим пологом, искрилась мириадами звезд. Суровые бородатые люди, разместившись вокруг костра, пели свой торжественный гимн великой, прекрасной природе. Басовые глубокие ноты этой песни, как звуки органа, потрясая своды угрюмого кедровника, рокотали в дреме притихших лесов и неслись вдаль, замирая в скалистых ущельях Лао Лина...

Каждую песнь начинал „запевало", обладавший сильным, красивым тенором; он исполнял первую фразу песни, которую подхватывал весь хор, состоявший преимущественно из басов, в конце каждой строфы тенора повторяли последнюю фразу, в виде припева.

Эти песни сибирских варнаков в дикой обстановке тайги производили захватывающее впечатление своей самобытностью и грозною стихийною силой. На каторге и в обстановке тюрьмы они исполнялись под аккомпанимент кандалов; на воле же, под покровом темного леса, аккомпанимент этот заменялся шумом деревьев и рокотом волн горных потоков.

В настоящее время песни эти забываются и народная память утрачивает их первоначальную чистоту. Слышать их можно только в самых глухих уголках Сибири, от старых каторжан, уцелевших в водовороте житейского моря, в жестокой борьбе за существование. Одну из этих песен, слышанную мной в глухих кедровниках верховьев реки Майхэ, я привожу здесь, как наиболее типичную и характерную. Называлась она „Тайга-матушка" и была наиболее излюбленной и распространенной.

ТАЙГА-МАТУШКА.

Ой ты, гой еси, тайга-матушка!
Тайга-матушка неисходная!
Ты прими своих обездоленных
Деток с острова Соколиного.
Накорми—одень, приголубь—согрей!
Горе-горькое ты возьми себе!
В теремах твоих, в темных урманах,
Всякий зверь живет, птаха вольная,
Птаха вольная, непужоная.
В закромах твоих много золота,
Много золота самородного!
Кряжи горные в небеса глядят!
В небеса глядят, в тучах прячутся
Великаны их белоснежные.
По весне летят гуси-лебеди
На сторонушку, на студеную,
К берегам крутым моря синего.
Моря синего, Ледовитого!
Чу! Кричит гуран зорькой ясною!
Зорькой ясною и росистою.
По горам идет эхо звонкое,
Эхо звонкое, серебристое;
В даль бежит оно, заливается,
В каждой падушке откликается...
Догорел костер в ночку темную,
В ночку темную, непроглядную...
Прошумел в тайге ветер с полудня,
И запел косач песню вешнюю,
Песню вешнюю и призывную.
В небесах слыхать,—журавли летят,
Журавли летят вереницею...
В темной падушке, по тропе лесной

Варнаки идут, озираются,
На родную Русь пробираются.
Ой ты, гой еси, море синее,
Море синее, Байкал-озеро!
Байкал-озеро, отец-батюшка!
Пощади своих обездоленных
Деток с острова Соколиного!
И снеси их челн на крутой спине
На ту сторону, на заветную...
В бурю черную, в непогодушку
Плачет жалобно чайка белая,
Чайка белая, сизокрылая.
Знать в недобрый час собиралися
В путь дороженьку горемычные!
Их убогий челн опрокинулся
И на гребнях волн уж качается.
А Байкал седой дышет злобою
И смеется, знай, заливается.
Не шуми ты, мать-тайга старая,
Тайга старая, неисходная!
Ты не плачь сестра,—чайка белая,
Чайка белая, сизокрылая!
По весне опять, тропкой битою,
Варнаки пойдут вереницею
На сторонушку на родимую,
На родимую, на далекую.

13. ЛЕСОВИК.

Из Уссурийского края приехал ко мне, на ст. Ханьдаохэцзы промышленник-зверобой Иван Плетнев со своими собаками, с целью поохотиться на зверя.

Он был известен в Приморье, как лучший промысловик, взявший не один десяток тигров.

Собаки его, представлявшие смесь зверовых лаек с дворовыми псами, отлично брали всякого зверя и были натасканы на тигра.

С собой привез он девять собак, из них три—гольдских лайки, остальные—полукровки и даже чистопородные „надворные советники". Масть их также отличалась разнообразием: лайки были чисто белого цвета, другие, же—всевозможных цветов и оттенков, от черного до пестрого, трехцветного.

Сам Плетнев представлял собой типичную фигуру восточно-сибирского промысловика: средняго роста, коренастый, широкоскулый, с небольшими, глубоко-сидящими, белесоватыми глазами, и с длинной, всклокоченной бородой. Лицо и большие, заскорузлые руки—медно-красные, в веснушках. Копна волос на голове и борода—рыжие с проседью. Возраста своего он точно не знал, но вспоминал себя ребенком в год освобождения крестьян. По виду он был не ладно скроен, но сшит—на славу.

Морозы стояли значительные, но поместиться в моей квартире он наотрез отказался, говоря, что ему жарко в комнате, также, как и его собакам.

В конце концов, я уговорил его поместиться в сарае, где он чувствовал себя великолепно. Собак его нельзя было зазвать не только в комнаты, но даже и в сарай; на ночь они устраивались в снегу, свернувшись калачиком.

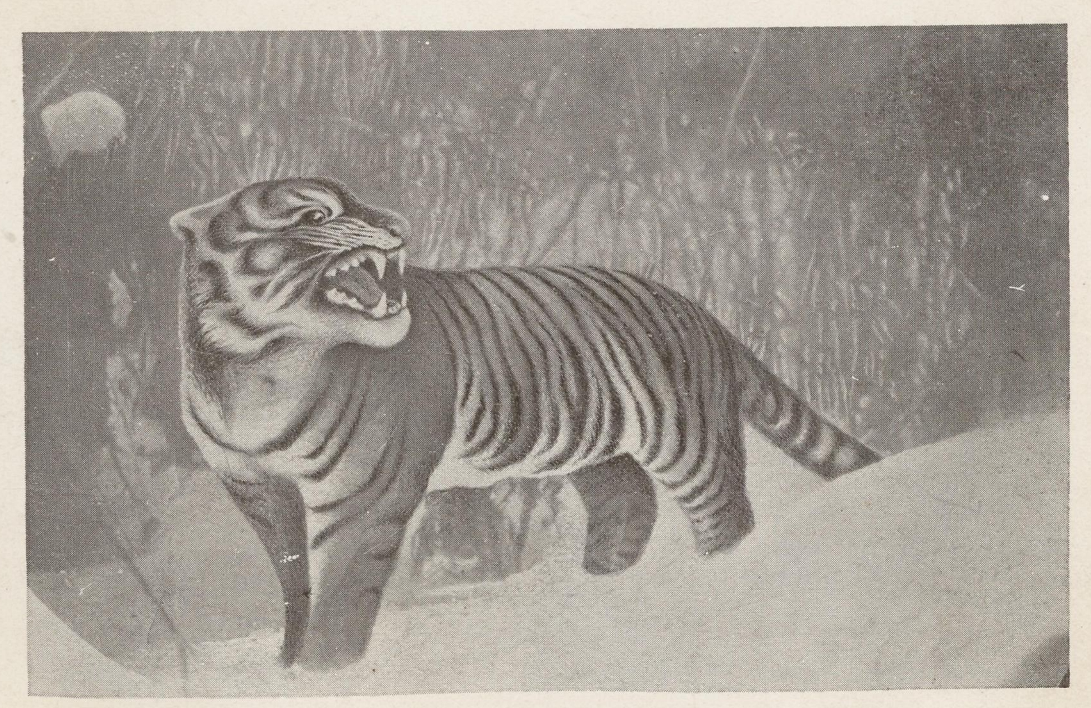
Таков был старый таежник Плетнев, с которым мы бродили в течение 20 дней по горам и лесам верховьев реки Та-хай-лин-хэ, в поисках полосатых хищников.

Только один раз, накануне выступления, мне удалось заманить Плетнева в комнаты, где я угостил его пельменями, причем он сидел, как на иголках, пот катился с него градом и, кончая десятый стакан липового чая с медом, он затирал уже третье из данных ему мохнатых полотенец. Как полярный медведь, он не переносил тепла и крытого помещения и только на воле чувствовал себя легко и свободно.

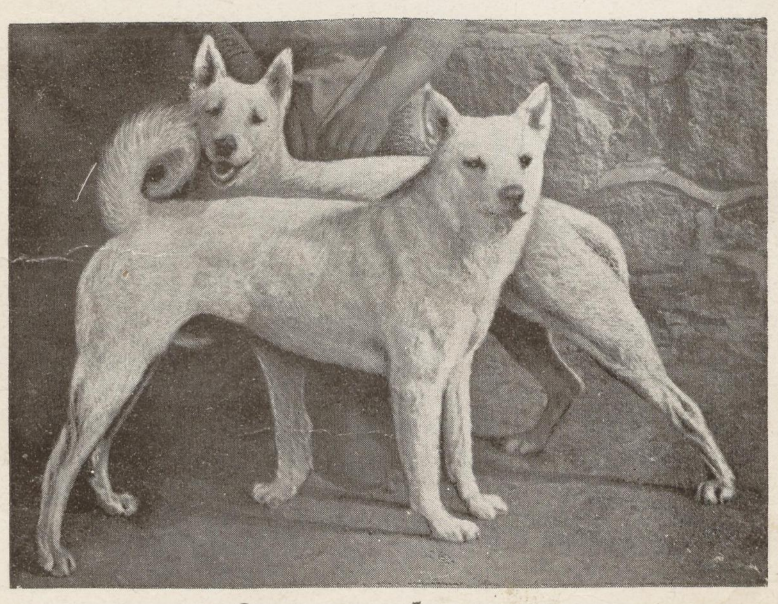
Мороз на него совершенно не действовал, перчаток и рукавиц он не имел, и руки его на самой лютой стуже всегда были красны и теплы.

Одевался он также сравнительно легко: бродни из кабарожьих ножек—на ногах, летние брезентовые брюки, ватная тужурка и рысья шапка без наушников составляли его костюм,

По религиозным воззрениям он был сектант какого-то особого толка. Не пил, не курил, никогда не божился и не ругался,—по край-



Тигр, снятый перед выстрелом.



Зверовые собаки автора.

ней мере, за все наше знакомство я от него не слышал ни одного бранного слова.

Узнав, что и я также не пью, не курю и не бранюсь, он остался очень доволен и на мой вопрос— «почему именно?»—сказал:

— Видишь ли! Курящий и пьющий человек имеет нехороший запах, который зверь чует издалека. Такому человеку удачи на охоте не будет!—

Сам Плетнев имел крепкий запах тайги, хвойного леса, так-как весь был пропитан чистым дыханием девственной природы.

Мои приятели,— маньчжурские охотники называли его Лесовик, и, действительно, всей своей оригинальной внешностью и образом жизни он напоминал лешего, как его рисует в своем воображении народная фантазия.

Из других оригинальных особенностей этого человека надо отметить еще следующее: он никогда не ел соли, сахару и не пил чая. Соль ему заменял лук во всех видах! вместо сахару я давал ему мед, который он уничтожал в большом количестве; чай вызывал в нем отвращение Дома я угощал его малиновым чаем и липовым цветом, которые он пил с удовольствием.

Прошлое Плетнева было темно и мне неизвестно, да я и не старался его узнать, так-как здесь, на Дальнем Востоке, это вообще не принято и считается некорректным. Только по некоторым признакам я мог догадываться, что родом он из Тамбовской губернии и был сослан на сахалинскую каторгу, а затем остался на поселении. О своем прошлом он никогда не заводил речи, был молчалив и сосредоточен. В Приморьи, в Анучинском районе, у него была семья, но состава ее я не знал и никогда об этом не расспрашивал, принимая во внимание его скрытность.

Природу он любил по своему и понимал ее красоты, выражая иногда свое мнение в метких, глубокомысленных определениях. Во время охоты и на промысле он был еще сдержаннее и молчаливее. Случалось, что за целый день обмолвишься с ним только несколькими словами, но это ничуть не портило настроения и не мешало нашим дружеским отношениям. Мы понимали друг друга и без слов. Краткие беседы наши у таежного костерка ограничивались промыслово-лесными темами и редко переходили на отвлеченные.

Обыкновенно, мы коротали долгую зимнюю ночь в фанзе какого-нибудь зверолова, или у весело потрескивавшего огонька, при чем каждый занимался своим делом и думал свои думы.

Собаки Платнева, подобно своему хозяину, также были угрюмы, молчаливы и на редкость послушны; они понимали не только слова и жесты, но и взгляд своего хозяина. Лай их был слышен только по «зрячему зверю», когда он окружен и отстаивается на месте; в остальное время их не было ни слышно, ни видно, так-как на привале они обыкновенно зарывались в снег и лежали там всю ночь.

«Командиром» всех собак была старая сука-лайка «Ведьма». Ее слушались беспрекословно все остальные и горе той, которая недостаточно быстро ей повиновалась: одна, другая хватка зубами и даже грозное рычание приводили строптивую к послушанию.

Плетнев никогда не разговаривал с собаками, хотя часто ласкал их, но свои распоряжения и приказания передавал Ведьме, которая исполняла их, управляя самостоятельно всей сворой. Собаки отлич-

но понимали это и работали дружно, под руководством, своей умной «командирши».

Кормежка собак производилась на месте охоты, для чего один из убитых зверей отдавался им на съедение. С этой целью Плетнев обыкновенно подходил к туше зверя, вспарывал ему брюхо ножем и, указывая на него Ведьме, говорил:

— Ведьма! Возьми! Твое!—

Этого вполне было достаточно,—все собаки бросались на тушу и через час от нее оставались только «рожки да ножки».

К остальным тушам битых зверей Ведьма не подпускала ни одной собаки, и если какая-нибудь из них, по своему легкомыслию, подходила полизать кровь, ей задавалась основательная рвачка.

Почти все старые собаки этой своры были ветеранами промысла, отмеченные шрамами и рубцами полученными в боях с дикими обитателями тайги. Ведьма имела глубокий шрам на левом боку,— след от удара кабаньего клыка.

Много дней и ночей провели мы с Плетневым и его собаками в кедровниках, к югу от ст. Ханьдаохецзы, охотясь на зверя. Время это оставило неизгладимое впечатление в моей памяти по своим переживаниям и оригинальной жизни среди дикой, грандиозной природы. Много интересных случаев и эпизодов из этого времени зафиксировалось в моих воспоминаниях, так-что описание всех их заняло бы слишком много места, а потому я ограничусь одним эпизодом, когда мне удалось снять на фотографическую пленку тигра, преследуемого собаками.

8 ноября мы с Плетневым были уже за сто километров к югу от Ханьдаохэцзы, в восточных отрогах горы Татудинзы, поднимающей свою конусообразную скалистую вершину над всем высоким массивом Лао-лина. Ее голубовато-белая громада, оттененная снизу сплошною массою кедровника, резко выделялась на синеве безоблачного неба. Внизу, под нами, в глубоких, каменистых ущельях и каньонах Тахайлинхэ собаки гнали большое стадо кабанов, стронутое нами с лежки на светлых солнопеках. Звери, направляясь к востоку, поднимались на хребет, куда спешили мы с Плетневым, чтобы выйти им наперерез.

В чистом, морозном воздухе изредка раздавались далекие голоса собак, то окружавших стадо кольцом, то гнавших его по пятам. Мы остановились на водоразделе хребта, поросшего редким дубняком, и ждали появления зверей. Стадо кабанов было чрезвычайно многочисленно и состояло не менее, как из 200 особей, а потому подвигалось оно медленно, часто останавливаясь и отбиваясь от наседавших собак. Расстояние до него было около двух километров.

Между нами и стадом возвышался узкий, но крутой и скалистый хребет, через который звери должны были перейти, чтобы добраться до кедровника, куда они, повидимому, стремились.

Мы стояли на опушке небольшой полянки и приготовились к встрече гостей. Но, вот, за каменной стеной горного хребта скрылось все стадо и голоса собак сразу смолкли.

Прошло несколько томительных минут. Ни звука не было слышно. Затем раздался визгливый голос Ведьмы; ему вторили другие голоса собак, но лай этот был нерешительный и боязливый.

«Не по кабанам!»—заметил Плетнев, прислушиваясь к звукам, доносившимся из-за скалистого гребня.

Через некоторое время лай собак стал глуше, дальше. Вероятно, звери пошли вдоль хребта, удаляясь от нас к подножью Татудинзы.

Чтобы сократить расстояние между нами и гоном, мы быстро двинулись вверх по хребту, в надежде где-нибудь под горой увидеть зверей. Я был убежден, что собаки погнали кабанов; мой же компанион выражал сомнение, но не мог сказать, какой зверь именно.

Мы бежали по самому водоразделу. Камни, заросли, бурелом, преграждавшие нам путь, приходилось перепрыгивать, с риском сломать голову или ногу, но охотничья страсть подгоняла нас и и не давала возможности замедлить шаг.

Пробежав, таким образом, километра три, мы очутились у подножья отвесных утесов, спускавшихся уступами с вершины Татудинзы. Дальше по хребту итти не было возможности и мы остановились, прислушиваясь к шуму леса. Где-то, в глубине пади, изредка взлаивали собаки.

Судя по силе их голосов, гон приближался и мы, став на опушке дубовых кустов и скрытые их неопавшею еще желтою листвой, решили ожидать, или же отозвать собак.

Здесь через перевал проложены были многочисленные звериные тропы, очевидно, главный переход зверей.

Плетнев уверял, что гон не минует этого места и не ошибся, так-как вскоре послышались уже довольно близкие собачьи голоса и мы затаились в своей засаде. Леший, по обыкновению, положил свою винтовку на сошки и застыл в неподвижной, полусогнутой позе, я же, держа винтовку у ноги, подготовил свой кодак к съемке, на случай появления кабанов. Выстрел из фотографического аппарата меня больше интересовал, чем выстрел из ружья.

Гон приближался, слышны были отдельные голоса собак и визгливый, плачущий лай молодняка. Солнце светило ярко и под его косыми лучами снег так искрился, что больно было смотреть. Минуты казались часами. В чаще показались уже передовые собаки. Мы искали глазами предполагаемых кабанов, но сквозь заросли видели только бегающих, волнующихся собак.

— Берегись! Идет тигра!—вдруг неожиданно произнес Плетнев, раставив пошире свои кривые ноги и прицеливаясь.

Тогда и я увидел желто-бурую фигуру хищника с характерными поперечными полосами. Тигр шел на перевал по кабаньей тропе. Движения его были медленны и, повидимому, спокойны. Наседающие собаки заставляли его по временам останавливаться, поворачивать голову и грозным рыканьем отпугивать наиболее дерзких, при чем из полуоткрытой пасти его с сверкающими конусообразными клыками вылетали клубы пара. Собаки шарахались в стороны, держась от зверя на почтительном расстоянии...

Сквозь чащу и редколесье нам были видны все перипетии этого гона. Иван Леший воздерживался от стрельбы, намереваясь подпустить хищника на самое близкое расстояние. Я целился в него из своего кодака и ловил его фигуру видоискателем. Уверенность в своем товарище давала мне необходимое в этом случие хладнокровие и спокойствие. Поймав зверя в видоискатель, я уже не отпускал его, и ждал момента для экспозиции.

Но вот, преследуемый собаками, тигр вышел из чащи на перевал и остановился от нас шагах в пятидесяти. Собаки наседали на него с визгом и лаем. Повернув свою красивую, могучую

голову в сторону собак и приоткрыв пасть, он издал глухое и грозное рычание. Упругий, пушистый хвост нервно извивался. Уши были прижаты. Очевидно, выведенный из терпения, он решил действовать, намереваясь броситься на собак.

Медлить было нельзя и я щелкнул затвором аппарата; почти одновременно раздался выстрел Плетнева и зверь, подавшись немного вперед, сунулся в снег головой.

Бросив аппарат, я вскинул к плечу винтовку, но напрасно: судорожные движения лап и хвоста показывали ясно наступление агонии.

Опустив винтовку, я взглянул на Плетнева: он стоял на своем месте и спокойно занимался привязыванием сошек к ружейному цевью.

— Дойдет сам!—хладнокровно произнес он, показывая головой на зверя,—но ты не подходи к нему, не тревожь его! Он сам покажет, когда придет смерть!"

И, действительно, вскоре судороги прекратились, хвост вытянулся по снегу неподвижно и уши, вначале прижатые к голове, поднялись и не шевелились больше. Сомнений не было: смерть пришла.

Собаки, державшиеся в отдалении, после выстрела ринулись было к тигру, но грозное рычание Ведьмы удержало их и они улеглись на снегу шагах в десяти от зверя, не спуская с него злобных, воспаленных борьбой, глаз. Ведьма подошла к хвосту еще агонизирующего хищника и обнюхав его, легла рядом с ним. Умная собака поняла, что страшный зверь уже безопасен.

Пересчитав собак, мы убедились, что двух не хватает,—одного старого кобеля и одной молодой. Где они погибли—неизвестно, или—были вспороты кабаном, или—задавлены тигром. Иван-Леший только крякнул с сожалением, но не произнес ни слова, и на мое предложение—пойти поискать убитых или раненых, махнул рукой и пробурчал:

— Где там!...

Убитый Плетневым тигр оказался довольно крупным самцом корейской породы, весом 160 кило. Красно-бурая пушистая шерсть его, испещренная широкими черными полосами, резко выделялась на белой пелене снега, освещенного ярким зимним солнцем. Пуля Лешего попала возле правого уха и, пройдя в черепную коробку, разрушила головной мозг.

Собаки, истомленные продолжительным гоном, разлеглись вокруг нас и занялись приведением в порядок взъерошенной и местами окровавленной шерсти и зализываньем ран, полученных в стычке с кабанами.

По нашим предположениям, во время гона кабанов, собаки начуяли лежку тигра в скалах и, согнав его с места, бросили кабанов, как менее „интересную" дичь.

Больше в этот день мы не охотились. Вечер приближался и мы заночевали на перевале хребта, у подножья величественной Татудинзы. На следующее утро Плетнев ушел на ближайший хутор за лошадьми, для перевозки убитого зверя. Вернулся он только к вечеру. С ним пришла пароконная арба с китайцем-возчиком.

Переночевав еще раз на этом горном перевале, уложив тигра на арбу, мы двинулись к востоку, в долину реки Муданцзян, и поздно ночью прибыли в г. Нингуту, где провели три дня в хлопотах по продаже тигра, которого знатоки-китайцы считали „Ваном", т.-е. начальником.

Выручив за тигра пятьсот рублей, Плетнев остался очень доволен и изъявил согласие вернуться в верховья Та-Хай-лин-хэ, в надежде взять еща одного хищника.

Не буду утомлять читателя описанием последующих наших странствований по диким лесам Шу-Хая (лесное море), поперек восточных отрогов Лао-лина.

В двадцатых числах ноября мы вышли опять на линию КВжд, у ст. Сарахецзы, сделав по тайге сотни две километров, в погоне за зверем

Из всех собак остались в живых только три: старуха Ведьма да два кобеля, старый и молодой. Остальные собаки пали в борьбе с дикими зверями, а именно: одну унес тигр во время ночевки в фанзе зверолова, другую заколол изюбрь, проткнув ей легкие своими рогами и двух запороли кабаны. Оставшиеся собаки также были переранены, но отделались только повреждением наружных покровов.

Большую часть зверя Плетнев вывез на ст. Хайлин; не мало пропало зверя и в тайге, вследствие невозможности вывезти его к населенным пунктам.

Мой снимок тигра вышел неособенно удачным, так-как светосила объектива не была настолько значительна, чтобы зафиксировать дикого зверя в тайге. Тем не менее, увеличенный негатив этого снимка был отретуширован в одной из харбинских фотографий и в настоящее время представляет собой весьма редкий и оригинальный снимок живого тигра в естественной обстановке, дикой, первобытной тайги.

Прожив у меня, на ст. Ханьдаохэцзы, еще с неделю, приведя в порядок снаряжение и купив трех собак дворового типа, Плетнев напрямик, через всю Гириньскую провинцию Маньчжурии, отправился к себе домой, в Уссурийский край, предполагая выйти к устью реки Мурени, а оттуда—вверх по Уссури, в Анучинскую тайгу.

— К Рождеству буду дома!—говорил он, прощаясь со мной у восточного семафора разъезда Сандаводи, куда я вышел его провожать со ст. Ханьдаохэцзы.

Отсюда он направился на северо-восток.

Долго еще стоял я на насыпи железной дороги, следя глазами за характерной фигурой Лешего и его собаками, рассыпавшимися по широкой речной долине в поисках фазанов, зитаившихск в зарослях прибрежной уремы.

С грустью смотрел я вслед удалявшемуся охотнику и чувствовал, что потерял друга. Этот простой, малограмотный человек оставил во мне неизгладимое впечатление глубиной своей прекрасной души и цельностью своей нетронутой, непосредственной натуры. Образ Ивана Лесовика каторжанина и ссыльно-поселенца, как живой стоит передо мной, воскрешая в памяти былое, полное сил и несокрушимой энергии молодости.

---

14. РОКОВОЙ КОРЕШОК.

Полуденное горячее солнце, накаляя неподвижный воздух, обливало потоками ослепительно яркого света зеленые пущи лесов и величавые горы, уходящие бесконечными зубчатыми грядами в туманную даль горизонта.

Под сводами дремучего леса вечно царит полумрак, даже летом, в яркий полдень здесь темно и сыро, как в погребе. Гигантские папоротники горделиво подымают свои перистые пальмовидные листья над гниющими трупами великанов растительного царства, над поземною зарослью и гранитными обломками скал, покрытых толстым слоем мха и седых лишаев.

С сухих заглохших ветвей дерев и толстых стволов старых елей свешиваются седые бороды нитевидных мхов, напоминая видом своим отжившие волосы павших здесь богатырей.

Пахло землей и грибами. Где-то среди зарослей дикого винограда, под зеленым покровом больших лапчатых листьев, пробивался ручеек. Холодная, чистая, как горный хрусталь, вода, журча и пенясь, сбегала с камня на камень, пряталась в недрах земли и снова бурлила под стволом поваленного бурей кедра, низвергаясь с высокой скалы каскадом на каменистую россыпь.

Влажные от брызг листья темно-зеленого винограда и маньчжурской лианы шевелились, обдуваемые легким ветерком, струящимся от быстрых волн ручья.

Под нависшими ветвями старой ели виднелся убогий шалаш из кедровой коры. Перед ним на воткнутых в землю шестах висел черный закопченный котелок; угли в очаге давно погасли и зола успела уже пожелтеть от времени. Внутри шалаша на сухой траве по обоим сторонам лежали две козьи шкурки, какие обыкновенно носят с собой китайцы в путешествии. Посредине, на плоском большом камне виднелись остатки пепла, выколоченного из трубок и темнела кучка остывших угольков.

Пустая коробка от японских спичек, стружки, куски бумаги и лоскут синей китайской дрели, валявшиеся на земле возле шалаша, свидетельствовали о недавнем присутствии людей.

Под вечер, когда в лесу стало еще темнее и черные ночные тени залегли в глубоких падях и ущельях гор, у шалаша появились люди. Это были два китайца: высокий, худой старик, и молодой, имевший вид юноши.

Оба они одеты были в синие бумажные костюмы, изношенные и изорванные от долгого скитания по дремучим лесам и скалистым горам; легкие башмаки из невыделанной кожи дикого кабана и остроконечные шапки из камыша дополняли незатейливую их одежду.

Войдя в шалаш и сбросив с плеча кожаную сумку на землю, старик проговорил, обращаясь к молодому своему товарищу, разжигавшему огонь в очаге:

— Сегодня нам с тобой повезло! Хороший корешок нашли! Вот уже три года, как я не находил такого! Тяжелый! И видом совсем человек! За него мы выручим большие деньги! Надо только его поскорее спрятать, а то как-раз нащупают хунхузы и отнимут!—с этими словами он вынул из сумки небольшой корешок растения, величиной около четверти.

Часть зеленого стебля оставалась еще не срезанной. Погладив его своею жилистой рукой с крючковатыми длинными пальцами, старик положил его к себе за пазуху и вышел из шалаша.

Отойдя шагов пятьдесят, он сделал вправо несколько прыжков по камням и по дну ручья; затем, выйдя на противоположный берег, подошел к груде больших камней, заросших сплошною сетью винограда и лиан. Здесь он остановился и стал прислушиваться, всматриваясь зорким оком в лесную темную чашу. Тишина была полная, слышен был только треск костра и журчанье ручья.

Присев на корточки, старик исчез под навесом зарослей. Отвалив один из камней, он положил под него драгоценный корешок; там лежал такой же, выкопанный ранее, но гораздо ниже по достоинству. Навалив камень на прежнее место, осторожный китаец выполз из потайного хранилища и направился к шалашу, где хозяйничал другой, приготавливая незатейливый ужин из чумизы и пшеничной муки.

Поев лапшу тонкими палочками из глиняных чашек, китайцы принялись за вареную чумизу, сдобренную черной едкой соей. Во время еды оба молчали, только слышно было чавканье и причмокиванье, да стук палочек одна о другую.

Темная таежная ночь между тем окутала все своим саваном. Кое-где сквозь густой покров леса блестели звезды на темном небе.

— Сегодня в полночь пойдем искать светящийся цветок жэньшэня!—проговорил старый китаец Лу-фа-бин, обращаясь к молодому своему товарищу,—сегодня великая ночь в лесу. Великий дух выходит из земли через стебли и цветы жэнь-шэня и зажигает их чудным огнем! Счастлив тот, кто увидит его! Но, если хочешь иметь успех и взять цветок,—имей каменное сердце и железную волю! Только тогда ты преодолеешь все препятствия и страх не войдет в душу твою! Что бы ты ни увидел,—смело иди и срывай цветок, при свете его выкопай корень и тогда не бойся ничего! Через два часа мы пойдем! Я знаю, где растет жэнь-шэнь и берегу его для сегоднешней ночи! Ты еще молод и не знаешь многих великих тайн природы! Сегодня будет для тебя испытание, если выдержишь его,—открою тебе то, что доступно немногим! Научу тебя искать и находить это драгоценное растение! Я стар и мне ничего не нужно, но ты молод и жизнь твоя еще впереди! Когда буду умирать передам тебе свои знания, открою тайны Великого Леса и будешь ты могуч и богат! Меня никто не учил! Почти с малолетства скитаюсь я по этим горам и лесам, зимой промышляя зверя, летом отыскивая жэнь-шэнь! Вначале, когда я был в твоих летах, и даже постарше, я не мог найти ни одного корня и только, когда отрешился от суеты мирской, постиг великую тайну. Когда мне было уже сорок лет, я нашел первый свой корень! Это было далеко отсюда, там, где рождаются истоки Сунгари, в темных лесах священной горы, в стране Утреннего Спокойствия. Корейцы называют эту гору Пак-тусан, она высока и вечный снег закрывает ее таинственную вершину! Внутри горы этой спит тысячелетним сном

желтый дракон; когда ворочается он, земля дрожит, огонь и дым от дыхания его вылетают из трещин горы; в гневе он рычит, колеблет зубчатым гребнем своим горы и долины и снова засыпает. Старые отшельники горы говорили мне много о нем, когда-нибудь скажу тебе. А теперь ложись, отдохни и подкрепись сном! Дело предстоит нам трудное!—с этими словами старый лесной бродяга отошел в сторону от шалаша, стал на колени на берегу ручья, поднял кверху свои жилистые худые руки и, устремив взор на звезду, ярко блестевшую сквозь темные ветви кедра, начал молиться, тихо произнося слова и изредка склоняя свою седую голову к земле.

В глубине тайги прокричал филин, рявкнул козел в ближайших зарослях и снова все стихло, только неугомонный ручей продолжал свою веселую песню.

Пока Лу-фа-бин молился великому духу, молодой племяник Ван-ли-сан лежал около костра, подложив под голову руки.

— Что не спишь?—спросил его старик, также усаживаясь рядом с ним и набивая длинную трубку табаком из кожаного кисета.

— Спать не хочется, дядя!—ответил Ван-ли-сан, поворачивая к нему голову, и после небольшой паузы продолжал:—куда же ты продал свой первый корень, который нашел у большой горы?

— Первый корень продавать нельзя,—ответил Лу-фа-бин, закуривая трубку,—иначе это будет первый и последний! Такова примета! Свой первый корень по обычаю я сжег и пеплом его посыпал, алтарь кумирни, стоявшей тогда на большом перевале Чан-Бо-Шаня. В те времена дракон просыпался редко, один раз в три года, теперь же чаще слышится его рев.—Так пророчествовал старый таежник, сидя у костерка, вперив в пламя его свои глаза, полные экстаза вдохновения и непримиримого фанатизма. Молодой китаец лежал около него, затаив дыхание и слушая вещие слова старого лесного бродяги.

— Ну вставай, Ван-ли-сан!—произнес как бы очнувшись старый китаец, выбивая пепел из трубки о твердую подошву своих башмаков,—Вставай и собирайся! Не забудь взять с собой лопаточку! Помни, что я тебе говорил! Чтобы ты не увидел,—иди смело за мной и сорви светящийся цветок. Если не уверен в себе,—лучше не ходи, я пойду один! Знай, что страх может погубить нас обоих.

— Нет, нет, я не останусь! Я всюду пойду за тобой и не испугаюсь ничего! Ведь ты со мной и этого достаточно, чтобы страх бежал от меня!—горячо ответил Ван-ли-сан, собираясь итти с дядей, отыскивать светящийся цветок жень-шеня.

Уложив в кожаную сумку все необходимое и надев ее через плечо, он стал возле старика на колени и совершил моление Великому духу, о даровании успеха в предприятии. Потушив огонь в костре и взяв в руки длинные сучковатые палки, они скрылись в темноте ночи.

Среди китайцев живет поверье, что раннею весной, когда наливаются бутоны его цветов, оно издает особый белый свет; бывает это только в одну ночь в начале мая и, тогда-то именно выкопанный корень имеет чудесную силу не только врачевать болезни, но и воскрешать мертвых. Добыть корень в эту ночь очень трудно, так-как его стерегут дракон и тигр, и всякого осмелившагося приблизиться к цветку, они разрывают.

Впереди шел Лу-фа-бин, прокрадываясь через заросли и густую чащу с быстротой, присущей обитателям тайги; его привычные глаза

видели в темноте так же хорошо, как и днем; Ван-ли сан едва поспевал за ним, царапал в кровь лицо и руки о шипы и иглы колючей аралии, но, скрепя сердце, шел. Решимость его мало-по-малу исчезала, зловещая темнота давила мозг и таинственные звуки леса наполняли страхом трепетавшее сердце. Сознаться перед дядей было совестно и молодой китаец, с тревогой всматривался в непроницаемую тьму таежной ночи.

В зарослях и среди темных ветвей деревьев вспыхивали, как звездочки, летающие светляки, еще более настраивая воображение молодого искателя корня. Шли долго молча, перевалили два скалистых хребта и спустились в глубокую падь.

— Теперь можно отдохнуть немного, — произнес старик, останавливаясь у берега быстрой речки, с шумом и рокотом катящей свои волны по дну каменистой россыпи.

Напившись студеной воды и омыв разгоряченные лица, путники начали осторожно подыматься на высокий горный кряж, покрытый старым первобытным кедровником. Итти было трудно: валежник, камни, заросли, и бурелом встречались на каждом шагу.

— Уже скоро полночь —проговорил Лу-фа-бин, останавливаясь у скалистого выступа,—я слышу присутствие злых духов! Наверху есть котловина среди скал и там увидишь ты необыкновенный свет! Иди со мной и не бойся! Если испугаешься и отстанешь,—погибнешь! Ну, пойдем! Не отставай,—с этими словами старик быстро двинулся вперед, прокрадываясь через густые заросли, как барс к намеченной добыче.

У Ван-ли-сана стучали зубы друг о друга и ужас охватывал все более и более молодую душу, сердце стучало усиленно в грудную клетку.

Скоро показались высокие скалы; в одну из щелей между ними проскользнул Лу-фа-бин, за ним прополз Ван-ли-сан.

Выйдя на другую сторону каменной гряды, путники увидели среди непроницаемой тьмы обступившего леса тусклый зеленоватый свет. Казалось, он шевелился; множество длинных нитей носились над ним, какие-то черные тени мелькали вблизи, слышен был шелест листвы и крики.

Молодой китаец стоял, словно очарованный, вперив безумный, взор свой в светлое пятно, видневшееся среди котловины.

— Идем!—шепнул ему старик, не оборачивайся, и быстро пошел к светящемуся предмету.

Не успел он отойти и десяти шагов, как услышал громовый рев и кашель, исходящий из какой-то гигантской груди, вслед затем шум ломаемых кустов, треск валежника, вой и стоны. Весь лес как будто всполошился, заревел, застонал, какия-то неведомые птицы носились над поляной, задевая голову старика своими мягкими крыльями. Но старый лесной бродяга не струсил, не дрогнуло его закаленное сердце и, несмотря ни на что, он дошел до своей цели; но вместо светящегося цветка жэнь-шэня перед ним бросал свой тусклый фосфорический свет истлевший пень старого дуба! Вокруг него летали во множестве ночные насекомые; совы и летучие мыши, привлеченные необычайным светом, также реяли над ним, маша в лицо бродяги своими мягкими крыльями.

Убедившись, что это дубовый пень, а не цветок, Лу-фа-бин обернулся назад, ища глазами своего племянника, но его не было поблизости.

— Ван-ли-сан!—громко произнес старик, всматриваясь в нависшие скалы, но ему никто не ответил, только с вершины гребня раздалось громкое мурлыканье какого-то большого зверя и глухой рев.

Подойдя к скале, старик зажег спичку и, при ее мерцающем свете, увидел на земле палку своего племянника, соломенную шапку и немного в стороне кожаную сумку с оборванным ремнем; здесь же на мягком глинистом грунте ясно отпечатывались следы большого тигра.

Теперь все стояло ясно и старый зверолсв понял, что искать бесполезно.

Собрав брошенные вещи своего погибшего племянника и посмотрев еще раз на тусклый свет дубового пня, Лу-фа-бин пошел обратно через скалы и хребты к своему старому шалашу.

— Зачем было брать с собой этого молокососа!—размышлял он, пробираясь по зарослям леса,—был бы у меня теперь цветок светящегося жэнь-шэня! Струсил мальчишка и не пошел за мной! Великий дух разгневался и пожрал его, а цветок превратился в гнилой пень! Теперь все пропало! Не найти уж мне больше другого цветка в этих местах! Жаль Ван-ли-сана, но такова судьба его!..

Долго в эту ночь не мог заснуть старый лесной бродяга. Утром когда вершины гор загорелись под лучами восходящего солнца и седой туман пополз из глубоких ущелий наверх, Лу-фа-бин забылся тревожным сном. Чудилось ему, что он сорвал светящийся цветок дорогого растения и несет его домой в шалаш; по пути все звери и птицы падают ниц перед ярким светом и восхваляют мудрость и отвагу старого зверолова. Но вот из-за дубового гнилого пня поднялся злой дух, в виде человека, и отнял от него чудный цветок, бросил его на землю и втоптал в грязь; сзади стоял племянник его, Ван-ли-сан, дергал его за рукав и звал к себе. Но старик не мог оторваться от зрелища, поругания святого растения, и отбивался от назойливого своего родственника, как от мухи.

Но Ван-ли-сан не оставлял его и тряс изо всей силы, старик проснулся и увидел перед собой трех незнакомых китайцев. Все они были вооружены винтовками, ленточные патронташи с блестевшими патронами опоясывали грудь и спину крест-на крест.

Лу-фа-бин понял, что это хунхузы, но не струсил; встав со своего ложа, он подошел к ближнему и спросил, что им от него нужно.

— Ты, старая собака, собираешь жэнь-шэнь? Отдавай все корни, какие у тебя есть, иначе плохо будет!—с этими словами старший из хунхузов дал знак своим товарищам и старика схватили сзади за руки.

— У меня нет ни одного корня!—проговорил он, стараясь освободиться, но крепкие руки разбойников держали его, как в тисках.

— У тебя нет ? — возразил хунхуз, — ну тогда мы заставим тебя говорить! Вяжите его и кладите на землю! А я разожгу огонь в костре! Закоптим ему пятки, тогда старый пес будет разговорчивее!—

Несчастного старика прикрутили крепко веревками к кольям. вбитым в землю; он лежал возле своего шалаша на спине; руки были раскинуты. Быстро сняли с его ног кожаные бродни, подняли шаровары выше колен и положили голые ноги старика пятками на горячие

угли. Сначала пошел дым, затем распространился смрад от горелой кожи и мяса.

Лицо старого китайца было спокойно, только рот слегка искривился от боли и на глазах показались слезы. Зубы были крепко сжаты.

Бронзовый цвет еголица постепенно перешел в землисто-желтый. Когда кожа на ступнях вздулась пузырем и лопнула, обнажая шипевшее на огне мясо и жилы, несчастный не выдержал, застонал и, повидиму, впал в беспамятство.

Дикие палачи в это время спокойно курили свои длинные трубки. шутили, смеялись и подкладывали под жарившиеся ноги старика свежие сухие ветки; пламя разгоралось и лизало своими жгучими языками сухие икры и колени несчастной жертвы.

— Ишь, старый чорт! — проговорил старший хунхуз, смеясь и скаля свои большие желтые зубы, — упрям и неразговорчив! Пусть и околевает, если не хочет отдавать корней! Я знаю! Он богат и наверное хранит где нибудь свои сокровища! Ну-ка, подите, поищите в стороне, может быть он зарыл где нибудь под камнем, или в старом дупле! Я с ним и один справлюсь!

Оба хунхуза, повесив винтовки через плечи, встали и молча разошлись по разным направлениям.

Предводитель хунхузов тем временем подполз к голове Лу-фабина и прошептал ему на ухо: — Старик! Скажи мне, где спрятаны твои корни? Я отпущу тебя! Ноги твои заживут и ты еще успеешь разбогатеть!..

Старый замученый зверолов зашевелился, глаза его открылись и повернулись в сторону говорившего. Потухающий взгляд их говорил много, но через мгновение стеклянное выражение его остановилось и потускнело, тело вытянулось, вздрогнуло и замерло навсегда. Жизнь оставила его. Пощупав пульс у умершего и убедясь, что все кончено, хунхуз спокойно набил свою трубку табаком старика, закурил об уголек, вынутый из-под обугленной ноги его, и, поджав ноги, стал дожидаться возвращения товарищей.

Вскоре один из них показался у шалаша.

— Нет ничего в этой стороне! Обыскал все, даже под корнями шарил! — произнес он, в изнеможении опускаясь возле мертвого старика, над головой которого носились уже рои мух и залепляли черными пятнами глаза, нос и полуоткрытый рот.

— А старик-то умер! — мотнул головой пришедший, набивая табаком трубку, как будто ничего особенного не случилось.

Предводитель на эти слова только промычал, продолжая пускать дым кольцами, подымавшимися кверху.

Парило. Солнце высоко поднялось над лесом. В траве и зарослях трещали кузнечики и пели цикады.

— Не мешает осмотреть мертвеца! — сказал младший хунхуз, поднимаясь и стаскивая со старика грязную заношеную куртку.

Разбойники обыскали всю одежду мертвого и не нашли ничего. В шалаше под травой и шкурками козуль нашупали они врытый в землю ящичек из твердого синего дерева.

Сломав его, они обнаружили там множество всевозможных трав, корешков, пилюль, свертков с порошками и одну пачку русских денег.

С жадностью накинулись они на эти бумажки, пересчитали их, оказалось шестьдесят пять рублей. Предводитель отсчитал тридцать, пять и положил в свой кожаный кошелек, остальные передал товарищу.

Не зная назначения всех этих трав, пилюль и кореньев, хунхузы бросили их в огонь.

Прошло более часа, как ушел третий китаец на поиски корня; остальные начали уже беспокоиться и высказывать предположение о бегстве товарища,

Решили еще подождать немного и отправиться искать его.

Опять расселись у огня, закурили трубки и предались думам. Видно было, как волновались разбойники, но не давали друг другу заметить этого.

Москиты и комары носились тучами над ними, разбойники обмахивались веерами и волосяными опахалами, но все это мало помогало, москиты забирались в волосы и под одежду и жалили немилосердно.

Мертвый старик лежал тут же, холодный и безучастный ко всему. Помутневший взор его, устремленный в синее небо, просвечивавшее сквозь темные ветви лесных великанов, казалось задавал вопрос: «за что?», но окружавшая роскошная природа так же была безучастна и равнодушна ко всему.

Посидев немного и выбив пепел из трубок, хунхузы поднялись и направились в ту сторону, куда удалился третий их товарищ.

Долго пришлось им искать на листве и в траве следов его, наконец, они, благодаря своей опытности, отыскали тот куст и камень из-под которого он вынул два корня жэнь-шэня, спрятанные с такой заботой стариком.

Сомнения для них не было, товарищ их нашел случайно корни и скрылся с ними, желая воспользоваться драгоценной добычей один.

Ярость и злоба хунхузов были чрезвычайны, с досады они кусали свои длинные ногти на пальцах, бронзовые лица их потемнели, глаза, и без того дикие, стали похожими на глаза волка, выслеживающего добычу.

Осторожно, шаг за шагом, двинулись они по следам бежавшего, по временам останавливаясь, всматриваясь в едва заметные признаки следов человека, и, шли дальше, скрадывая вероломного своего товарища, как зверя.

Выслеживание человека летом в тайге очень трудно. Густая трава, иногда в рост человека, непролазные заросли и кусты, переплетенные вьющимися растениями, виноградом, и лианами, масса листьев и зелени—скрывают следы, и надо быть опытным лесным бродягой следопытом, чтобы суметь разобраться во всех малейших признаках присутствия зверя или человека в этом зеленом море буйной растительности! Хунхузы в особенности профессионалы, живущие большую часть года в дремучих лесах этого края, чувствуют себя в девственной тайге, как дома, и, благодаря постоянной практике, являются великолепными следопытами.

Перевалив через высокий становой хребет Чан-Линза, в долину реки Мурени, хунхузы были уже на свежем следу. Недавнее присутствие беглеца обнаружилось, когда они нашли в глубокой пади еще не потухший костерок, где он кипятил себе воду в жестяном котелке.

Преследователи, быстро осмотрев место привала, осторожно без шума двинулись дальше. Они расчитывали скоро догнать беглеца и подвигались вперед, скользя в зарослях тайги, как змеи.

Уходивший хунхуз пробирался к русской границе, и к ночи надеялся достичь селения Полтавки. Преследователи поняли намерение

беглеца и, зная, что, перейдя границу, он уйдет от них, напрягали все силы, чтобы настичь его.

Вечерело. Солнце спустилось низко. В тайге потемнели тени.

На лесной прогалине хунхузы заметили своего товарища. Он шел быстро, оглядываясь назад и по сторонам. Фигура его мелькала среди зарослей, то исчезая, то показываясь впереди. Беглец не чувствовал за собой погони и шел беспечно, обмахиваясь веером от москитов. Расстояние между ним и преследователями сокращалось.

Уловив момент, когда беглец вышел на поляну и открыл себя совершенно, предводитель приложился и выстрелил. Гул выстрела зарокотал в чаще и замер в глубине тайги. Взмахнув руками, китаец упал лицом на землю и остался неподвижен. Когда подбежали к нему товарищи, он был мертв. Меткая пуля поразила его в сердце.

Убитого перевернули на спину. Выражение лица его было удивленное, казалось, смерть вследствие своей неожиданности, не успела еще положить на лицо свой отпечаток.

Обыскав его и раздев до нага, хунхузы нашли в кожаном поясе товарища десять рублей деньгами и оба корня, взятые у старика под камнем.

Десятирублевую бумажку предводитель отдал товарищу вместе с малым корешком, большой-же корень очень высокой ценности, взял себе. Раздел был совершен полюбовно, по обоюдному соглашению.

Между тем ночь наступила быстро. В темном небе уже зажглись одинокие звезды.

В зарослях замелькали светляки.

Найдя ручеек, журчащий по дну ущелья, хунхузы расположились на ночлег. Зажгли костер, зукусив пшеничными лепешками, взятыми у старого зверолова, резлеглись на мягких лапах елей возле огня.

Издалека доносился вой красных волков, то хищники тайги справляли тризну у трупа убитого хунхуза.

Изредка китайцы перекидывались словами. Им не о чем было говорить, они знали мысли друг друга и поэтому относились подозрительно к каждому движению, к каждому взгляду, хотя наружно старались сохранить хладнокровие и спокойствие.

Обмахиваясь веерами и потягивая дым из длинных трубок, они скорее походили на друзей, мирно беседующих о всякой всячине, между тем это были непримиримые смертельные враги, подозревающие друг друга в преступных замыслах.

Время шло. Истома клонила обоих ко сну и они склонили наконец свои головы на походные кожаные сумки. Но заснуть никто не хотел первым, из опасения быть убитым, Как только один шевелился, или приподнимал голову,—другой проделывал то же самое, давая понять своему соседу, что он не спит.

Наконец, слабейший задремал, не будучи в состоянии преодолеть надвигавшегося сна.

Заметив это, предводитель, называемый своими подчиненными Ван-до, приподнялся на локте и тихо встал, не производя ни малейшего шума. Спящий его товарищ храпел безмятежно.

Осторожно вынув из ножен кривой нож, висевший на поясе, Ван-до присел и пополз тихо, как удав к очарованной хищным взглядом птице. Мгновение и быстрый, как удар молнии, взмах кривого ножа прекратил жизнь спавшего последним сном китайца. Он в смертельном ужасе открыл глаза, схватился руками за грудь, приподнял-

ся, вскрикнул диким нечеловеческим голосом, откинулся навзничь и затих навсегда. Последний сон его незаметно для самого, перешел в вечный сон смерти.

Убийца подержал еще некоторое время свой нож в груди товарища и, убедясь, что все кончено, вынул его, вытер спокойно о широкие шаровары убитого, вложил в ножны и с довольной улыбкой начал обыскивать. Забрав деньги и корень жэнь-шэня, он тщательно спрятал все это в свой кожаный кошель, Табак из кисета пересыпал в свой. Винтовку и патроны завернул в окровавленную куртку и положил в дупло-старого ильма, росшего поблизости; для отметки на ствол, его он сделал ножом условные зарубки.

Проделав все это, Ван-до оттащил за ноги труп убитого и бросил его в густые заросли. Кожаную сумку шапку и другие вещи положил в огонь.

Справившись с врагом, он мог теперь спокойно заснуть, не думая о том, что коварный сосед-товарищ готов броситься на него, как лютый зверь.

Разложив побольше костер и выкурив трубку, Ван-до, нисколько не смущаясь близким присутствием убитых товарищей, заснул быстро, как невинный младенец, под тихую колыбельную песню старухи-тайги.

Красные волки, почуяв запах свежей крови, издалека собрались возле становища, но видя огонь, не решались подходить близко. В темноте леса виднелись их горящие глаза, они мелькали как светляки, сходились и расходились, то вспыхивя ярко, то потухая. Вой хищников зловеще раздавался в тишине таежной ночи и наполнил-бы ужасом самое отважное сердце, но привычное ухо старого хунхуза сквозь сон спокойно слушало эту музыку девственных лесов. Изредка, когда москиты кусали и беспокоили, Ван-до просыпался, закрывал лицо и руки грязным шелковым платком и засыпал снова,

Через день к вечеру Ван-до добрался до города Хун-Чуна. Здесь он прожил два дня, показывал драгоценные корни купцам, но покупателя не находилось, так как цена их была очень высока. Кто-то посоветовал хунхузу отправиться во Владивосток, где есть богатые китайские купцы и торговые фирмы.

Перебравшись через нашу границу под видом купца, Ван-до очутился во вновь зарождающемся городе Посьет, на берегу Японского моря.

Было раннее утро. Солнце только что поднялось над горизонтом, бросив золотые лучи свои на волнистую поверхность безбрежной морской глади. Даль была задернута туманом и только у берега виднелись гряды набегающих волн, с белыми пенистыми хребтами. Одна за другой ударяли они в каменистый крутой берег, крутясь и пенясь, и с ревом и стоном разбивались о гранитные твердыни, обдавая их брызгами и соленою влагой.

Темно-синее бурное море рокотало, предвещая шторм. В воздухе пахло влагой и морскими водорослями.

В гавани стоял пароход, пришедший с казенным грузом. У отмели виднелись шкуны и джонки китайцев, с желтыми собранными парусами. Несколько лодок, вытащенных на берег, покачивались под напором набегающих волн.

На пристани суетились сотни людей, русских, китайцев и корейцев. Выгруженные товары, ящики, тюки и мешки с мукой лежали, сложенные в штабели, покрытые циновками и брезентом.

Одна из джонок готовилась к отплытию. Несколько десятков китайцев, полуголых, с бронзовыми телами, бегали, кричали, перетаскивали какие-то связки и тюки, бранились, торопясь попасть на судно, с которого сняли сходни. Хозяин джонки, он же капитан, стоял у борта и отдавал последние распоряжения. Это был толстый китаец, одетый в голубой шелковый халат.

Распустили паруса, они надулись, как пузыри, и джонка закачалась и, рассекая острым носом своим пенистые волны, быстро понеслась вдоль берега, поворачивая в открытое море.

Пассажиры, столпившиеся у борта, кричали на своем гортанном языке и махали платками, отвечая остававшимся на берегу.

Тут же у борта на джонке стоял Ван-до и смотрел на удалявшийся берег и далекие синие горы, словно тучи поднимавшиеся на горизонте.

Джонка держала курс на Владивосток и, сильно накренясь на борт, летела, как птица, управляемая опытными старыми мореходами.

В обширном трюме ее сложены были тяжелые, как мельничные колеса, круги бобовых жмыхов.

Ветер крепчал. Волны подымали все выше и выше свои пенистые гребни и перекатывались через борта. Мачты и реи скрипели и весь корпус судна вздрагивал под напором тяжелых водяных гор. Шум моря и вой ветра заглушали голоса матросов-китайцев, убиравших паруса и снасти. Пассажиры притихли в темной тесной каюте и молились богам о даровании благополучного путешествия. Ван-до курил свою неизменную трубку и углубился в думу.

Вскоре справиться с бурей не было возможности и джонка, предоставленная разъяренной стихии, носилась по волнам, как утлый рыбачий челн.

К вечеру ее прибило к корейскому берегу, где она окончила свое существование, наскочив на камни, едва видневшиеся из воды.

Весь груз ее пошел ко дну и никто из пассажиров не спасся. Долго еще носились по волнам ее поломанные разбитые деревянные части...

Давно уже стихла буря. Страшный тайфун понесся дальше, к южным берегам Сахалина. Спокойно и тихо плещет морская волна в песчаные берега, как бы ласкаясь и гладя их после яростной вспышки и гнева. Чистый разреженный воздух напоен ароматом моря и душистых цветов, в изобилии покрывающих леса и кустарники на высоких скалах, круто обрывающихся к узкой песчаной полосе отлого берега.

В туманной дали горизонта, как бы подернутые фиолетовой дымкой, мерещились силуэты корейских гор.

Мир и торжественная тишина нарушались только тихим ропотом волн да отрывистым жалобным криком сизокрылых крачек, летавших низко, над темно-зеленою гладью безбрежной водной пустыни Великого Океана.

Солнце опустилось над далекими горами и бросало свои прощальные золотистые лучи на берег и волны, давая красноватые блики на поверхности переливающейся зыби.

В отдалении, где на берегу темнела группа отдельных высоких дубов, виднелась узкая полоска седого дыма, стлавшегося по берегу и уносимого легким ветерком в море.

Под нависшею скалой приютилась там убогая фанза корейца-рыболова, Ким-ди. Хозяин давно уже выехал закидывать невод, а семья, состоящая из жены, не старой еще женщины, и двух чумазых полуголых ребят, копошилась возле дома.

Ребята, черные от загара, в коротких белых штанишках, с длинными черными волосами, висевшими длинными прядями по плечам и на спине, скорее походили на арабчат. Валяясь в песке, падая в воду и барахтаясь в ней, они, играли, брызгали друг другу в лицо и были веселы бесконечно, пока мать не крикнула на них, стоя в дверях фанзы.

Услышав голос матери, детишки притихли и устремили свои взоры на море, где вдалеке виднелась рыбачья лодка и сидевший в ней человек на веслах.

Лодка приближалась и через несколько минут острый нос ее врезался в желтый песок берега.

Сложив весла на дно ее, рыбак-кореец, одетый во все белое, с большой соломенной шапкой на черных, закрученных в узел, волосах, вышел на землю, потрепал ребят по головкам и произнес, обращаясь к жене?

— Закинул невод! Пробовал тащить,—что-то тяжело, уж не акула-ли попалась! Как раз порвет сеть!—

С этими словами он принялся подтягивать невод к себе. Жена тоже приняла в этом участие и вдвоем они с большими усилиями подтащили сети к самому берегу.

Еще одно усилие и невод был извлечен из воды и лежал, наполненный рыбой, мокрый, покрытый причудливыми морскими водорослями.

Открыв его, корейцы увидели вместе с рыбой, блестевшей серебристой чешуей и бившейся своими упругими плоскими хвостами о землю, труп китайца, одетого в богатую шелковую курму синего цвета. Темно-бронзовое лицо утопленника было обезображено гримасой страха и ужаса, желтые большие зубы блестели из-под черных коротких усов. Длинная черная коса его извивалась вокруг шеи и на руке, как змея.

— Да это мертвец!—в испуге проговорил рыбак, вытаскивая его из сети,—я так и знал, что зацепил что-нибудь тяжелое! Не мешало бы его обыскать! Это, повидимому, богатый купец и деньги должны быть! Ну, ша!.. Поросята!...—отгонял он любопытных ребят, мешавших ему снимать мокрое платье с китайца.

В кожаном кошеле на груди мертвеца нашел он только серебряную русскую мелочь, зато в подкладке шелковой кофты (курмы) были зашиты русские бумажные деньги, около двухсот рублей, и какие-то два корешка странного вида и формы.

Повертев их в руках, понюхав и посмотрев на свет, кореец хлопнул себя ладонью в лоб и произнес с оживлением:

— Будь я свинья, если это не драгоценные корни жэнь-шэня! Ты слышишь, жена! Ведь это целое богатство! Теперь нам не надо голодать, не надо кланяться никому. Мы будем богаты! Купим землю, скотину, все, что нужно для хозяйства!—с этими словами кореец схватил жену и начал с ней танцовать у трупа погибшего китайца какой-то дикий первобытный танец. Дети, видя неистовую радость родите-

лей, тоже прыгали и кривлялись, как маленькие обезьянки, хлопали в ладоши и кричали «А-ля! А-ля!» Солнце между тем зашло. Быстро темнело.

Отдав деньги, одежду и корни мертвеца жене, рыбак взвалил его на лодку и отвез далеко от берега. Привязав к шее тяжелый камень, он бросил его в море, поглатившее хунхуза Ван-до в свои таинственные темные недра навсегда.

Тихая летняя ночь плыла над уснувшею землей. Темное море, медленно колыхаясь в своем необъятном ложе, рокотало, и волны одна за другой набегали на плоский берег. Бледный серп месяца плыл из-за неясных морских далей и бросал серебряный столб лучей своих на выпуклую грудь океана.

В одиноком окне рыболовной фанзы светился красноватый огонь.

Счастливая семья бедного корейца сидела, поджав ноги, вокруг низкого стола, уставленного чашками, блюдами и кушаньями. Из тонкого горлышка глиняного кувшина хозяин и хозяйка наливали подогретую китайскую водку и пили из маленьких, величиной с наперсток, чашечек.

Всем было весело. Даже дети участвовали в семейной радости, пили из рук матери сладкий теплый напиток, смеялись, кричали и угощали остатками еды своего любимца, остроухого пса, сидевшего возле них на задних лапах.

Вскоре рыбак затянул глубоким грудным голосом заунывную песню; она плыла над берегом и замирала вдали безбрежного моря; звуки ее неслись, и, казалось, то плачет и стонет она, то в гневе грозит и рокочет, сливаясь с тихим ропотом прибоя.

В песне этой слышались горе и радость, гнев и печаль, отчаяние и надежда; вся жизнь этого тихого, честного, народа рисовалась в ней.

Жена и дети сидели неподвижно вокруг стола и, обняв колени свои, слушали со вниманием эту песню, грустную песню, прекрасной «Страны утреннего спокойствия». Могучий Великий океан вторил этой песне, и шумели, набегая одна за другой на песчаный берег, холодные волны вечного прибоя...

---

15. ПОПУГАЛ!

Я охотился на изюбрей и пантовал[1]) в восточных отрогах Чжан-Гуань-Цайлина. Нас было двое, я и промышленник Афанасенко, который имел свое зимовье, куда мы оба сходились на дневку, так как ночами приходилось сидеть и ожидать появления пантача-изюбря.

Несколько пар пантов, слегка провяленных, висели уже под навесом нашего зимовья, но нам хотелось добыть еще по одной паре, для чего мы и разошлись под вечер по своим местам. Мое место находилось на горной седловине, в дубняках, километрах в десяти от зимовья, и я вышел еще засветло, когда солнце освещало своими розовыми лучами далекую вершину конусообразного пика Татудинзы?[2]).

Придя на место, я осмотрел его, выяснил ход и засел на окраине, в ожидании появления пантача.

Комары и москиты набросились на меня с остервенением, но я стоически переносил это «испытание огнем» и только изредка размазывал напившихся мучителей по своей физиономии.

В тайге было тихо. Ни один звук не долетал до моего слуха, и только полчища комаров жужжали вокруг меня, празднуя свою победу.

Прошло более четырех часов. Ноги и руки у меня затекли и в глазах рябило от напряжения зрения. Я уже начал сомневаться в успехе охоты и мечтал о возвращении в уютное зимовье, как вдруг внезапно хрустнула в дубняке сухая ветка и послышались осторожные шаги приближающегося зверя. Темнота ничего не позволяла видеть, кроме двух столбов белой березы, поставленных на солонце[3]), чтобы на фоне их лучше рассмотреть темную фигуру изюбря.

Подойдя к солнцу, зверь остановился и замер.

Так прошло несколько секунд, показавшихся мне вечностью. Один козарный комар, как нарочно, уселся мне на кончик носа и пребольно ужалил; большого напряжения воли мне стоило, чтобы не поднять руку и не прихлопнуть каналью.

Изюбрь стоял передо мной шагах в тридцати, и втягивал в себя воздух. Я его не видел, но чувствовал его присутствие и ждал, сдерживая дыхание и держа винтовку на прицеле, у плеча. Воздух тянул на меня и я обонял специфический запах зверя. Но вот, он двинулся смело вперед и заслонил своим телом одну из берез. Я нажал на спуск. Грянул выстрел, раскатившийся гулким эхом по горам и далеким падям. Изюбрь ринулся вперед и упал, но моментально справился и шагом пошел на уход, на вершину соседней сопки.

Итти за ним было бесполезно. Я зажег спичку и при ее свете различил темные сгустки крови и определил тяжелое поранение в

---

[1]) Панты—не окостеневшие рога изюбря; высоко ценятся в китайской медицине.

[2]) Гора Татудинза находится в хребте Чжан-Гуан-Цайлин и имеет около 2 тыс. метров абсол. высоты.

[3]) Солонец—место охотника, для выслеживания зверя, засада.

область брюшины. Зверь с такой раной должен пасть через три-четыре часа.

Я решил дождаться рассвета и итти по следам. Завернувшись в брезентовый плащ, я забрался в дубовый куст, лег на подстилку из сухой листвы и заснул, как убитый.

Благие намерения,—проснуться на рассвете, не оправдались, меня разбудил Афанасенко, пришедший со своего солонца на выстрел, так как в эту ночь к нему изюбрь не вышел.

Солнце уже высоко стояло на небе, тайга проснулась и звенела тысячами птичьих голосов и стрекотаньем насекомых.

Осмотрев кровяные следы зверя, мы быстро двинулись на вершину сопки, расчитывая найти его там.

Действительно, в одном из глубоких ущелий, мы нашли павшего зверя; он лежал на боку, вытянув ноги и запрокинув на спину красивую голову с великолепными пантами. Прекрасные, большие глаза его были открыты и язык закушен.

Я уже собрался потрошить зверя и вырубать панты, для чего достал из походной сумки складной нож с пилкой, как вдруг, совершенно неожиданно, как гром с безоблачного неба, раздался сухой винтовочный выстрел и вблизи меня щелкнула пуля, пронизав ствол небольшого дуба, под которым мы возились, приступая к свежеванию зверя.

Медлить было нельзя. Мы бросились в кусты и залегли в них.

После первого выстрела последовало еще несколько и пули щелкали вокруг нас. Очевидно, в нас стреляли, как по зрячему зверю, и малейшая наша оплошность стоила бы жизни.

Афанасенко, лежавший около меня, сразу сообразил, что стрельба производится из одной винтовки, значит враг один, и предупредив меня,—не отходить от убитого зверя,—пополз в сторону, бросив мне мимоходом следующую фразу:

«Оставайтесь здесь! Я пойду его попугаю и научу стрелять!»

После исчезновения моего товариша, наступила та зловещая тишина, которая всегда бывает чревата событиями. Я лежал под кустом дуба; передо мной раскинулась туша изюбря; холодные, стеклянные глаза его смотрели в ясное голубое небо и, казалось, вопрошали: «За что?»

Я мысленно оправдывал себя, припоминая суровый «закон тайги» и чутко прислушивался к малейшему шуму, всматриваясь в зеленую чащу леса и держа наготове верную винтовку. Стрелявший, очевидно, выслеживал меня давно и ждал, когда я убью пантача; но почему он не попал в меня, когда я стоял во весь рост, для меня осталось загадкой. О присутствии Афанасенко он, вероятно, не знал и расчитывал иметь дело только со мной.

В тайге практикуется такой способ добывания пантов, при чем разбойник неотступно следит за охотником и пускает в него пулю из засады, когда последний добыл драгоценный трофей. Но способ этот, несмотря на добычливость, очень рискован и кончается иногда гибелью самого грабителя.

Кто был наш противник, я не знал, так как этим промыслом занимаются здесь как русские, так и китайцы.

Тишина в тайге стояла невозмутимая. Начинало парить. В зарослях винограда и в траве неистово трещали цикады, да проворные

дятлы, перелетая от ствола к стволу, долбили кору своими крепкими клювами.

Мне надоело, наконец, лежать под кустом и я постепенно выполз из зарослей и стал осматриваться. Выстрелы были направлены с соседнего хребта, спускавшегося в падь; там виднелись огромные камни гранитного обнажения; до них было не более двухсот шагов. Я чувствовал опасность с той стороны и не спускал глаз с этих гранитных скал, за которыми, вероятно, засел враг. Подыскав толстый ствол старого дуба, я расположился за ним, навел дуло винтовки на опасные камни и стал выжидать.

Прошло более часа с тех пор, как мой приятель ушел в разведку. Время тянулось томительно долго и я начал уже терять терпение, но внезапно раздавшийся звук выстрела где-то в отделении заставил меня встрепенуться и насторожиться.

Я ожидал второго выстрела, но его не последовало, и снова наступила прежняя томительная тишина. Вынужденное бездействие тяготило меня, я волновался, но ничего не мог предпринять, ограничиваясь своей пассивной ролью.

По моим предположениям, выстрел был со стороны Афанасенко и я терялся в догадках не зная, что именно там происходит.

Я был спокоен за своего товарища, так как был уверен в его опытности и выдержке. Пуля его редко давала промах, и в тайге он мог постоять за себя. Это был старый таежный волк, безупречной смелости, поэтому я был убежден, что он поступит именно так, как надлежит.

Я не ошибся. Не прошло и получаса после выстрела, как появился Афанасенко, ведя перед собой связанного по рукам хунхуза. Оказалось, что последний действительно выследил меня и засел за камни, с целью, в конце-концов, покончить со мной и воспользоваться моей добычей.

Вид у хунхуза был смущенный, хотя в то же время, он очень походил на пойманного волка. Свирепый и злой взгляд исподлобья не сулил ничего хорошего и, пока мы свежевали изюбря, что заняло у нас около двух часов, на всякий случай, мы связали ему еще ноги, чтобы он не бежал.

Судя по его спокойствию, он наверное ожидал от нас смерти, так как психология его,—«око за око», не допускала другого решения.

Когда же Афанасенко, окончив работу с юзюбрем, закурил папиросу и вложил ее в раскрытый рот хунхуза, последний не поверил глазам своим и, наверное, думал, что все это происходит во сне.

После свежевания зверя, мы разложили части его по мешкам и двинулись в путь, при чем развязали хунхузу руки и ноги и дали ему нести самый тяжелый мешок с мясом, вероятно, весом до 40 кило. Китаец охотно и легко взвалил себе на плечо мешок и пошел вместе с нами к зимовью.

Для безопасности, мы поместили хунхуза между собой. Выражение лица его сразу изменилось, в нем уже не было злобы и непримиримой ненависти, оно сменилось на более разумное и человеческое. Видно было, как зверь уступал место человеку.

До зимовья было не менее 15 километров и мы часто останавливались, отдыхать и утоляя жажду в горных речушках. К вечеру, перед закатом солнца, мы были уже в зимовье.

Пленник наш вел себя очень спокойно и был покорен, как ребенок. Я все время следил за его настроением и мне казалось, что он все еще не может уяснить происшедшего и все чего-то ждет от нас, конечно,—самого худшего.

В зимовье мы предложили ему напиться чаю и дали ему поесть хлеба и мяса. Надо было видеть его волнение и переживания в это время! Казалось, он кое-что начинал понимать. Когда Афанасенко объявил ему, что он свободен и может итти, куда хочет, удивлению его не было предела... Не верить нам он уже не мог и, в то же время, в его мозгу не укладывалось то, что с ним произошло. Он ушел не сразу и перед уходом низко, низко кланялся нам обоим, бормоча какие-то невнятные слова, и, наконец, исчез в темноте наступившей ночи.

«А, ведь, малый, того... С радости чуть не рехнулся!»—произнес Афанасенко, когда фигура хунхуза скрылась в зарослях тайги,— «Когда я выбил из рук у него винтовку, он сразу упал ничком на землю, в ожидании смерти и когда я его поднял, он был словно во сне! Да, наверное, и сейчас еще не очухался, как следует!»

Темная таежная ночь спустилась на землю. Глубокое небо искрилось мириадами звезд. Внизу, на черном фоне лесных зарослей, искрились и мелькали другие звезды—летающих светляков, и производили чарущее впечатление какой-то сказочной, волшебной феерии. Темные вершины старых дубов тихо шумели и издалека доносился рокот волн быстрой горной речки.

---

16. В ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Однажды, охотясь на кабанов, я зашел слишком далеко от зимовья и возвращался назад с убитым мною молодым кабаном, которого волочил по снегу, привязав ему крылу веревку. Наступила светлая таежная ночь. Луна сияла, и снег искрился в зеленовато-желтых лучах ее. До зимовья было не менее 15 километров. Я устал смертельно, но бросать кабана в тайге не хотелось, и я с трудом волок по льду Тутахезы тяжелую тушу. Крутые берега ее, заросшие густою тайгой, были темны и безмолвны. Там, где реку загромождали камни и бурелом, образовались наледи, и приходилось переносить кабана на руках, иначе туша примерзала ко льду. Во время остановок я с жадностью пил воду из наледей. Тишина была полная, только изредка от мороза потрескивали стволы деревьев, и журчала вода подо льдом. Я зорко всматривался в чащу леса, но ничего, кроме черной завесы, не видел. Впереди искрилась и блистала поверхность реки, местами гладкая, как стол, местами загроможденная огромными камнями и корягами.

Пройдя таким образом километров пять, я присел на одну из коряг отдохнуть и стал вслушиваться в тишину окружающей тайги. До зимовья оставалось 10 километров. Судя по положению луны, было уже за полночь. Отдохнув немного, я уже собирался подняться, чтобы продолжать свой путь, как внезапно до моего слуха достиг звук, от которого я чувствовал, как мурашки забегали у меня по спине. Звук этот я хорошо знал, это был отдаленный рев тигра. Ему вскоре ответил другой с противоположной стороны, но гораздо ближе. Первою мыслью моей— было влезть на дерево, и я уже готов был привести это в исполнение, но я слышал, что звери приближаются, судя по силе их голосов, и сразу потерял способность действовать активно и чувствовал, что на дерево влезть не хватит сил. Я сообразил, что хищник может броситься на моего кабана и быстро оттащил его на середину реки, положив на светлом, видном месте. Но где укрыться мне самому? Я начал терять присутствие духа. Голоса, вначале далекие и глухие, становились все громче и, наконец, ближайший ко мне был не более, как в 400 шагах. Мне казалось, что за мной уже следят глаза хищника из чащи; я залег за камни, шагах в 100 от туши кабана и ждал появления зверей, держа винтовку у плеча. Но беда в том, что при свете луны трудно стрелять наверняка. Я волновался и, чувствуя свою беспомощность перед могучим владыкой тайги, хватался то за рукоятку висевшего у пояса ножа, то бесцельно прицеливался в невидимого врага.

Положение мое становилось критическим, в особенности, когда я услышал голос третьего тигра, раздававшийся, как иерихонская труба, с ближайшего увала, нависшего над рекой. Звери перекликались. Судя по тембру голосов, один был старый самец, рев которого напоминал отдаленный гром и глухой кашель, исходящий как бы из гигантской бочки; два другие голоса были потоньше, но тоже напоми-

нали громоподобный кашель. При передаче буквами голос тигра можно сравнить со словом ,,еоун", в начале на высоких нотах, а затем на низких басовых. Слушая эту музыку первобытного леса, я понял, что единственное мое спасение—лежать неподвижно в камнях и не обнаруживать ничем своего присутствия. Я слышал свое усиленное сердцебиение и как ни старался себя успокоить—напрасно. Я ждал появления хищников на светлой поверхности реки. Голоса зверей то ослабевали, то усиливались, но слышно было, что они сближались, и тогда звуки становились особенно громки и интенсивны. Иногда, среди рева и кашля, я различал протяжное и заглушенное мурлыканье и даже визг, очевидно сошедшиеся звери вступали в драку. Так лежал я ни жив, ни мертв между камнями, прислушиваясь к дикому первобытному концерту, и внимательно следил, куда именно направляются голоса: в мою сторону или мимо меня. Я отлично сознавал, что в первом случае мне не сдобровать, а во втором много шансов уцелеть. Секунды в то время казались мне часами, а минуты вечностью. Все чувства мои были напряжены до крайности, и я еле сдерживал себя чтобы не вскочить и не бежать, так как все же у меня было сознание гибельности этого поступка.

Голоса зверей стали ослабевать, и слышалось только отрывистое взвизгивание и мяуканье. Хищники приближались, я это чувствовал инстинктивно, не отдавая себе отчета. В тишине тайги ясно слышно было движение зверей. Они шли к реке, выше по течению того места, где я лежал, скрытый за камнями. Кабан находился ниже меня, так что я очутился между ним и хищниками. Я быстро переменил позицию и повернулся лицом к тому месту, откуда, по моему предположению, должны были выйти звери на реку. Я не ошибся. Шагах в 200-х от меня, из темной чащи прибрежных зарослей вышел на лед реки тигр. Вслед за ним вышли оттуда же еще два хищника и направились поперек через реку, ясно обрисовываясь темными силуэтами на белой пелене снега. Впереди шла, вероятно, тигрица, а за ней по пятам следовал огромный старый тигр. За ним, шагах в пяти сзади, шагал молодой тигр, по величине почти равный тигрице. Посредине реки темнела свежая, еще не замерзшая наледь. Дойдя до нее, тигрица начала поднимать передние лапы, стряхивая с них воду, и остановилась, раздумывая, куда итти. Мочить свои ноги ей не хотелось, она повертывала свою изящную голову во все стороны, выбирая путь. Тем временем оба тигра также подошли к наледи, опустили свои массивные головы вниз и стали лакать воду. Когда тигрица поворачивала голову в мою сторону, глаза ее светились фосфорическим светом. Граница наледи подходила как раз ко мне, и если бы звери решили обойти ее, то направились бы прямо на меня. Я видел колебание тигрицы, она сделала уже несколько шагов в мою сторону. Для меня стало очевидным, что участь моя решена. Я машинально вынул нож и взял его в левую руку, а правой начал наводить винтовку в белое пятно на груди зверя. Но ни мушки, ни прорези прицела я не мог различить. Я чувствовал, как волосы на голове у меня поднимаются, и мороз ужаса и отчаяния сковывает мои члены. Приближался катастрофический момент, и я ждал его наступления, решив дорого продать свою жизнь. Я намеревался стрелять по зверям, пока хватит патронов в магазине винтовки, а затем пустить в дело нож. Но я знал, конечно, что эта борьба с негодными средствами и видел уже в фигурах приближающихся зверей неизбежную смерть. Тигрица

шла впереди, за ней оба тигра. Шли они медленно, мурлыча себе под нос и мяукая; упругие, пушистые хвосты их все время были в движении, и концы их извивались, как змеи. Я решил подпустить их на близкую дистанцию, для более верного выстрела и начал уже нажимать указательным пальцем на спусковой крючок винтовки, целясь приблизительно в грудь тигрицы. Но вдруг тигрица остановилась, повернулась ко мне правым боком и, без малейшего напряжения мускулов, сделала гигантский прыжок через наледь и пошла тем же медленным шагом через речку, направляясь в заросли левого берега. Оба тигра, дойдя до места прыжка своей повелительницы, перепрыгнули также легко через наледь и зашагали ей вслед. Звери не дошли до моей засады шагов 80, и я ясно мог различить, при ярком свете луны,их могучие, красивые фигуры, испещренные по краснобурому меху черными полосами. Тигрица, казалось, не обращала никакого внимания на своих кавалеров и шла совершенно спокойно, оглядываясь по сторонам. Оба самца не выказывали такого спокойствия, и все движения их обнаруживали волнение и нервность; по временам они громко ворчали, скаля зубы и фыркая. Я был поражен таким неожиданным поворотом дела и не верил еще своим глазам. Через несколько секунд все три хищника скрылись в зарослях противоположного берега. Долго еще слышно было их движение по тайге; наконец, наступила прежняя невозмутимая тишина, и только тогда я начал приходить в себя и обсуждать хладнокровно все случившееся. Я чувствовал себя легко и свободно и сознавал свое спасение от неминуемой гибели. Но, что всего оригинальнее, когда опасность миновала, я упрекнул себя в нерешительности и малодушии, и сожаление закрылось в мое самосознание. Я старался убедить себя в том, что моя обязанность была, как охотника, стрелять по зверям, не предрешая всех последствий. Такова психология человека и охотника: сплошь да рядом они противоречат друг другу, обнаруживая сложную и неразгаданную структуру так-называемой души человеческой.

Я с трудом поднялся и встал с наледи, к которой примерз мой бок. Члены мои застыли и отекли, вследствие неловкого положения. Я подошел к тому месту, где вся теплая компания перепрыгнула через наледь и увидел на снегу и на застывшей наледи ясные отпечатки круглых характерных лап хищников. Наледь в этом месте была не менее 6 метров ширины, и гигантские кошки взяли это препятствие без малейшего усилия. Такова упругость и сила их стальных мускулов. Посидев еще немного на корягя и окончательно убедившись, что тигры ушли, я снова впрягся в веревочные постройки и поволок кабана по гладкой поверхности Тутахезы, вниз по течению. Луна спустилась уже довольно низко, бросая густые длинные тени на белую снежную пелену реки. В вышине темного глубокого неба искрились звезды, и суровый мороз трещал по стволам таежных деревьев и по мощному ледяному покрову горных ручьев и речек. Я быстро подвигался вперед, стараясь держаться посередине реки, чтобы обезопасить себя от засады и внезапного нападения из густых прибережных зарослей. Шаги мои гулко раздавались в тишине ночной, да шум влекомого мною кабана сливался с журчанием воды подо льдом на каменистых перекатах.

Только рано утром я дотащил свою добычу до зимовья, расположенного на крутом живописном берегу Тутахезы.

17. МАЛЕНЬКИЙ ВАН.

У маленького Вана большое горе. Отца увели в сопки хунхузы и требуют от него огромный выкуп, тысячу харбинских долларов! А где их взять? Мать собрала, что могла, с должников, лесных подрядчиков, продала все свои драгоценности, что хранились в ее заветном сундуке, полученном в приданое перед свадьбой, но не вышло и половины требуемой суммы, а жестокие хунхузы грозят смертью, в случае неуплаты.

Через три дня истекает срок внесения денег и нет никакой надежды на спасение. Бедная женщина сбилась уже с ног, в поисках изыскания способов добыть деньги, но все бесполезно. Коммерческое общество обещало пополнить заимообразно сумму выкупа, но до сих пор ничего не сделало, а время идет и роковой срок приближается. Она знает, что хунхузы неумолимы и в указанный срок выполнят свою угрозу, и через три дня она получит страшную посылку, в виде корзины с отрубленной головой любимого мужа, единственного кормильца семьи, состоящей из жены и трех малолетних детей. Старшему сыну, Вану, всего только десятый год, но он не по летам развит и выглядит старше своего возраста. Нужда и тяжелый труд лишили его детства и сделали взрослым. На смуглом лбу его уже заметны глубокие морщины и черные глаза его не по летам серьезны и печальны.

В детском мозгу его зреют мысли и беспокойные думы не дают покоя. Он видит отчаяние и глубокое горе матери и в маленькой бритой голове его создается план освобождения отца из хунхузского плена. Отец еще здоров и силен может работать и кормить мать и двух маленьких братьев, а он, маленький, глупый, слабосильный Ван, никому не нужен и может заменить отца и отдать свою жизнь за жизнь и счастье родителей и маленьких братишек.

Эта идея гвоздем засела в голову маленького Вана и уже не выходила оттуда, несмотря на протест матери и уговоры ее, бросить эту затею, как невыполнимую.

Видя страдания матери, маленький Ван все более и более укреплялся в этой идее и в конце концов решил привести ее в исполнение, во что бы то ни стало.

Маленький Ван, как все китайские дети, был очень послушен, и в другое время ослушаться матери он не посмел бы, но теперь, когда жизнь отца висит на волоске и поставлено на карту существование всей семьи, он может выйти из повиновения матери. Она женщина, со всеми ее слабостями, а он единственный мужчина в семье и может поступать самостоятельно, не спрашивая совета женшин. Он решил, что это его долг, как любящего сына и старшего брата.

Решение это бесповоротно и должно быть приведено в исполнение немедленно, так как путь предстоит далекий, а роковой срок, назначенный хунхузами, приближается.

Отец маленького Вана, рядчик лесной концессии, Ван-фу-лин, уведен был хунхузами в глубину тайги в далекую фанзу зверолова, за сорок пять километров к югу от станции Вей-ша-хэ.

Мальчик не боялся за себя: он отлично знал всю тайгу в окрестностях станции, так-как зимою постоянно бывал с отцом на ближних и дальних лесных заготовках и многие фанзы звероловов были ему знакомы.

Во время этих скитаний по тайге, он изучил жизнь ее двуногих и четвероногих обитателей и своим детским наблюдательным умом быстро усвоил себе тот первобытный язык условных знаков, который изображает собой дикую таежную азбуку, начертанную таинственною рукой на зеленом фоне дремучего леса.

Маленький Ван прекрасно разбирался во всех этих причудливых иероглифах древнего языка и мог безошибочно найти верную дорогу в диком лесу, не хуже любого старого таежника.

Дальнюю фанзу зверолова, где находился его отец в плену, мальчик также знал по прежним своим скитаниям, во время проверки лесных материалов, заготовленных партиями рабочих. На полпути находилась фанза зверолова Тун-Ли, старого приятеля отца, глубокого старика, уважаемого всеми за свою испытанную мудрость и честность.

Все эти соображения приходили в голову маленького Вана, когда он обдумывал план своего путешествия в недра лесов.

Хотя план этот теоретически был готов, но надо его осуществить и практически выполнить. Последнее казалось мальчику самым трудным, так-как мать, чувствуя своим материнским сердцем намерения сына, зорко за ним следила. Необходимо было усыпить подозрительность матери и выбрать момент для побега.

Случай скоро представился. На следующее утро, едва только засерело небо на востоке и предрассветный ветерок прошумел в темных вершинах старых кедров, вздымавших свои стройные гигантские стволы к звездному небу, маленький Ван был уже на ногах и тихо, едва дыша, пробирался из фанзы на двор, стараясь не разбудить мать, утомленную дневными заботами и безотрадными думами.

На дворе мальчика окружили собаки, ласкаясь, визжа и стараясь лизнуть его в лицо. Отбиваясь и отмахиваясь от них, он наскоро собрал свои пожитки, заготовленные накануне, уложил их в котомку, вооружился своей излюбленной палкой и быстро зашагал со двора, направляясь через лесные склады, где возвышались штабеля бревен, дров и шпал, к опушке черной, как могила, тайги.

Ни один звук не нарушал торжественную тишину дремучего леса, только где-то вдалеке кричал филин и его заунывное „Пугу“ глухо отдавалось в глубине таинственных дебрей. Маленький Ван не был никогда трусом и знал происхождение всех звуков тайги, но теперь он ощущал какую-то непонятную тревогу и нервная дрожь пробегала по его худому телу, и зубы его выбивали дробь, не смотря на все усилия успокоить себя и взять в руки.

Найдя знакомую тропу. извивающуюся по берегу горной речки, наш маленький беглец прибавил шагу, боясь погони. Но опасения его были напрасны. Заметив продолжительное отсутсвие сына, мать догадалась о его бегствие и не подумала о его преследовании, так-как знала, что ей не догнать мальчика. Кроме того, в сердце ее зажглась какая-то искра надежды и тупая покорность судьбе убила в ней вся-

кую энергию. Она посадила к себе на колени оставшихся с нею малюток, и обнимала их и плакала горькими слезами отчаяния.

Маленький Ван в это время был уже далеко и бодро шагал по тропе, то взбираясь на скалистые береговые утесы, то спускаясь в глубокие ущелья, по дну которых шумели быстрые горные потоки, с холодною, как лед, водой. Здесь он утолял свою жажду и отдыхал в прохладной тени лесных великанов, подымавших свои гордые вершины над зелеными волнами таежной чащи.

В прозрачных струях этих потоков он наблюдал игры пестрых форелей и смелые прыжки их через стремнины и водопады.

Не раз встречал он на своем пути группы стройных козуль, перебегавших через тропу и мелькавших в темной чаще зарослей своими белыми „платочками.“

Однажды, переходя вброд через реку, он столкнулся с черным медведем, шедшим на водопой. Добродушный зверь остановился и начал с любопытством рассматривать маленького человека, виденного им впервые. Когда же мальчик громко закричал и застучал палкой по стволу дерева, медведь медленно повернулся и пошел в чащу, по своим неотложным делам.

В торфяных болотах широких падей, где в знойный летний день, под непроницаемым сводом вековых елей, сохраняется вечный полумрак и прохлада погреба, валяются в грязи грузные туши кабанов и заботливых свиней с поросятами.

Маленький Ван часто прислушивался к их довольному хрюканью и вспоминал свой дом, свой двор, своих домашних свиней и милых поросят, которых он ежедневно кормил и ласкал.

Мысленно он перенесся в свою фанзу и грустно ему стало и на одно мгновенье мелькнула в его голове мысль и сожаление о своем предприятии, но это была минутная слабость, сменившаяся мужественным подъемом и новой энергией. Образ матери и маленьких братьев быстро растаял в его воображении и суровая действительность снова легла на его узенькие плечи, давя их своей роковой неизбежностью.

Юркая белочка, прыгая с ветки на ветку, спустилась на самый нижний сухой сучок, села на задние лапки, вскинула свой черный пушистый хвост над головой и что-то забормотала на своем непонятном языке.

Она увидела маленькое человеческое существо перый раз в жизни и была крайне удивлена; но когда мальчик бросил в нее еловой шишкой, она рассердилась, затопала на него передними лапками и гневно свистнула три раза подряд.

Маленький Ван забыл было свою тяжелую миссию и начал играть с белочкой, бросая в нее еловые шишки. Она пряталась от него за стволом старого кедра и, задорно выглядывая из-за него, бегал винтообразно вверх и вниз, комично ворча и щелкая своими маленькими острыми зубками.

Эта игра продолжалась недолго. В вершине старого кедра раздался громкий голос таинственной птицы Цяор. Он звучал, как флейта, и разносился далеко по недрам безмолвной тайги, будя далекое горное эхо.

„Это птица Цяор!“—подумал маленький Ван, взбираясь на крутой хребет Лао-э-Лина, на перевале которого находилась древняя кумирня Мяо, откуда недалеко уже до фанзы знакомого старика Тун-Ли.

Мальчик знал, по рассказам отца и старых звероловов, что птица эта живет только там, где обитает Владыка гор и лесов, могучий Ван, Великий тигр, что голосом своим она заманивает путника в глубину тайги, в когти царя зверей. Да это и не птица, а блуждающий дух человека, отыскивающий своего брата. Это не птица кричит с вершины кедра, а душа человека зовет по имени своего несчастного брата.

Жутко стало маленькому Вану одному в диком дремучем лесу, среди всяких таинственных звуков и в непосредственной близости к страшному Владыке тайги. Он был уверен, что Великий Ван где-то недалеко, что он следит за ним из темной чащи лесных зарослей и ему чудились уже его страшные желтые глаза, устремленные на него из за каждого куста и ствола дерева.

Ужас начинал овладевать им, когда он добрался наконец до высокого горного перевала, где стояла убогая ветхая кумирня, сложенная из дикого камня. На ветвях деревьев вокруг нее свешивались тряпки и лоскутки одежды, оставляемые путниками, как жертва Великому Вану, Владыке гор и лесов.

Подойдя к кумирне, мальчик стал на колени и долго молился Горному духу, прося его помощи в деле освобождения отца.

Со всех сторон кумирню обступили вековые могучие кедры и ели и темные вершины их шумели, напевая свои древние песни и сказки дней давно—минувших.

Солнце высоко стояло в небе и горячие лучи его, проникая в чащу леса, бросали на ярко зеленый фон его листвы светло изумрудные пятна, преломляясь в крупных каплях росы цветами радуги.

В чистом горном воздухе, напоенном ароматами цветущих растений и дыханием земли, звенел несмолкаемый хор насекомых, творящих свое меленькое и в то же время великое дело, в горниле мировой эволюции природы.

Где-то на вершинах таежных великанов кричала таинственная птица Цяор и звукам этого голоса вторило далекое эхо.

Маленький полосатый бурундук, выбежав на крышу кумирни, остановился в недоумении, увидя перед собой странную фигуру мальчика, стоящего на коленях и бьющего поклоны.

Свистнув несколько раз и дрогнув хвостиком, бурундучек стремглав понесся к себе домой, под ствол упавшего дерева, сообщить своей подруге о своем открытии.

Окончив молитву и повесив на ветку ели клочек своей ветхой куртки, маленький Ван съел пампушку из кукурузной муки и начал спускаться с перевала в глубокую падь долины реки Альдон-хэ.

До фанзы зверолова было не менее трех часов пути. Тропа извивалась между гранитными утесами хребта. Бурелом, заросли и валежник затрудняли движение мальчика. Его маленькие ноги с трудом преодолевали эти препятствия. Колючки аралии, шипы диких роз и острые камни исцарапали ему руки и колени до крови, к тому-же усталость брала свое и он подвигался все медленнее и медленнее.

Но утомление телесное не отразилось на бодрости его духа. Он горел желанием освободить отца и никакие страдания не могли оставить его намерения. В его маленьком мозгу ни разу не явилась мысль об отступлении, несмотря на все явные и тайные опасности трудного пути.

В глубине пади все еще раздавались громкие крики таинственной птицы.

Маленький Ван спустился с хребта и шел по тропе, опираясь на свою палку. Все тело его ныло и болело и ноги подкашивались от усталости.

„Скорее бы добратся до фанзы!“—думал бедный мальчик, зорко всматриваясь в густые заросли, таящие в темных недрах своих неведомые опасности.

Вскоре показался просвет в лесном полумраке и шум бурной речки нарушил тишину тайги.

Выйдя на берег, маленький Ван остановился, осматривая дальнейший путь по камням, выступающим из воды.

Перепрыгивая с камня на камень и всматриваясь в заросли противоположного берега, он увидел силуэт какого-то большого зверя, пьющего воду. На голове его колыхались ветвистые рога, покрытые коротким редким мехом.

Это был изюбрь. Заметив мальчика, он поднял свою прекрасную гордую голову, большие уши и стал всматриваться.

Изо рта его капала вода и розовый червеобразный язык облизывал мягкие бархатистые губы и тонкие вздрагивающие ноздри.

Зверь не боялся человека и продолжал его рассматривать, с удивлением и любопытством.

Мальчик стоял на камне, посреди реки, и любовался красивым стройным животным, не проявлявшим ни малейшего страха.

Особенное внимание он обратил на большие массивные панты оленя, красозавшиеся на его широком лбу.

„Сколько же они стоят?— думал маленький Ван, глядя на ценные рога зверя—наверное тысячу рублей! Вот, было бы со мной ружье—выкуп за отца готов!...“

Но эти практические соображения мальчика были прерваны внезапным неожиданным прыжком изюбря через речку. В несколько прыжков, чем то напуганный, пантач перемахнул на берег реки и скрылся в зарослях.

Не успел маленький Ван сообразить, в чем дело, как на том же месте, где стоял изюбрь, появилась массивная фигура другого зверя, на коротких толстых ногах, с лобастою круглою головой и желтыми страшными глазами; красновато-бурый мех зверя, испещренный черными полосами. резко выделялся на зеленом фоне прибрежных зарослей.

Это был тигр. Он скрадывал изюбря, но потерпел неудачу, и вышел на песчаную отмель реки, по следам ускользнушего зверя.

Здесь он заметил необычную фигуру маленького китайченка, стоявшую на камне, посреди реки, и застывшую от страха и неожиданности

Хищный зверь и ребенок встретились взглядами и между их зрачками протянулись невидимые нити психического взаимодействия.

Первые мгновенья оба оставались неподвижными. Они разглядывали друг друга, стараясь уяснить себе создавшееся положение.

Тишина тайги не нарушалась ни одним звуком, только шумела бурная речка и неистово трещали цикады в береговой уреме.

Голова маленького Вана усиленно и напряженно работала. Он видел перед собой страшного Великого Вана, Горного духа, Владыку тайги. Мальчик знал, что наступила роковая минута, от которой зависит не только его жизнь, но и жизнь его отца и благополучие его семьи.

Надо было действовать! Но как? Что предпринять? Хищник уже пришел в себя и зашевелил могучими мышцами под мягким бархатистистым мехом. Челюсти его раскрылись и звук, подобный кашлю,

нарушил тишину лесной дебри. В темной пасти его сверкнули, как белые молнии, острые конусовидные клыки.

Наступило страшное мгновение. Решалась участь маленького Вана. Хищник не был особенно голоден, но журчанье реки возбуждало его жажду. Он вошел по колена в воду и начал лакать своим упругим широким языком. Увлекшись этим делом, тигр погрузил всю морду, до самых глаз, в холодные струи и, с видимым удовольствием, чавкал и жевал живительную влагу. Вода пенилась вокруг его пасти и журчала между его зубов.

Кончик пушистого хвоста его шевелился и судорожно вздрагивал из стороны в сторону.

Так реагировал Великй Ван на свою встречу с маленьким Ваном, китайченком, который стоял на камне, ни жив ни мертв, боясь пошевелиться.

Но страх его малу по малу прошел. Оцепенение, наступившее под первым впечатлением, сменилось порывом энергии. Заметив, что зверь опустил голову и начал пить, не обращая на него внимания, наш маленький герой набрался храбрости и стал благодарить Великого Вана, за его великодушие и благородство.

„Благодарю тебя Всесильный Ван,—громко кричал мальчик—за то, что ты пощадил меня, маленького китайченка, идущего освобождать отца, едиственного кормильца большой семьи! Ты знаешь, что я иду на смерть, но сердце мое не имеет страха! Если б ты меня умертвил, то отец мой погиб бы в плену и вся семья наша была бы обречена на голодную смерть! Ты мудр и справедлив, Великий Ван!“

Эта речь маленького смуглого человека заглушалась шумом и рокотом бурных волн речки, катящей свои быстрые струи по каменистому ложу.

Тем временем хищник, наслаждаясь и утоляя жажду, забыл о существовании ничтожного маленького существа, мелькнувшего перед ним, подобно пролетевшему мотыльку, или пробежавшему мимо мышенку.

Утолив жажду и освежив свою пасть, Владыка тайги перешел через речку, при чем набегавшие волны захлестывали его крутую широкую спину. Выйдя на берег, он стряхнул с себя воду и побрел по следам изюбря, пробираясь без шума сквозь заросли лиан и винограда.

Постояв еще немного на камне и проводив глазами удалявшегося зверя, маленький Ван перебрался через речку и быстро зашагал по тропе, приближаясь к фанзе старого Тун-Ли.

Семья хлопотливых голубых сорок встретила маленького путника громкими криками и хлопаньем крыльев. Для них эта фигура была незнакома и необычна. Долго еще, перелетая с дерева на дерево и перекликаясь, провожали они мальчика, пока он вышел на широкую поляну, посреди которой стояла одинокая старинная фанза зверолова.

Вечерело. Из недр тайги потянуло прохладой. Солнце спряталось уже за высокими хребтами и в глубине пади сгущался полумрак. Не слышно было звонкого стрекотанья цикад, только неугомонные кузнечики давали прощальный концерт на своих трескучих инструментах, в честь ушедшего на покой светила.

Услыша необычайное беспокойство сорок и ожидая появления путника на тропе, старый Тун-Ли вышел из фанзы и вперил свои зоркие глаза на опушку леса. Во рту его дымилась неизменная трубка и

синеватый дымок вился над его гладкой выбритой головой, украшенной тонкою седою косичкой.

Узнав в приближающейся фигуре маленького Вана, старый таежник не пошевелил даже бровью и суровое выражение каменного лица его оставалось неизменным.

Подойдя к старику вплотную, мальчик, по обычаю, сделал глубокий поклон и молча склонил голову.

Только после приветствия Тун-Ли, он ему ответил тем-же и между ними начался оживленный разговор.

Узнав о намерении маленького Вана, старик согласился с его доводами и выразил свое желание содействовать освобождению отца, с которым он был в дружеских отношениях.

„Это хорошо, что ты решил выручить отца,—говорил старый зверолов—ты уже большой и должен помогать семье. Если ты погибнешь, семья будет жить, если же погибнет отец—семья погибнет также. Выбора тут нет. Надо тебе итти и заменить отца. Что мать была против этого,—ничего нет удивительного: она женщина и рассуждает по своему, ты же мужчина и поступил правильно. Переночуешь у меня и завтра рано утром мы пойдем вдвоем к хунхузам. Может-быть мне удасться помочь беде и выручить вас обоих. Этих хунхузов я не раз выручал и был им полезен и думаю, что мое слово будет иметь значение в этом деле. Им невыгодно со мной ссориться, поэтому я почти уверен в успехе. Не печалься и не плачь. Этим горю не поможешь. Надо действовать. А пока идем в фанзу. Ты с непривычки устал и тебе необходим отдых, иначе завтра ты не дойдешь. До фанзы Та-Хайлингоу, где находится отец, не менее двадцати пяти русских ли, поэтому раздевайся и ложись спать, а тем временем я приготовлю чего нибудь поесть и подкрепиться. Поход предстоит тяжелый".

С этими словами Тун Ли и маленький Ван вошли в фанзу.

Пока старик возился у очага с приготовлением ужина и чая, мальчик снял свои улы, разлегся на теплой циновке кана и спал безмятежным сном юности.

В старой голове Тун-Ли бродили тревожные мысли, он не был вполне уверен в успехе своего ходатайства и изыскивал способы воздействия на хунхузов, для освобождения своего приятеля. Трубка его жалобно шипела, испуская клубы ароматного дыма, и на бронзовом лбу его легли суровые морщины глубоких дум, Когда ужин, состоящий из бобовой похлебки с мясом козули, был готов и закипел на очаге медный чайник, старый зверолов разбудил крепко спавшего мальчика.

Уничтожая с аппетитом горячую ароматную похлебку, маленький Ван рассказал старику о своих дорожных впечатлениях и о своей встрече с Великим Ваном.

Узнав об этом, Тун-Ли преобразился, морщины на лбу его разгладились и он засыпал мальчика расспросами об этой встрече.

„Чтоже ты мне сразу не сказал об этом? — кричал старик—ведь это очень важно и может сыграть большую роль в нашем деле! Это ведь не простой тигр, а сам Великий Ван! Если он пощадил тебя, то кто из смертных может наложить на тебя руку! Кто осмелится не исполнить волю Великого духа гор и лесов! Такого смельчака не найдется по всему обширному Шухаю! Я теперь уверен, что хунхузы не только пощадят тебя, но отпустят вас обоих с миром! Теперь ты, маленький Ван, находишься под покровительством Великого Вана, и

судьба твоя обеспечена в будущем! Счастлив ты и счастливы твои родители!"

Долго еще старый таежник говорил на эту тему и мальчик слушал его, затаив дыхание, боясь проронить слово.

Дверь фанзы была открыта и в нее вливался аромат девственной тайги и доносились звуки волшебной, сияющей таинственными фосфорическими огнями, ночи.

Блуждающие огни эти, в виде летающих светляков, прорезывали своими мгновенными вспышками непроницаемую тьму дремучего леса, как миниатюрные молнии, или искры электрической батареи.

Из глубины таежных дебрей доносились крики японского козодоя; ему вторили болотные совы и лесные эльфы, лягушки-древесницы.

За зубчатым гребнем Тигровой горы показался яркий диск луны и бросил свои бледные голубоватые лучи в темные недра лесов, на склоны скалистых хребтов, в пади и ущелья.

В одинокой фанзе зверолова, озаренной луной, потухли огни и крепкий сон спустился на крыльях ночи на веки ее обитателей. Тун Ли и маленький Ван спали рядом на теплых канах и обоим им снился чудный сон, навеянный песнями древней старухи-тайги и тихим шепотом листвы в вершине векового дуба, под могучей кроной которого стояла ветхая фанза.

На следующий день, едва только первые лучи восходящего солнца позолотили скалистые кряжи Тигровой горы, старик был уже на ногах и хлопотал у горящего очага с чайником.

„Вставай, вставай, маленький Ван!—тормошил он спавшего мальчика—солнце уже поднялось высоко и нам пора в путь-дорогу!

Пей чай да снаряжайся! Отдохнешь потом, когда кончим дело!"— Но маленького Вана не надо было подгонять, он заспался, вследствие чрезмерной усталости и напряжения. Все тело его болело и ноги распухли от ушибов и царапин.

Сбегав на речку и обмыв свои раны студеною водой, он быстро собирался в путь и был готов раньше старика, который долго еще копался по хозяйству, суетился, кряхтел и ворчал себе под нос непонятные таинственные слова.

Вскоре они вдвоем шагали по тропе, направляясь на юг, к подножью горы Татудинзы, конусообразная каменная вершина которой возвышалась над грядами темных лесистых хребтов, отрогов станового горного массива Лао-э-лина.

Тропа извивалась змеей по долинам горных ручьев и речек, пересекала крутые каменистые кряжи, терялась среди топких болот и кочкарников глубоких ущелий, взбегала на высокие горные перевалы и плоскогория.

Наши путники останавливались для минутной передышки в фанзах звероловов, где их встречали радушно и напутствовали добрыми пожеланиями.

Погода им благоприятствовала. Небо было ясно и солнце светило ярко, бросая свои редкие лучи в лесную чащу.

Дикие обитатели тайги попадались им на каждом шагу, но путники, стремясь к своей цели, мало обращали внимания на эти встречи и двигались безостановочно, имея перед собой, в виде маяка, вершину далекой Татудинзы.

В одной из фанз пришлось им задержаться, так как мальчик окончательно выбился из сил и до крови изранил себе ноги на ост-

рых камнях крутых гольцев и гранитных россыпях горных склонов.

После двухчасового отдыха и укрепляющего сна они снова зашагали по битой тропе и бодро подвигались вперед, приближаясь к заветной фанзе, расположенной в верховьях реки Хайлина.

Солнце стояло низко, когда они подошли к одинокому шалашу из кедровой коры, под навесом высоких береговых скал. Это был сторожевой пост хунхузов.

Навстречу путникам из шалаша показались хунхузы. Их было трое. В руках у них сверкали стволы винтовок; на груди крест на крест белели патронташи.

Еще издали они узнали старого Тун-Ли и приветствовали его поклонами. Узнав о цели его прибытия, они с любопытством стали рассматривать маленького Вана и удивлялись его смелости и геройству. Когда же им стало известно о встрече его с Великим Ваном, удивление их перешло в восторг и преклонение. Каждый из них старался оказать мальчику что нубудь приятное. Они наперебой угощали его папиросами, сахаром и сладкими пирожками. Отсюда путники, в сопровождении одного хунхуза, отправились в становище.

До главной фанзы, где стояли хунхузы, было не более пяти километров.

Через час Тун-Ли и маленький Ван, окруженные хунхузами, сидели в фанзе. Тут же, со связанными руками, находился отец мальчика.

Встреча отца с сыном была очень сдержанная, хотя мальчик и порывался броситься к отцу, но старый зверолов воспрепятствовал этому, из соображений чисто таежного сурового этикета, не допускающего внешнего выражения своих чувств и проявления душевных настроений.

Узнав, что мальчик явился для замены отца, хунхузы отнеслись к этому весьма сдержанно и осторожно; но известие о том. что сам Великий Ван пощадил его, произвело на них огромное впечатление. Они резко изменили свое отношение не только к мальчику, но и к его отцу, который сейчас же получил свободу, веревки на его руках были развязаны.

Посоветовавшись между собой, они объяснили пленнику, что никакого выкупа им теперь не надо, так как Великий Ван ясно выразил свою волю, которой они беспрекословно подчиняются.

Через полчаса, когда тихие вечерние сумерки легли на горы и леса и холодный туман окутал низины падей и болотистых лугов, у древней кумирни, на ближайшем горном перевале, совершалось моление Великому горному духу.

Все хунхузы, соседние звероловы и освобожденный пленник со своим сыном стояли коленопреклоненные перед алтарем кумирни.

Старый зверолов Тун-Ли произносил молитву, воздевая руки к вечернему небу, на котором загорались уже звездные огни.

«О Великий Ван!—говорил старик, обращаясь взором к далекой вершине Татудинзы, освещенной золотыми лучами заката,—мы здесь стоим перед тобой, покорно склонив головы, и приносим тебе благодарность за то, что ты пощадил нас, малых и ничтожных людишек! Твоя воля исполнена и пленник освобожден. Надеемся, что и в будущем ты не оставишь нас своим покровительством!»

Каждую фразу старик повторял два раза и ударял палочкой в чугунный колокол, висевший на ближайшем дереве.

Густые рокочущие звуки колокола уносились вдаль и горное эхо вторило им в скалистых ущельях Татудинзы.

Великий Ван прислушивался к этим звукам, лежа на выступе горного утеса, и в круглой лобастой голове его бродили свои звериные мысли. Он знал происхождение этих звуков; они его не беспокоили, так как люди его не интересовали и присутствие их не вызывало в нем никаких опасений.

Он потянулся, зевнул, расправил свои могучие члены, взглянул на темное небо, с искрящимися на нем звездами, и медленно, бесшумно двинулся вдоль хребта и исчез в чаще.

В тишине таежной ночи глухо рокотал чугунный колокол. Горы и леса Шухая дремали, чутко прислушиваясь к этим звукам, и тихий безмятежный сон обнимал уставшую землю.

Совершив моление у кумирни, хунхузы возвратились в свою фанзу.

Маленький Ван с отцом и старый зверолов, Тун-Ли, с рассветом покинули фанзу и направились к северу, в сторону Тигровой горы.

Каменная вершина Татудинзы, освещенная розовыми лучами утренней зари, едва виднелась в дымчатой пелене облаков, ночевавших у ее подножья.

Свежий бодрящий воздух был напоен ароматною влагой дыхания земли и растений.

Отдохнувшая природа просыпалась и шептала свою утреннюю молитву.

18. ЕДВА НЕ ПОГИБ.

Уменье ориентироваться, воспользоваться совокупностью данных, по которым человек может довольно точно определить свое место относительно стран света и окружающих предметов, в высшей степени важно не только для охотников и путешественников, но и для всех любителей природы, совершающих экскурсии, прогулки и поездки в лес, в горы и в степные пространства, лишенные населенных пунктов и путей сообщения. Существуют различные способы ориентирования, более или менее надежные, с которыми знакомят нас многие популярные руководства, потому говорить об этом здесь не будем. Моя цель—познакомить читателей со всеми печальными последствиями от неумения ориентироваться, и описать картину кошмарных переживаний заблудившегося человека.

Тайга Маньчжурии, в особенности в горно-лесном восточном ее районе, по своему характеру и обширности занимаемых ею площадей, напоминает девственные, неисходные сильвасы Южной Америки, со всеми опасностями диких, первобытных стран. Кто не умеет ориентироваться, не имеет практики и достаточного опыта в странствованиях по лесам и пустыням, тот почти наверное заблудится и погибнет, утонув в этом обширном зеленом океане, не имея никакой возможности выбраться из лабиринта тайги.

В полосе отчуждения КВжд известны многочисленные случаи гибели русских охотников, заблудившихся в диких горах и лесах. Только счастливый случай может спасти потерявшегося человека и вывести его из недр тайги к населенному пункту, или к линии ж. д. Зимою дело обстоит хуже, т. к. заблудившийся легко может замерзнуть, даже в непосредственной близости от дорог и людских поселений.

Случай, о котором буду говорить ниже, имел место на ст. Вейшахэ.

В начале сентября месяца ко мне приехал из Харбина на охоту некто К., молодой человек лет двадцати; здоровый и сильный на вид и довольно выносливый, он производил хорошее впечатление. На охоте по зверю он был впервые, хотя и охотился раньше на фазанов и уток вокруг Харбина и Ажехэ.

Погода была ясная и теплая.

Мы вышли с ним на рассвете 2 сентября, с 17 версты ветки Вейшахэ, к югу, направляясь к Тигровой горе и, дойдя до ее подножья, разошлись в стороны, с целью окружить эту гору и сойтись у южного склона.

В те времена там стояли нетронутые еще вековые кедровники, полные разнообразного зверя. Выйдя к полудню того дня к южному склону горы и убив там самца-изюбря, я ожидал своего товарища до позднего вечера, как было условлено.

Но его не было. На мои сигнальные выстрелы никто не отвечал. Тайга безмолствовала, как могила.

Наступила темная таежная ночь, которую я провел у костра, в ожидании прихода К.

Но он не пришел и на следующее утро. Оставив выпотрошенного изюбря на месте и прикрыв его еловыми лапами, я двинулся к северо-востоку, и, по долине Хамихеры, к 4 ч. дня был уже на ст. Яблоня, откуда поездом вернулся на Вейшахэ, в надежде найти там моего молодого компаниона. Но его небыло ни на станции, ни на 17 версте ветки.

Дело плохо. Взяв с собой с 17 версты двух русских охотников и китайцев с двумя лошадьми, на следующий день, т. е. 4 сентября, я отправился к Тигровой горе, к убитому накануне изюбрю. К нашему удивлению, от изюбря осталась только незначительная часть, т. е. голова с рогами и кости ног, все остальное было съедено тиграми.

Судя по следам, здесь похозяйничала тигрица с двумя тигрятами. Семейка эта спустилась с горы, наелась досыта и опять ушла к себе, в каменные трущобы. Китайцы, увидя следы тигров, в панике бежали, угнав лошадей на 17 версту ветки. Мы же с двумя охотниками бродили целый день по тайге, стреляли в воздух, в поисках пропавшего охотника и, к вечеру того же дня, вернулись на 17 версту ни с чем. Тайга также была безмолвна и только далекое горное эхо отвечало на наши сигнальные выстрелы.

Я стал сомневаться в благополучном исходе этой истории и дал в Харбин телеграмму родителям о пропаже сына. Явилось подозрение, что его забрали хунхузы, но у меня лично составилось убеждение, что молодой охотник сделался жертвою тигров, которых в той местности было много.

Так, в томительном и почти безнадежном ожидании, прошло еще пять дней и только 10 сентября мой товарищ по охоте отыскался. Его вывел из тайги зверолов, случайно встретивший К. верстах в 80-ти к югу от Имяньпо, в полусознательном, невменяемом состоянии.

Впоследствии, через год, когда молодой человек вполне оправился и пришел в себя, он мне прислал из Москвы заметки, где описывал свои воспоминания этого случая и свои переживания, насколько он мог воспроизвести их в своей памяти, после продолжительного и тяжелого нервного расстройства.

«После того, как мы с Вами разошлись на охоте,—писал мне молодой человек,—я двинулся на юг, обходя Тигровую гору, которая осталась у меня слева, вырисовываясь своей характерной вершиной на фоне безоблачного голубого неба. Я шел быстро, боясь опоздать к месту сбора, и вскоре вступил под темные своды кедровника. Гигантские деревья высились вокруг меня и тянулись к небу. Вершины их были так густы, что сквозь них я не видел уже вершины Тигровой горы и шел наугад, огибая ее подошву. В одном месте я видел медведя, разрывавшего корни сгнившего пня. Зверь меня не заметил и я побоялся стрелять, т. к. никогда до того не встречал медведей в лесу.

Я шел очень долго и мне все казалось, что я обхожу подошву горы. Компаса со мной не было и я не мог точно ориентироваться.

Я продолжал итти по темному кедровнику и только к вечеру понял, что взял неверное направление.

Мне казалось что я уклонился влево и я круто повернул вправо, перейдя вброд какую-то большую речку.

Солнце стояло низко. В кедровнике стало темно, как в могиле.

Надо было подумать о ночлеге.

Я выбрал развесистую старую ель и развел под ней ко-костер.

Сделав два выстрела из винтовки и не получив ответа, я приготовился провести долгую, жуткую ночь в тайге. Заснуть я не мог, мне казалось, что ко мне кто-то подходит, я слышал звук шагов, вскакивал, приготовляясь стрелять, пока не затихали шаги. Раздавались какие-то голоса и крики и я был все время в напряженном состоянии и с нетерпением ждал приближения утра.

Едва только рассвело, я был уже на ногах и продолжал итти по тому направлению, которое казалось мне правильным.

В кедровнике трудно распознавать страны света по стволам, я сбился и шел наугад. Жутко одному в диком, дремучем лесу! Я чувствовал свою полную беспомощность, несмотря на присутствие винтовки; но все же я тогда не потерял еще надежду выйти из леса. Я шел довольно бодро, останавливаясь для еды и отдыха. Со моой была ветчина и краюха хлеба.

Думая, что я иду к линии ж. д., я был довольно спокоен. Много раз мне пришлось переваливать горные хребты и переходить вброд речки. Я встречал на стволах деревьев затески, но не знал их значения и все шел вперед, ускоряя шаг, надеясь выбраться из объятий охватившего меня со всех сторон леса.

Много раз я встречал на своем пути зверей, но не произвел ни одного выстрела, т. к. пища у меня еще оставалась и я не чувствовал голода. Помню, в одном месте, переходя вброд речушку, я услышал плеск воды в зарослях, обернулся и увидел какого то большого зверя, стоящего на берегу и пьющего воду. Когда он поднял голову и повернул ее ко мне, я понял, что это тигр и, несмотря на страх, объявший меня, выбежал на другой берег и, в мгновение ока, взобрался на ближайшее дерево. Я сделал это почти машинально, не рассуждая.

Тигр долго наблюдал за мной, не сходя с места, затем фыркнул, медленно вышел из воды, тряхнул свои могучие лапы, и приблизился к дереву, на котором я сидел. Смерив меня своим проницательным, острым взглядом, он решил, очевидно, отдохнуть и улегся под деревом, положив свою большую, круглую голову на лапы.

Около часа я томился на дереве и неизвестно, чем бы все это кончилось, если-бы он продержал меня на дереве до вечера. Дело в том, что к речке на водопой пришли козули и тигр сразу преобразился, съежился, вытянулся и пополз. Я не успел опомниться, как хищник, сделав небольшой прыжок, схватил одну козулю и скрылся с нею в зарослях.

Выждав еще немного, я слез с дерева и пустился бежать, сам не зная куда, подальше от страшного места.

Сколько прошло дней моих скитаний по тайге, я не помню...

День шел за днем и ночь сменяла день, а я бродил, чувствуя что теряю рассудок, силы и энергию. Я громко разговаривал сам с собой и пел, и голос мой дико звучал под сводами дремучего леса. Я потерял винтовку, спички, изорвал обувь и одежду в клочья и рыскал, как дикий зверь, без цели, без мысли, без сознания.

В минуты просветления я приходил в ужас, бросался на землю, царапал ее ногтями и кричал, что было мочи, взывая о помощи, но,

угрюмая тайга была равнодушна и тихо шумела надо мной, и только дальнее горное эхо отражало мои дикие крики и вопли.

Мой ум помутился. Я становился страшен самому себе и бежал все вперед и вперд; падал, вскакивал и снова бежал, прислушиваясь по временам к голосам диких зверей, и вторя им диким, безумным воем.

Последние дни пребывания моего в тайге не удержались в моей памяти, т. к. сознание и разум тогда покинули меня.

Только смутно, как сквозь сон, мерещится мне убогая фанза зверолова, к которой я случайно подошел, увидев тусклый свет в ее бумажном оконце. Дальнейшее исчезло из моей памяти.

Я не помню, как вывел меня добрый зверолов к линии КВжд, как сдал меня на ст. Имяньпо в больницу, и как я очутился снова в Харбине, в доме родителей.

Я был серьезно болен нервным расстройством, и был увезен в Москву, где находился в психиатрической лечебнице.

Только теперь, по прошествии года, я вполне оправился и могу считать себя нормальным человеком, но вся психика моя резко изменилась и я чувствую свое духовное перерождение...»

Вот что писал мне из Москвы молодой охотник, легкомысленно углубившийся в тайгу, не имея элементарных сведений ориентировки, но слишком большой запас самоуверенности.

Прошло много лет с тех пор и многое изменилось. А старая, дремучая тайга все также шумит и поет свою дикую песню, не выдавая никому своих тайн, погребенных в глубине ее зеленых дебрей.

---

19. НОЧНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Тайга подернулась зеленоватым налетом ранней весны. Молодая листва и набухшие почки наполняли воздух пряным опьяняющим ароматом. Пробуждающаяся жизнь кипела в каждом атоме животного и растительного мира. Казалось, что земля, под горячими лучами весеннего солнца, дышит полной грудью, после долгого мертвящего сна суровой зимы.

Хоры разнообразных птиц наполняли воздух своим неумолчным гомоном. Это был гимн любви, в нем слышалась жажда жизни и могучий призыв творческих сил великой бессмертной природы.

На солнопеках, в дубняках южных склонов гор раздавались громкие голоса фазанов, им вторили тетерева, бормотавшие свои песни по лесным полянам, а юркие пестрые рябчики призывали самок характерным тонким свистом.

Солнце пряталось уже за лесистые кряжи высокого Тайпинлина, когда я, отягощенный добычей, спускался с хребта в глубокую падь, где и решил, заночевать у костра.

Все тело мое ломило от трудной, продолжительной ходьбы по горам и требовало покоя.

Разложив костер и вскипятив в котелке чай, я кейфовал и наслаждался отдыхом, прислушиваясь к звукам чудной весенней ночи. Но недолго пришлось мне нежиться у веселого огонька. Темная таежная ночь была коварна и полна смертельных опасностей.

Внезапно раздался сухой винтовочный выстрел и пуля, жужжа и тонко посвистывая пролетела над моей головой. В мозгу моем как молния, блеснула мысль о спасении и я, быстро захватив все свои монатки под мышку, юркнул в темноту обступивших меня кустов. В это время раздался второй выстрел и пуля ударила в костер, разбросав угли и головешки, подняв столб трескучих искр. Третья пуля также угодила в костер, но я, находясь уже вне обстрела, быстро подвигался по кустам, карабкаясь в гору и стараясь не производить ни малейшего шума.

Вскоре я стоял на гребне каменистого хребта, откуда виден был мерцающий огонек моего костра. Я знал, что люди, стрелявшие в меня, выйдут к костру, и не ошибся. Не прошло и десяти минут, как на красноватом фоне костра появились темные фигуры вооруженных людей. Винтовки у них были на готове в руках. Подойдя вплотную к костру, они начали тщательно исследовать землю вокруг него, ища мои следы. Убедясь, что у костра был всего один человек, они успокоились и расположились вокруг него. Сверху мне было хорошо видно все и я мог наблюдать за всеми их движениями.

Это были хунхузы, но не «настоящие», т.-е, не организованные, а так-называемые «бродяги», т.-е. попросту говоря, мелкие воры и грабители. Настоящие хунхузы никогда не тронут одинокого охотника. Поэтому я считал себя счастливым, что избежал большой опасности. Бродяг было восемь человек и будь у меня винтовка, я мог бы легко

перестрелять половину, но, к сожалению, со мною был дробовик, а расстояние до костра равнялось 600 шагам!

Посидев немного на перевале хребта, я перекинул через плечо связку битых фазанов и тетеревей, пустился в дальнейший путь, намереваясь к рассвету дойти до зимовья, где оставались мои товарищи по охоте.

Движение по зарослям тайги в темную ночь затруднительно.

Камни, бурелом, чаща густого подлеска, перепутанная лианами и виноградом, перегораждают путь. Колючки и сухие ветки рвут одежду и угрожают целости глаз.

До зимовья, расположенного в одном из распадков верховьев Сяо-Суйфуна, было не более десяти километров, но только к рассвету я добрался до него, весь изодранный и исцарапанный.

Битая птица, так надавила мне плечи, что к ним нельзя было притронуться и черный кровоподтек долго еще напоминал мне об этой охоте.

Бобошин, узнав какой опастности я подвергался, решил примерно наказать хунхузов и расправиться с ними по таежному.

„Око за око и зуб за зуб!—" объявили мои компанионы и наскоро собравшись поспешили по следам хунхузов, руководствуясь моими указаниями.

Хунхузы всегда ходят по тропам и никогда не передвигаются целиной, поэтому охотникам не трудно было найти их следы и преследовать их по пятам.

Моими компанионами по охоте были известные здесь промышленники, Бобошин и Кулешев, с которыми я не раз добывал зверя и птицу.

Солнце высоко стояло в небе, когда я с винтовкой за плечами снова покинул уютное наше зимовье и направился на солнопеки соседнего хребта, с целью добыть козулятины, т. к. запасы мяса у нас к тому времени истощились.

Не успел я подняться на первую террасу, как увидел в полугоре, шагах в четырехстах, группу козуль в пять штук. Ближе ко мне стоял старый козел. Он почуял опасность и беспокойно топтался на месте, прядая ушами.

Самки следили за его движениями и поднялись со своих лежек, готовые к бегству. Ближе подходить не было возможности и я пустил пулю в козла. Он упал на бок, но затем быстро оправился и стал медленно удаляться по дубовым зарослям. На месте боя видны были следы крови. Судя по темному ее цвету, рана была тяжелая. Не желая терять добычу, я быстро пошел по кровавому следу и заметил, что козел часто ложится. Самки ушли далеко в другую сторону. Я знал, что добыча от меня не уйдет и замедлил шаги, надеясь, что козел скоро ляжет окончательно. Крови на следу становилось все меньше и меньше и наконец, спустясь в глубокую падь, покрытую кустами, я потерял следы зверя. Я остановился и стал прислушиваться и всматриваться в чащу, в надежде увидеть лежащего козла. Фазаны кричали вокруг и один храбрый петух выбежал на полянку и, хлопая крыльями, запел свою любовную песню. Увидев меня, он присел от неожиданности, затем, поняв опасность, пустился наутек и быстро исчез в зарослях.

Следов козла не было и я стоял в нерешительности. Но вот, до слуха моего достиг какой-то странный звук, не то хрипа, не то вор-

чанья зверя. Ближайшие фазаны после этого как-то сразу замолчали и наступила тишина. Ворчанье перешло в заглушеный рев.

Я направил взоры в сторону звука и увидел в неглубокой ложбинке, шагах в шестидесяти от меня, большого желтовато-белого зверя, прильнувшего к земле и гипнотизирующего меня своими зелеными искрящимися глазами. Длинный пушистый хвост его вздрагивал и мотался из стороны в сторону. Уши зверя были прижаты к плоской змеиной голове. Передо мной был леопард. Все его движения и поза говорили за то, что он готов к нападению и молниеносному прыжку. Времени терять было нечего, и я, поймав на мушку голову хищника, спутил курок. Щелкнул выстрел и зверь поднялся было на ноги, но затем грузно отвалилсл на бок и захрипел, содрогаясь в предсмертной агонии. Выждав полминуты, чтобы зверь окончательно „дошел", я приблизился к нему и не мало был поражен, увидев, под ним козла, раненного накануне мною. По всей вероятности хищник нашел его умирающего и воспользовался легкою добычей, но вместе с тем и сам поплатился своей шкурой.

Я с удовольствием гладил мягкий пушистый мех огромной кошки и любовался его красивым рисунком, состоящим из черных пятен и розеток на светлом фоне спины и боков.

Это был великолепный экземпляр маньчжурского леопарда, уступающего величиной тигру, но превосходящего его свирепостью и кровожадностью. Длина его равнялась 260 сант. Взвешенный на ст. Сяо-Суйфын, он потянул 100 килогр.

Выпотрошив обоих зверей и забросав их листьями и валежником, я отправился назад в зимовье, в надежде застать там моих обоих товарищей, но ошибся: мне пришлось ожидать их до вечера.

Узнав, что мне посчастливилось добыть барса и козла, они вызвались доставить их в зимовье волоком, что и было исполнено ими с поразительной быстротой!

Коротая весеннюю ночь у костра, мы вели нескончаемые беседы и рассказывали друг другу случаи из нашей таежной жизни, полной опасностей и захватывающего очарования.

О преследовании хунхузов приятели мои что-то помалкивали и, придерживаясь таежной этики, я их не расспрашивал; но, в конце концов, Бобошин рассказал мне подробно обо всем, при чем выяснилось следующее: хунхузы были настигнуты на тропе, вскоре после оставления ими места ночлега, и перебиты все до одного, в доказательство чего охотники принесли с собой правые уши хунхузов.

Впоследствии случай этот, уничтожения всей шайки грабителей двумя русскими охотниками, одобрен был общественным мнением таежных обитателей и поступок их признан был логичным и необходимым, и весть об этом распространилась далеко, по обширным лесам зеленого Шухая.

Неумолимый закон тайги не был нарушен и первобытное правосудие не пострадало. Великий Горный Дух был спокоен и мирно почивал в своем каменном чертоге.

---

20. В ЛОГОВИЩЕ ТИГРА.

Кругом обступили угрюмые, лесистые горы; зубчатые гребни их резко выделялись на фоне голубого маньчжурского неба.

Жгучее июльское солнце скрылось уже за темною громадой Тигровой горы. Жара спала. Вечерние таежные тени легли на склоны сопок; далекие силуэты Чжан-Гуан-Цай-лина подернулись фиолетовой дымкой.

Одинокий барак рабочих лесной концессии, затерянный в глубине враждебной, дикой тайги, ожил, зашевелился, стряхнув с себя мертвящую полуденную дрему, с приходом и возвращением дровосеков, окончивших свою трудную, утомительную работу, по разработке тайги, нетронутой еще рукой человека.

После скудного обеда, состоящего из лапши, чумизы и соленой рыбы, китайцы улеглись спать на своих жестких постелях и только немногие возились еще с починкой инструмента и примитивной обуви.

В бараке стало душно и я вышел освежиться, но не тут-то было: тучи комаров и москитов бросились на меня с остервенением, так что я принужден был спустить на лицо, завязанную на голове, сетку. Но это мало помогало, так как несносные, едва заметные, кровопийцы все же умудрялись залезать под сетку и кусали пребольно.

В это время подошел ко мне один из рабочих-китайцев, отвел немного в сторону и шопотом начал объяснять, что недалеко от барака, верстах в пяти, в каменистых россыпях Кокуй-Шаня, он видел логовище тигрицы и в нем одного тигренка, величиной с кошку, но просил никому об этом не говорить, иначе его товарищи могут за это убить.

Тигр и его гнездо, по понятиям местных китайцев, неприкосновенны, в силу известного древнего культа.

Пообещав рабочему значительную денежную награду, я уговорил его итти со мной на следующий день за тигренком. После небольшого раздумья, он согласился и мы условились отправиться к логовищу немедленно, чтобы выиграть время и выследить зверя. Предприятие очень рискованное, чтобы не сказать больше.

Через полчаса мы, вдвоем с китайцем, шагали уже в глубину тайги, пробираясь через густые заросли дикого винограда и актинидий, переходя в брод быстрые горные потоки, направляясь к западу, где в туманной мгле наступающего вечера, вырисовывалась на темнеющем небе скалистая вершина Тигровой горы.

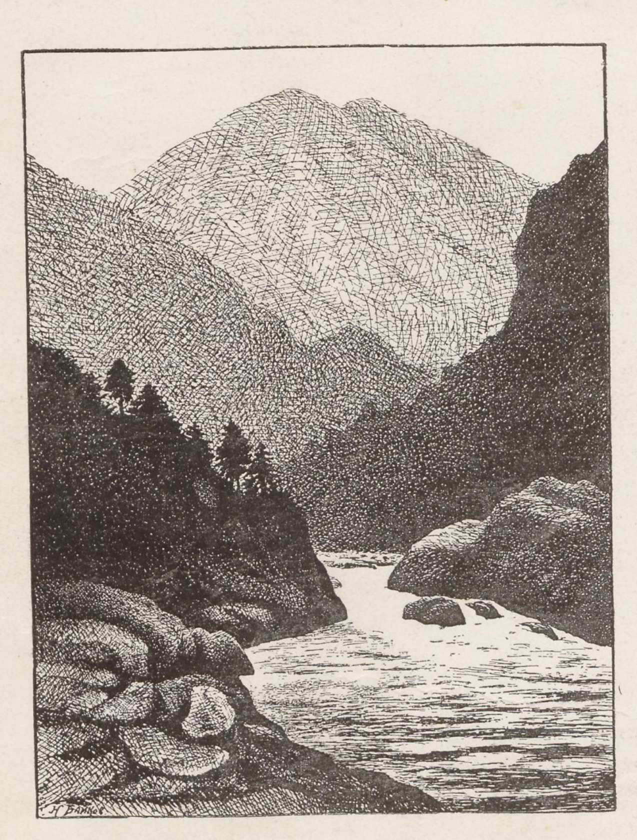
Сырая, неприветливая тайга приняла нас в свои объятия, сомкнулась над нами и запела свою дикую песню.

Ночь наступила быстро.

Непроглядная тьма окружила нас.

Итти дальше не было возможности. Где то, вблизи, шумел по каменистому ложу горный ручей; мы подвинулись еще немного и расположились в глубокой пади, у самого ручья, под развесистой кроной старой ели.

Пятнистые олени Ю. М. Янковского.



Тигровая гора. Верховья р. Хамихеры.

След тигра.

Не скоро запылал веселый огонек наш,—летом в тайге Маньчжурии сыро и глухо. Постоянные дожди и влага, приносимые муссонами, порождают обилие воды везде, даже камни пропитываются ею насквозь, не говоря уже о рыхлой почве. Такое обилие влаги и высокая температура вызывают гигантский рост и развитие растительности. Густой подлесок и масса вьющихся растений делают тайгу Маньчжурии трудно проходимой.

По словам китайца, логовище тигрицы находилось именно среди таких зарослей, в скалах, в версте от того места, где мы остановились на ночлег. Опытная рука катайца-таежника все же победила влагу и сырость, и приветливый огонек осветил таинственную чащу леса. Походный котелок закипел быстро и, наскоро напившись чаю с сухарями, мы приготовились к ночлегу, наломав еловых лап и папортников для постелей.

Чтобы хоть немного избавиться от мошкары, мы устроили дымокур из сырого мха и листьев.

Несмотря на жар от костра, сырость пронизывала и дрожь забиралась под рубаху. Я лег на свою козью шкурку, завернулся в полотнище походной палатки и начал засыпать, но впросоньи все же видел неподвижную фигуру своего проводника, сидевшего скрестив ноги у огня. Во рту дымилась неизменная трубка и глаза его устремлены были на пламя костра.

О чем думал этот полудикий сын девственных лесов Маньчжурии? В его глубоких черных зрачках вспыхивал и снова потухал какой-то огонек; тонкие ноздри вздрагивали, но темнобронзвое лицо было неподвижно, как у каменного сфинкса; казалось, что оно чуждо страстей и волнений и равнодушно ко всему окружающему, но это только казалось.

Тихая таежная ночь. Шум ручья на дне ущелья один нарушал ее торжественную тишину, да изредка ухал филин-пугач где то в глубине лесных дебрей. Когда я заснул,—не знаю.

Под утро я проснулся и увидел все ту же неподвижную фигуру проводника Ван-тина, сидящего на корточках, с трубкою в зубах.

Заметив, что я проснулся, он выколотил пепел из своей трубки и невозмутимо проговорил:

«Вставай, капитан, пора итти на поиски: солнце скоро покажется!»

На востоке небо порозовело; приближался рассвет.

Мы бысто собрались, выпив из котелка остатки холодного чая, и двинулись в путь, в вершину ручья, у которого ночевали. Шли в полумраке. Впереди—китаец, я—за ним, держа винтовку наготове.

Медленно, шаг за шагом подвигались мы вперед, перелезая через камни, пробираясь сквозь густые заросли винограда. Часто приходилось ползти на четвереньках, останавливаться и прислушиваться.

Когда мы подходили к тому месту, где должна была быть берлога тигрицы, рассвело совершенно, тайга ожила и запела разнообразными голосами птиц. Вершина Тигровой, как бы сотканная из каменных кружев, озолотилась первыми лучами восходящего солнца. Наступал жаркий июльский день.

Приближаясь к берлоге, мой проводник все чаще припадал к земле, всматриваясь в следы; в одном месте он указал мне на болотистый грунт, где ясно отпечатывались круглые кошачьи следы большого тигра.

До логовища оставалось всего каких нибудь 200—300 шагов. Мы остановились и стали прислушиваться.

Ни один звук не нарушал тишину дремучего леса; только неугомонные дятлы перекликались и долбили кору полусгнивших деревьев.

Впереди, перед нами возвышалась из зарослей одинокая гранитная скала, метров пяти высоты; к ней прислонился ствол вырванной бурей липы. Китаец что-то соображал, смотря на эту липу, и приняв решение, поманил меня пальцем следовать за собой.

Подойдя к стволу липы, он быстро, как обезьяна, взобрался на скалу и оттуда производил наблюдения. По выражению его лица и жестам я понял, что он что-то видит. Затем он пригласил меня влезть за ним на скалу.

Очутившись рядом с ним, я стал всматриваться по направлению его руки в заросли и, после значительных усилий, увидел логовище зверя под нависшею скалой; со всех сторон оно было закрыто камнями и сплошною стеной из зарослей дикого винограда и лиан. В глубине логова что-то шевелилось, но что именно, разобрать было трудно. Расстояние до него было не менее 200 шагов. Китаец уверял, что тигрицы нет и в гнезде только один тигренок, к чему я отнесся недоверчиво, так как, обыкновенно, тигрица приносит двух детей и даже трех; но Ван-тин настаивал на своем и был прав, как я потом убедился.

Действительно, матери, повидимому, не было и детеныш оставался один в берлоге.

Надо было что-нибудь предпринять. Я предложил своему проводнику итти со мной к берлоге. Сначала он отказался, но потом согласился. Единственное свое оружие—маленький топорик, он вынул из-за пояса, попробовал пальцем его остроту и произнес: «Син!» Китаец был уверен, что тигрица отправилась за кормом и вернется только к полудню, чем и объяснялось его согласие итти к логовищу.

Осторожно спустившись со скалы, мы двинулись к зарослям, в которых скрыта берлога.

Решив взять тигренка, мы должны были действовать быстро и энергично. На всякий случай, я из барака захватил с собой пустой мешок, для поимки звереныша.

Подойдя вплотную к логовищу мы услышали тонкое, жалобное мяуканье. Заметив нас, тигренок бросился внутрь и, прижавшись к стене, взъерошил шерсть, шипел и, повидимому, находился в отчаянии.

Накинуть на него мешок было делом одной секунды.

Очутившись в мешке, малыш сразу притих, перестал сопротивляться и позволил скрутить себя и взвалить на плечи.

Во время всей этой процедуры, которую с успехом выполнил Ван-тин, я стоял у входа в логовище и держал винтовку наготове.

Мешкать не приходилось и мы, сделав дело, бегом пустились вниз по ручью.

Движение наше скорее походило на бегство. Не обращая внимания на заросли, бурелом, камни, попадавшиеся по пути, мы спешили поскорее выбраться на лесовозную дорогу, пролегавшую в пади и выходящую на реку Хамихеру. Там мы считали себя уже в безопасности, так как следы наши смешивались со следами обозов, идущих по дороге на станцию Яблоня.

Солнце пекло немилосердно.

Было душно и мы, обливаясь потом, быстро шагали по накатанной дороге, вдоль реки Хамихеры, постепенно замедляя быстроту и изнемогая от усталости.

Тигровая гора хмурилась и заволакивалась темными тучами. Слышались далекие раскаты грома. Гроза приближалась. Вершины таежных великанов зашумели и крупные капли дождя забарабанили по листве.

Вскоре хлынул ливень. Казалось, что самое небо разверзлось и оттуда льют потоки воды. Ручьи быстро превратились в бурные реки и неслись стремительно вниз по камням и скалам, сметая все на своем пути. Старая, угрюмая тайга ревела, как дикий зверь, потревоженный в своем логове.

Дойдя до фанзы знакомого зверолова, на берегу западной Хамихеры, мы зашли в нее и только тогда имели возможность передохнуть и обсушиться. Наш пленник не подавал признаков жизни и сидел в мешке, как говорится, ни жив, ни мертв. Вероятно, от неожиданности и страха он временно был парализован. Выпустить его из мешка было рисковано и я решил донести его, в таком виде, до станции. Зверолова в фанзе не оказалось и мы расположились в ней самостоятельно, хозяйничая, как у себя дома. Погони мы уже не опасались, так как знали, что обоняние у тигров неважное, к тому же прошедший ливень смыл все наши следы в тайге.

Не прошло и получаса, как выглянуло опять горячее солнце, небо очистилось от темных туч; воздух освежился и наполнился чудным ароматом хвои, цветов и смолистых почек.

Ван-тин занялся приготовлением чая, а я залюбовался открывшейся передо мной панорамой Тигровой Горы, занявшей пол-неба и нависшей, словно туча: над окрестными сопками и лесами. Ажурная, как кружево каменная вершина ее сливалась с фоном голубого неба и, действительно, по форме своей напоминала котел, откуда и получила свое китайское название «Кокуй-Шань».

В ясную погоду ее вершина видна на далекое расстояние, в особенности с севера, в некоторых пунктах километров на 100, например, из города Сансина.

С горой этой у местных китайцев связано не мало легенд и сказаний, приуроченных к культу тигра, жэнь-шэня и таинственной птицы Цяо-р, крики которой часто можно слышать в мае месяце в таежных районах Гориньской провинции.

Маленький хищник, взятый нами в плен, попрежнему сидел смирнехонько в мешке и не подавал признаков жизни, затаившись в своем тесном убежище.

Красавица Хамихера, набухшая от дождя, бесновалась, как зверь, в своем каменистом ложе и несла свои мутные воды на север. Тихо шумела старая тайга и в зарослях речной уремы неистово трещали цикады.

21. ЗАКОН ТАЙГИ.

В настоящем очерке я хочу поделиться с моими читателями своими впечатлениями и переживаниями на зверовой охоте в дремучей тайге Маньчжурии. Описанный случай имел место во время пантовки, когда за охотником, добывающим драгоценные панты, охотится двуногий хищник и выслеживает его, как дикого зверя.

Был июнь; тайга оделась уже в свой летний зеленый убор и благоухала множеством разнообразных красивых цветов, пестревших на ее свежем изумрудно-бирюзовом фоне. Ультрамариновое небо опрокинуло над разукрашенной землей свой глубокий купол.

С раннего утра, едва только золотые лучи восходящего солнца осветили вершины скалистых гор и ночная роса стала испаряться с листвы и травянистых зарослей, я вышел на свой, заранее устроенный, солонец и увидел на взрытой и как бы вскопанной поверхности его свежие следы самца изюбря, приходившего ночью глодать влажную, пропитанную солью, землю. Судя по следам, зверь был очень крупный, что давало возможность предполагать наличие ценных полновесных пантов. Найдя выходной след изюбря, я двинулся по нему, соблюдая крайнюю осторожность, в виду чрезвычайной чуткости зверя. Солонец мой находился на седловине горного перевала, на месте постоянного хода изюбрей.

Отсюда зверь всегда шел вдоль хребта по косогору, поднимался на горный выступ, заросший редким дубняком, и там ложился на отдых, выбирая лежку в таком месте, откуда он мог видеть далеко во все стороны. В этот раз изюбрь направился на этот же выступ, и я медленно, шаг за шагом шел за ним, стараясь держаться против ветра, чтобы острое обоняние зверя не выдало меня.

У самого подножья выступа я присел на камень, чтобы отдохнуть, немного успокоиться и построить дальнейший план скрадывания зверя, следы которого ясно отпечатывались на мягком, сыром грунте болотистого распадка. Но, всматриваясь в следы изюбря, я различил ясные следы человека, прошедшего не более получаса тому назад у края подножья. Следы эти пересекали след зверя и направлялись в сторону, в вершину распадка. Сразу настроение мое изменилось. В сердце забралась какая-то тревога и внимание, посвященное зверю, раздвоилось. В голове невольно мелькнула мысль: «кто прошел?» Враг или друг? От этого зависело все. Идет ли он за изюбрем, или охотится за мной и наводит меня на засаду? Отказаться от охоты не хотелось: уж очень заманчива была добыча. Я решил продолжать охоту, но удвоить осторожность и все время быть «на чеку».

На следу ясно отпечатались закругленные подошвы китайских ул, но обладатель их мог быть и не китаец, так как многие русские про-

мышленники летом и осенью надевают улы. След был только один, что меня немного успокоило, так как с одним хищником я надеялся справиться. Посидев на камне около часу и выждав время, я двинулся опять по следам зверя, часто останавливаясь и прислушиваясь. Малейший звук в тайге улавливало мое ухо. Я слышал биение своего сердца, шелест муравья в сухой опавшей листве и полет махаона среди ветвей и сучьев окружающих меня дубов. Другие звуки, несвойственные тайге, не достигали до моего слуха. Таким образом я поднялся по косогору на выступ, расчитывая на нем увидеть отдыхающего зверя.

Предположения мои оправдались. На совершенно чистом месте косогора лежал изюбрь, задом ко мне. Голова его была поднята и великолепные толстые панты, о четырех концах с утолщениями, мотались из стороны в сторону. Этим движением зверь отгонял надоедливых мух, садившихся на нежные, чувствительные рога. Челюсти его шевелились: он пережевывал жвачку. Длинные уши то подавались вперед, то откидывались назад и находились в постоянном движении. Глаза были полуоткрыты, но он не спал, а только дремал, имея надежную недремлющую стражу, в виде двух своих прекрасных сообщников слуха и обоняния: им он доверяется и на них полагается во время сна и отдыха. Хотя мозг его в это время и бездействует, но тем не менее моментально реагирует на малейший подозрительный звук или запах и в один миг становится способным к обороне, нападению или бегству. До зверя было не более ста метров, но желая дать верный выстрел, я подполз к нему еще на пятьдесят метров и остановился, когда изюбрь перестал жевать и мотать головой, направив уши назад, в мою сторону. Глаза его были еще полуоткрыты, и он очевидно дремал, но барабанная перепонка ушей уже била тревогу. Я чувствовал, что зверь должен вскочить. Время терять нельзя.

Приподнявшись на одно колено, я стал прицеливаться в могучую массивную шею зверя и спустил курок трехлинейки.

Сухой звук винтовочного выстрела нарушил тишину тайги и зарокотал в далеких падях и ущельях. Изюбрь вскочил на ноги, сделал небольшой прыжок вперед и свалился на бок, конвульсивно дергая задними ногами и ломая ими кустарник и колючие стволы „чертова дерева». В последний момент скрадывания зверя я совершенно забыл о неприятной встрече следов человека, всецело отдавшись охотничьей страсти, и только теперь, свалив зверя, вспомнил о них, и у меня, как молния, блеснула мысль о засаде.

Не подходя к убитому изюбрю, я присел на корточки и подполз под густые заросли винограда и актинидий, откуда мог наблюдать всю местность передо мной шагов на двести. Изюбрь затих окончательно, и снова наступила прежняя тишина. Комары и москиты набросились на меня с остервенением и кусали немилосердно в лицо, шею и руки, но надо было терпеть и выжидать событий.

Прошло таким образом около получаса; тайга была все так же безмолвна, и только мириады микроскопических кровопийц, почуя легкую добычу, жужжали вокруг меня, испытывая мое терпение и силу воли. Но всему бывает конец, даже терпению и самопожертвованию; я приходил уже к неистовому отчаянию и, наконец, не будучи в состоянии переносить пытки и истязания комариной инквизиции, выполз из зарослей, встал и направился к лежащему изюбрю.

Не успел я сделать и пятьдесят шагов, как раздался где-то поблизости резкий винтовочный выстрел, и одновременно над моей головой посыпались обломанные и срезанные пулей ветки и листья. Где то сзади меня пуля впилась в ствол дерева, характерно при этом щелкнув. В одно мгновение я понял всю опасность своего положения и бросился в ближайшие заросли, где мог укрыться от взоров противника. Виноградная лоза и лианы, опутавшие своею листвой ветви дуба, позволили мне встать во весь рост. Сквозь чащу я наблюдал за тем местом, откуда направлена была в меня предательская пуля, и, после тщательных поисков в имевшийся у меня бинокль Цейса (8 крат.), ясно различил стволом винтовки, выставившийся из-за ствола дерева. Всмотревшись пристальнее, я мог совершенно точно определить положение правой руки, держащей винтовку. Туловище и голова бандита были скрыты за стволом дерева. Очевидно засада была устроена специально против меня, с целью воспользоваться драгоценными пантами. Я понял, что меня скрадывали, как зверя. Теперь для меня стало ясно, что один из нас должен погибнуть, и это неизбежно и бесповоротно. Комары и москниты снова бросились на меня и жалили отчаянно, но мне было не до них, я только по временам стирал их с лица, когда они лезли в самые глаза и мешали смотреть. Я весь превратился в зрение. Судя по положению, моя позиция имела преимущества, в смысле наблюдения, противник же мой не мог показать носа из-за своего закрытия.

Ствол дерева, за которым он стоял, был не велик и, по моим расчетам, мог быть пробит пулей насквозь.

Эта мысль сразу осенила меня и я перезарядил свою винтовку обоймой с целыми неразрезанными пулями. Голова из-за дерева не показывалась. Прошло, вероятно, полчаса после выстрела, и я, тщательно прицелившись в середину ствола дерева, на высоте груди, нажал на спуск. Грянул выстрел. Опустив винтовку, я стал снова наблюдать в бинокль, но ни ствола ружья, ни руки на прежнем месте не было, и никаких признаков присутствия человека. Тишина не нарушалась ни одним звуком. Постояв еще немного, я решил передвинуться по зарослям вправо, чтобы изменить точку наблюдения. За стволом дерева никого уже не было. Все же, не доверяя кажущемуся спокойствию, держа винтовку наготове, я стал подползать сбоку к дереву, за которым скрывался бандит, и, не доходя до него шагов десять, увидел человека, пораженного моей пулей, пронизавшей древесный ствол. Это был китаец, повидимому хунхуз. Он лежал навзничь, раскинув руки. Винтовка его (берданка) лежала тут же. Талию его стягивала белая лента с патронами. У пояса висел кривой нож в ножнах из змеиной кожи. Черная коса выбилась из-под синего платка, обвязывавшего голову, и блестя извивалась, как змея в примятой траве. Крови не было видно нигде, только на груди, в области сердца заметно чернело пятнышко по калибру пули. На вид ему было не более сорока лет. Телосложение очень крепкое. Переживания мои трудно описать, это надо испытать самому. Скажу только, что в те минуты я испытал некоторое удовлетворение, сознавая, что вместо убитого хунхуза я мог бы так же лежать на траве с раскинутыми руками. Но, к счастью для меня, судьба решила иначе. Приговор таежного „правосудия“ был приведен в исполнение. Убитый хунхуз все же был человек, а потому, нарубив веток и сучьев, я завалил ими труп, а сверху на кучу хвороста положил тяжелые камни. Вырубив у изюбря пан-

ты, вместе с частью лобной кости, и привязав их сзади к ранцу, я двинулся через хребты на линию железной дороги, до которой было не менее тридцати километров.

Солнце перевалило уже за полдень и пекло основательно. Парило. Тайга притихла. С юго-востока надвигались темные клубы грозовых туч. Слышались далекие раскаты грома. Я быстро шагал по тайге со своей драгоценной ношей, избегая дорог и тропинок, где можно было ожидать нежелательных встреч с человеком. Радуясь избавлению от стремительной опасности, я приближался к линии, улавливая напряженным слухом далекий и близко-знакомый свисток паровоза.

---

22. ЗВЕРОБОИ.

В тишине глухой тайги прозвучал далекий винтовочный выстрел. Я насторожился и стал прислушиваться. Собака моя, ушедшая по свежему следу кабарги, возвратилась и, ворча, начала втягивать в себя воздух, вопросительно посматривая на меня своими умными карими глазами. Я погрозил ей пальцем в знак молчания; умное животное, казалось, поняло, помахало закрученным на спину хвостом и спокойно уселось около меня на снег, предварительно потоптавшись на одном месте.

Я стоял на обрывистом гребне скалистого хребта, у большой каменистой россыпи, где выслеживал кабарожек вместе со своим помощником, черною лайкой Сибирлетом.

Кругом на десятки клм. синели, уходя в туманную даль, горные отроги Цайлина, покрытые темными, дремучими кедровниками.

Внизу, в глубине пади, сквозь темные вершины таежных великанов белела извилистая лента речки Хай-лин-хэ, называемой здесь Шихо.

Тихо было в горах, только большой черный дятел жалобно кричал, звучно ударяя крепким клювом по корявому стволу сухой березы.

Вверху синело глубокое небо; быстро неслись по нем перистые облачка, предвещая завтра снежную, ветреную погоду.

Долго я стоял, прислушиваясь к звукам леса, но ничто не нарушало его торжественную тишину.

В этих местах бродили хунхузы, и надо было узнать, кто стрелял, чтобы самому не попасть им неожиданно в лапы.

Осторожно, прыгая с камня на камень, останавливаясь и прислушиваясь, я стал спускаться вниз по косогору на звук выстрела. Сибирлет шел впереди меня и вскоре, почуяв кого-то, глухо заворчал. Я остановился и из-за ствола гигантского кедра старался высмотреть предполагаемого врага; но лесная чаща была безмолвна и не выдавала своих тайн.

Сибирлет, поводя чутким носом по сторонам, крадучись пошел вперед. Прошло минут десять, собака остановилась шагах в полутора раста и замерла, изредка взлаивая. Поблизости был человек, но ничто не обнаруживало его присутствия.

Могильная тишина царила в тайге, и в этой тишине чувствовалось что-то тревожное, зловещее.

Всматриваясь пристально вперед, я начал различать на белой коре толстой березы черную полоску ружейного ствола и образ головы незнакомого и неведомого охотника.

Закон тайги суров и беспощаден и требует полного внимания и бдительного наблюдения за всем вокруг, иначе гибелью грозит каждое закрытие, и неожиданный враг готов уже послать смертельную пулю.

Сибирлет открыл незнакомца и лаял на него.

Надо было на что-нибудь решиться—я крикнул громко и, позвав собаку, вместе с тем держа винтовку наготове, двинулся вперед.

Из-за ствола березы показалась фигура человека; винтовку он держал в обоих руках и сейчас же опустил ее, когда я подошел к нему вплотную и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!—ответил незнакомец.

Передо мной стоял молодой человек, повидимому русский. Он был среднего роста, строен и широк в плечах. Длинные русые волосы видны были из-под меховой рысьей шапки. Окладистая темная борода и небольшие усы обрамляли смуглое, загорелое лицо. Небольшой, но правильный нос и резкое очертание тонких губ придавали выражению его лида изящество и благородство. Выпуклые голубые глаза смотрели смело и даже сурово.

— Вы тоже охотитесь?—спросил он меня после минутного молчания.

— Охочусь, — ответил я: — искал кабаргу, но вы, кажется, ее уже убили?

— Да убил, вон, она лежит там у камня. Я, было, начал ее свѣжевать, да заметил вас и решил удостовериться, с кем имею дело... Ну, будем знакомы. Моя фамилия Васеловский, имя Александр, а по батюшке Иванович!—с этими словами он протянул мне свою небольшую, но крепкую руку.

Я назвал себя.

— Хорошая собачка у вас,—проговорил он, продолжая прерванное занятие свежевания кабарги:—с этой собакой в тайге не пропадешь!—

Сняв кожу с животного, он вырезал у него на брюхе мускусный мешочек, завернул его в газетную бумагу и спрятал в боковой карман своей куртки, сделанной из оленьей кожи.

— Здесь много этого зверя; вот уже третьего беру в этих камнях. Китайцы промышляют его петлями и силками, но я не люблю такой охоты, лучше промышлять ружьем,—кто не ленив, тот имеет свою выгоду.—

С этими словами он окончил обделку туши, сложил мясо и красивую пеструю шкуру в мешок, закинул его за плечо и закурил коротенькую трубку, пуская колечками густой синеватый дым.

Солнце уже спустилось низко, его косые лучи кое-где пробивались в чащу леса. Темнело. Я собирался распрощаться и итти, но Веселовский предупредил меня словами:

— Куда же вы? Пойдем ко мне. Хата моя недалеко отсюда. У меня хата, а не роскошные хоромы, но все же лучше, чем ночевать в тайге на снегу!—

Его убедительная просьба, а главное перспектива ночевки в лесу заставили меня согласиться, и я зашагал рядом с ним вниз по косогору.

Дойдя до речки, мы выбрались на лед и пошли вдоль берега, где протоптана была тропинка.

Сибирлет шел за мной, косясь, на нового своего знакомого.

По дороге он расспрашивал меня, откуда я, где служу, давно ли охочусь.

Узнав, что я семейный, он глубоко вздохнул и смолк, изредка только подавая краткие реплики на мои вопросы.

Вызвездило. Ночь наступила, когда мы подошли к крутому берегу реки. Под скалой приютилась небольшая избушка в два окна. Низкая массивная дверь, обитая шкурой козули, была подперта снаружи колом.

Мы вошли. При свете масляной лампы, зажженной хозяином, я увидел довольно большую комнату. У внутренней стены стояли две деревянные кровати, покрытые пушистыми медвежьими шкурами, такими же шкурами был обит пол до половины. Сбоку у стены стояла плита и печь из дикого камня, обмазанного глиной. Небольшой стол и скамьи у наружной стены дополняли всю незатейливую обстановку таежного жилья.

Под досчатым потолком, на длинных шестах висели шкуры всевозможных зверей и белели два черепа изюбров с громадными рогами.

Теплота и уютность жилища производили благоприятное впечатление. Я разделся, вымылся из приспособленного боченка ледяною водой и с жадностью принялся уничтожать душистый, ароматный чай с сухарями, предложенный радушным хозяином.

— Товарищ мой еще не вернулся,—проговорил он, присаживаяь за стол:—наверное задержался на дальних ловушках... Видите ли,—продолжал он, заметив вопросительное выражение моего лица:—мы живем здесь вдвоем и промышляем зверя вместе. Я исключительно живу ружьем, товарищ же мой не только ружьем, но и силками, то-есть ловит пушных зверей. Он должен сейчас прийти; вы собаку-то свою попридержите, а то с нашими псами ей не сладить, могут попортить. Вот легок на помине, он и сам идет!—

С этими словами он вышел из избы. Слышен громкий разговор и взвизгиванье собак.

Мой Сибирлет насторожился, взъерошил на спине шерсть и грозно заворчал. Пришлось его привязать к кольцу, вбитому в стену.

К удивлению своему, я услышал ржанье лошадей.

На мой вопрос, откуда здесь лошади, Веселовский ответил, что у них имеется их три, одна повозка и двое саней—дровень, для вывоза битых зверей из горной тайги к линии железной дороги.

— Раньше мы охотились зря, и много зверя пропадало за невозможностью его вывезти, а теперь, слава Богу, разжились конницей и обозом и живем помаленьку... А вот и мой товарищ и компанион!—указал он театральным жестом руки на вошедшего:—прошу любить и жаловать!—

В это время в избу вошел человек громадного роста, но уже не молодой. Черная густая борода с сильной проседью своим цветом мало отличалась от краснобурого обветренного лица.

Я встал, чтобы пожать руку великана, но моя рука спряталась совершенно в его могучей длани; он улыбнуся как-то просто по-детски и застенчиво тряхнул головой.

— Илья Муромец, или Илья Кондратьевич Барабаш!—отрекомендовал его Веселовский.—Зовите его, как хотите, но я его называю всегда Илюшей, за что он на меня не в претензии. Правда, Илюша? —хлопнул он богатыря по плечу, смотря снизу вверх на добродушное улыбавшееся лицо.

— Ну, что, как ваша охота?—спросил я Барабаша, чтобы вывести его из затруднительного положения.

Удачный промысел.

Зверобои в тайге.

— Да ничего! Сегодня добыл двух кабанов и изюбра. Вот только, что привез их. Теперь мяса хватит нам на всю зиму!—проговорил, наконец великан, при чем голос его гудел и наполнял всю комнату. Даже Сибирлет, все время лежавший под скамейкой, сердито зарычал, показывая острые белые клыки.

Пока хозяева были заняты приборкой зверей и разными делами по дому, я успел их хорошенько рассмотреть и сделать кое-какие свои заключения.

Повидимому, Веселовский принадлежал к интеллигентному классу общества, Барабаш же типичный простолюдин. Сочетание таких разнородных элементов при тесном сожительстве, а также дружба этих людей с разными характерами, понятиями и мировоззрением, при весьма оригинальной обстановке и исключительных условиях,—сильно меня заинтересовали, и я решил покороче с ними познакомиться и вникнуть в их жизнь, сложившуюся так необычно.

Ужин из жареной изюбрятины был чрезвычайно вкусен.

Я ел с увлечением, в то же время любуясь могучей фигурой и сложением Илюши. Выпуклые продолговатые мускулы его груди и рук ясно обозначались под тонкою ситцевою рубахой. Он ел очень много, с аппетитом и ожесточением разгрызая большими белыми зубами кости, при этом нож и вилку пускал в дело редко, больше возлагая надежды на свои крепкие пальцы. По временам он встряхивал шапкою черных с проседью волос, покрякивал и издавал довольное ворчание, как медведь, дорвавшийся до еды. На вид ему можно было дать лет сорок, но на самом деле ему было гораздо больше.

Происходя из крестьян Черниговской губернии, он с отцом своим переселился в Уссурийский край. Но там не повезло им, отец умер от тифа, и Илья бросил хату, выстроенную на берегу озера Ханка, и ушел в Никольск, оттуда во Владивосток, где поступил кузнецом в доки. Работал там лет пять. Затем ездил в качестве слесаря на пароходе Добровольного флота. Побывал в Японии, Индии, Константинополе. Пробрался и на родину, в свою деревню под Черниговом, но там все показалось ему чужим, и он вернулся опять на Дальний Восток, приписавшись к деревне Черниговке в Уссурийском крае. Занялся промысловой охотой, и дела пошли хорошо. Справил себе новую хату под железной крышей, купил лошадей и волов; женился. Для присмотра за рабочими-корейцами взял себе помощника, молодого парня из переселенцев, сам же осенью и зимой уходил в тайгу промышлять зверя. Так прошел год. Но вот Илья стал замечать сближение жены с молодым парнем, и в конце концов последний признался, что давно уже живет с его женой. Как ни тяжело было Илье-богатырю, но он смирился, отдал все свое добро и хозяйство молодому хозяину, отказался от жены и ушел навсегда в тайгу, где впоследствии встретился с Веселовским.

Всю эту историю жизни лесного бродяги узнал я от последнего, так как молчаливый и угрюмый Илья не любил рассказывать о себе и, при расспросах на эту тему, ограничивался односложными ответами в роде: «ну что там!» «эх!», или просто отмахивался рукой, уклоняясь от дальнейших разговоров.

Душно стало в избе, и я вышел, взяв с собою Сибирлета, на двор. Темная таежная ночь набросила саван на горы и леса. Ветер гудел, качая вершинами старых кедров. Мокрый снег большими хло-

пьями проносился мимо, кружился в вышине и падал на землю, покрывая нависшие ветви деревьев, гранитные утесы берега и заросли дикого винограда пухлою белою пеленой.

— „Завтра будет непогода и мятель“!—произнес Веселовский, выйдя на двор и кутаясь в свою щеголеватую оленью куртку:—вон как крутит и завывает! Завтрашняя охота пропала: зверь тоже не любит пурги, лежит в своих логовах и не покидает их в густых чащах, пока буран совершенно не прекратится. Вот, если хотите, то сходим завтра после обеда на медвежью берлогу; недалеко отсюда, верст пять будет. Медведь большой, пудов, может-быть, на двадцать. Мы его берегли до сих пор, но теперь можно для вас его немного потревожить. Залег он в скалах под береломом, в страшных зарослях, так что добраться до него будет трудно. Вот увидите сами. А что, Ильюша!—не пойти ли нам завтра на медведя? Кстати, и гостю доставим удовольствие?—спросил он подошедшего к нам Барабаша.

— Что ж! Можно. Хиба на него зарок положен? Годи ему дрыхнуть, пора и честь знать!—И с этими словами великан вошел в дверь избушки, низко нагнувшись.

Хозяйские псы, почуяв чужую собаку, собрались около нас с намерением задать трепку моему Сибирлету, но грозный окрик Александра Ивановича вразумил их, и они, недовольно ворча, удалились к конюшне, где зарылись в большом стогу сена.

Холодно мне стало на ветру, и я возвратился в теплое помещение. Барабаш улегся уже на полу возле печки, подостлав под себя несколько изюбровых шкур. Мерное его дыхание свидетельствовало о том, что крепкий сон всецело овладел им.

Гостеприимные хозяева уступили мне одну из кроватей, именно ту, на которой спал обыкновенно Барабаш. Веселовский долго еще возился с приборкой посуды и, наконец, прикрутив немного фитиль лампы, разделся и лег на кровать, закрывшись теплым мягким одеялом из козьяго меха.

Мне, как гостю, предложено было плюшевое одеяло, подшитое енотом.

Сибирлет долго не мог успокоиться под моей кроватью, вспоминая негостеприимную встречу, оказанную ему хозяйскими псами; наконец, и он заснул, изредка взвизгивая во сне.

Где-то за печкой трещал неумолимо сверчок; в сенях скреблась мышь.

Порывистый ветер завывал в трубе.

Тайга стонала и ревела, как дикий зверь.

Сон бежал от меня. Жарко ли было в избе, или впечатления дня роились в голове моей, не знаю. Я ворочался с боку на бок, стараясь забыться, но заснуть не мог.

Веселовскому, повидимому, также не спалось; по временам он поворачивался и смотрел на меня, но я лежал с закрытыми глазами.

— Что, вам, видно, не спится?—проговорил Веселовский, заметив, что я открыл глаза.—Мне тоже не спится что-то. Сегодня я проснулся поздно. Илья был на охоте, и я вышел в кедровник, чтобы освежиться, где и встретил вас.—

Видно было, что Александру Ивановичу хочется поговорить, и, желая воспользоваться этим и рассчитывая узнать что-нибудь о нем самом, я ответил:

— Не спится. Должно-быть, здесь жарко. Нельзя ли отворитьхотя форточку?—

Он сейчас же соскочил с кровати и отворил маленькую форточку в окне.

Свежий морозный воздух ворвался в комнату, и клубы пара поползли от окна вниз на пол.

— Ишь, как важно спит наш богатырь! Любо смотреть на него! —остановился он над спящим Барабашом.—Славный человек!—продолжал он после некоторого раздумья:—душа человек! Физически силен, как дьявол, и незлобив, как ребенок. Поверите ли, мухи никогда не обидит, но в гневе сокрушит кого угодно.—Надежный человек и хороший товарищ,—сказал он, прыгнув в кровать и заворачиваясь в свое козье одеяло.

Желая вызвать его на откровенность, я воспользовался его разговорчивостью и спросил:

— Где вы с ним познакомились, Александр Иванович?—

Набив свою коротенькую трубку китайским табаком и закурив, он сказал:

Познакомился я с ним года три тому назад в тайге Уссурийского края, в так называемых Анучинских лесах, где я тогда был в командировке по преследованию и поимке хунхузов.

Надо вам сказать—продолжал он после небольшой паузы:—что я—бывший офицер одного из Восточно-Сибирских полков, расположенных во Владивостоке.

Фамилия моя не Веселовский, а другая; по некоторым причинам я при нужден был достать себе чужой паспорт... Впрочем, все это может-быть, вам не интересно? — спросил он меня, пуская густые, клубы дыма.

— Напротив, я слушаю вас с удовольствием и очень благодарен вам за честь, которую вы мне оказываете своим доверием! — поспешил я уверить его, боясь, что он раздумает и не откроет мне своей души. С этим я привстал на кровати, облокотясь на локоть, и приготовился слушать.

— Кажется, вам холодно? — произнес он, закрывая форточку. — Уже достаточно освежилось, даже наш Муромец начинает ежиться!—

Действительно, Барабаш перестал сопеть носом и во сне старался натянуть на себя шкуры.

— В таком случае я продолжаю, — проговорил он, юркнув под одеяло.—Окончив кадетский корпус в Москве, я вышел подпоручиком из училища прямо на Дальний Восток, куда меня невыразимо влекли девственная нетронутая природа и исключительные условия жизни. Само собой разумеется, я нашел здесь то, чего искал. Дикий, первобытный край произвел на меня сильное впечатление. Все свободное от службы время я проводил в горах и лесах, окружающих Амурский и Уссурийский заливы. Наконец, попал, уже в чине поручика, в командировку в одну из интереснейших местностей, в селение Анучино, окрестности которого славились тогда обилием всякого зверя и птицы. Я бродил со своей полуротой по тайге и еще более пристрастился к бродячей жизни. В одну из экспедиций в глухой тайге мы случайно наткнулись на зимовье промышленника и заночевали там. Хозяин пришел только через день и принес с собой тигровую шкуру. Это и был Илья Барабаш. Я с ним тогда сошелся и полюбил этого добродушного силача...

В это время собаки залаяли, и Сибирлет вылез из под кровати просясь на двор.

Веселовский набросил на себя одеяло и вышел за дверь.

Ветер шумел с прежнею силой и тайга гудела.

Вскоре возвратился Александр Иванович, отряхиваясь от снега, и проговорил:— Пустяки, — ничего нет. Собаки всегда беспокойны во время бури.—

Когда все успокоилось, и он улегся опять на кровать, закурив носогрейку, я не выдержал и первый спросил его:

— Как же вы сделались траппером и ушли с военной службы? Если не устали еще, то расскажите.—

— Подождите. Все по порядку расскажу. Открылась тогда китайская кампания, и я с полком очутился в Маньчжурии. Пришлось исколесить ее почти всю, но по красоте природы и богатству естественных произведений больше всего мне понравилась Гириньская провинция. Охота здесь роскошная, горы и дремучие леса кишат всевозможным зверем. Приволье полное. Тогда уже в полосе отчуждения некоторые русские начали промышлять зверя и после окончания китайской войны остались здесь, обратившись в маньчжурских трапперов, каковые существовали когда-то в Северной Америке и так художественно и поэтически описаны бессмертными писателями: Эмаром, Купером и Майн-Ридом. Возвратившись после кампании с полком в Никольск, я вышел в запас, и чтобы совершенно отречься от прежнего и поставить над ним крест, сжег свои корабли, то-есть купил во Владивостоке за десять рублей чужой паспорт. Вы меня, конечно, осуждаете за это, но я иначе не мог бы вести такую привольную жизнь. Знаете, родные, родственники, связи, знакомства—мне все это опротивело, я решил совершенно порвать с прошлым, то-есть умереть и родиться снова, но только без цепей культурных условий жизни; официально я считался пропавшим без вести—такие сведения давала полиция на вопросы моих родных и знакомых. Жизнь в лесах меня сильно изменила, так что теперь родная мать едва ли узнала бы меня. Впрочем, я покажу вам свою фотографическую карточку юношеских лет.—С этими словами он встал, вытащил маленький сундучок из-под кровати, порылся в нем и подал мне снимок кабинетного размера. На нем изображен был молодой безусый офицер, почти мальчик. Наивно и весело смотрели на меня большие глаза, но в них ничего не было похожего на теперешнее: передо мной в действительности было суровое, мужественное лицо не мальчика, но сильного могучего человека.

— Да, вас узнать невозможно,—сказал я, возвращая ему карточку. — Но разве вас товарищи по полку или знакомые ни разу после того не встречали? Ведь они все же могли бы вас узнать?—

— Встречались мы не раз,—ответил он, пряча карточку,—но никто меня не узнал; правда, сейчас же после выхода в запас, я на целый год ушел в тайгу к Барабашу и не выходил оттуда даже в деревню Анучино, хотя до нее было всего сорок верст. Теперь, если-бы я и захотел вернуться к прежнему, то не смог-бы возстановить прежней связи, и меня непременно почли-бы самозванцем, хотя прошло не так уж много лет. Нет!—продолжал он, поднявшись на локте:—теперь только я понял смысл жизни; теперь только я живу, и мне противно вспоминать фальшь и ненужные условности так называемой культуры! Лучше смерть, чем возвращение к прежнему. Я вполне доволен своим положением, сыт, одет и во всем обязан только самому

себе. Но вы не думайте, что я отрицаю деньги, напротив—я коплю, и у нас с Илюшей отложено уже в Харбинском банке несколько тысченок. Охота здесь—занятие прибыльное, если повести дело, как следует...

— Послушайте, кажется, мы с вами мешаем спать вашему товарищу?—прервал я своего увлекавшегося собеседника, громкий голос которого звучал, как труба, на всю комнату.

— О, нет! Вы его не знаете!—ответил Веселовский:—он спит, как двести праведников; хоть из пушки пали—он не проснется! Но вы наверное уже спать хотите, или я вам надоел рассказами о себе? Тогда я прекращу. Я ведь очень рад вашему приходу. В кои-то веки приходиться поговорить с интеллигентным человеком.

— Вот видите, вы сами противоречите себе: ведь интеллигентность —признак культуры, которую вы совершенно отрицаете! Будем говорить еще,—я спать не хочу.—проговорил я.

— Совершенно с вами согласен,—возразил он—но я отрицаю не самую суть культуры, а те фальшивые рамки и условия, в которые она ставит людей. Вы понимаете меня? Ведь человечество стоит на ложном пути, оно далеко ушло от природы, создав себе искуственные, ненормальные условия жизни, и задыхается от недостатка воздуха в прямом и переносном смысле. Вы меня наверное спросите сейчас, зачем в таком случае мне деньги, которые я коплю? Да очень просто, зачем! Деньги мне нужны, чтобы иметь возможность пользоваться теми благами культуры, без которых мыслящему человеку жить трудно; вместе с тем эти же деньги дадут мне возможность создать себе такие условия жизни, какие мне нравятся.

Лампа наша начала коптеть от недостатка масла, и Веселовский должен был ее погасить совсем. Мы остались в совершенной темноте, только еле-еле мерещился слабый свет в обледенелых стеклах оконных рам.

Ветер усиливался, вся избушка вздрагивала от его напора. Лес шумел, подобно рокоту волн бурного океана. Неугомонный сверчок продолжал за печкой свою трескучую песню.

Наступило минутное молчание. Он раздумывал и, выколотив пепел из трубки на пол, продолжал:

— Я патриот. Люблю свою родину, люблю народ русский (при этом он указал на распростертое тело Барабаша) и готов отдать свою жизнь за него, если это понадобится. Долг свой перед отечеством я не выполнил, это верно, но теперь назревают на Дальнем Востоке великие события (это происходило в конце 1903 г., и поговаривали даже о близкой войне с Японией), и я опять становлюсь в ряды наших войск. Долг свой я выполню при первой возможности; ничем иным пожертвовать своей родине не могу, как отдать самого себя. О религии не спрашивайте: я атеист убежденный, хотя наружно стараюсь не показать этого перед Ильей, так как он в высшей степени религиозен, и мне не хочется оскорблять его хорошего, чистого чувства. Семейное начало, как вы сказали, я ставлю высоко во всех отношениях. Хотя современный социализм и отрицает его; это одно из его крупных заблуждений. Почти все животные и те живут семьями; как же человеку, существу высшей духовной организации, отказаться от этого естественного, установленного самою природой начала! Лично я все же мечтаю о собственной семье, но для этого мне еще надо поработать

— Скажите пожалуйста,—спросил я, чтобы дать другую тему разговору;—сколько вы имеете прибыли от вашего промысла?—

— Чистой прибыли?—переспросил он.—Как вам сказать? Рублей до тысячи набежит, может-быть в год на каждого. Опять же много зависит от количества зверя, от погоды и главное—от самого себя. Не будешь лениться—возьмешь зверя или там птицу; если же много на печи лежать, то и зверя не видать. Не даром сложилась поговорка, что „волка ноги кормят". Илья больше промышляет мясо: бьет кабанов, изюбров и коз. Нынче цена на мясо сильно пала, а вот прежде продавали на линии рублей по пяти-шести пуд. Я специализировался на добывании пушнины: соболь, белка, выдра, куница, рысь, лисица, енот, медведь, вот это—мои зверки, мое хозяйство. Тигра приходиться добывать редко,—уж очень умный и хитрый, подлец, но все же в зиму одного-двух заполюешь. Выгодная статья! Ведь китайцы покупают не только его шкуру, но и всю его тушу; таким образом за старого большого самца можно взять рублей триста-четыреста. Мясо, кости, жир, внутренности и мозг идут у них на приготовление каких-то особенных лекарств. Говорил мне один знакомый зверолов-маньчжур, что кто отведает тигрового сердца—сделается так же отважен и силен, как тигр. Конечно, все это суеверие и предрассудки. А вот в чудодейственную силу пантов я верю. Несомненно, это вещество помогает при малокровии, золотухе, старческой слабости и многих хронических болезнях организма. Следовало бы нашим медикусам обратить свое просвещенное внимание на лечебные свойства этого продукта.

Прошлым летом мы продали одни большие панты в Нингуте за 800 руб. Ничего, жить здесь можно! Скучновато, это правда; иногда грусть-тоска гложет сердце, но на охоте все забывается, весь мир людской кажется таким далеким: суета мелочной жизни не заходит под своды девственного дремучего леса,—ей здесь нет места, как нет места лжи, обману и отчаянию. Здесь человек возрождается душой и телом, крепнет и бодро смотрит вперед, не жалея о прошлом и надеясь на будущее... Однако уже два часа ночи!—возвышенным голосом проговорил Веселовский, пряча под подушку карманные стальные часы.

—А что, —ответил я:—разве вам спать захотелось? Если не надоело, ответьте мне еще на два вопроса.

—С удовольствием! Пожалуйста, спрашивайте,—поспешил он уверить меня в готовности удовлетворить мое любопытство.

— Как вы уживаетесь рядом с хунхузами и местными звероловами-маньчжурами?—задал я ему вопрос.—Ведь первые ненавидят русских и мстят им за преследованье, а вторые должны видеть в вас конкурентов и опасных соперников по добыче зверя.

— Что касается хунхузов, то вы правы: они ненавидят всех русских, но решаются трогать только тех, которые им действительно мешают, мы же их не трогаем и не служим для них помехой, то-есть вернее, они нас не боятся, мы для них не опасны, а тронуть нас из озорства или какой-то там отдаленной мести не стоит: хлопот и беспокойства не оберешься. Изредка они заходят к нам; угостишь их чаем, дашь им хлеба, они затем опять уходят в отдаленные леса. В общем, это народ славный, справедливый и серьезный, зря никогда не обидят и не тронут. Местные звероловы-маньчжуры никогда на нас претензии не были, так-как хлеба от них мы не отнимаем, в их рай-

онах зверя не добываем. Здесь леса и горы так обширны и пустынны, что промышленники, сколько б их ни было, друг другу мешать не будут. Со всеми ими мы в прекрасных отношениях. Ближайший наш сосед живет отсюда верст за десять. Древний старичок, лет под восемьдесят, а еще крепкий и бодрый, ходок и смелый охотник. Он часто к нам заходит, любит пить наш чай с сахаром; хлеб тоже любит и потешно жует его своим беззубым ртом.

— Что за бумаги и газеты лежат там на полке?—обратился я к моему замолчавшему и задумавшемуся собеседнику.—Неужели вы здесь в тайге занимаетесь чтением? Разве вам хватает времени?

— Мы выписываем одну местную газету:—ответил Веселовский: —затем журналы. —

Илью ведь я выучил грамоте и правилам арифметики, вообще, стараюсь его развивать. Он очень способный. Вы не смотрите, что он такой грубый и тупой с виду. Память у него не важная, но природный ум восполняет этот недостаток. Учится он с охотой и прежде, бывало, от книжки не оторвешь, по ночам сидел. Раза два в месяц Илья ездит за мясом на станцию Хайлин, там и забирает всю почту, то-есть литературу, так как ни он ни я писем ни от кого не получаем. Можно было бы ездить почаще, если б расстояние позволяло, а то сорок пять верст не ближний свет, жалко лошадей, да и времени на езду уходит много. Ну, пора и честь знать! Простите за беспокойство и за то, что я так долго и жестоко злоупотреблял вашим терпением.., Спокойной ночи!—произнес он, завертываясь с головой в одеяло, с твердым намерением заснуть.

Сон долго еще не приходил ко мне. Вереницы дум проносились в голове моей, и последние впечатления волновали еще мои нервы.

В избе раздавалось громкое храпение Барабаша и завывание ветра в печной трубе.

Тайга глухо рокотала, ворча и злясь, как дряхлая старуха, жалуясь на свое бессилие перед буйным ураганом пустыни.

Долго и хорошо я спал, убаюкиваемый дикой песней старой тайги. Проснулся поздно.

Солнце высоко стояло в небе, и яркие лучи его врывались в комнату сквозь толстый слой льда, образовавшегося на окнах. Преломляясь в нем, они бросали на пол красивый спектр радужных цветов.

— Доброе утро! Вставайте да будем обедать!—произнес Александр Иванович, хлопоча около плиты с кастрюлями и тарелками.

Я посмотрел на часы,—было уже около одиннадцати, и вышел на двор. Барабаш возился там, обсмаливая туши кабанов; едкий дым клубами валил из-под черных, закоптевших боков битых зверей. Пахло смоленым волосом.

— Ну, что, як ночку провели у нас?—спросил меня великан, щурясь от дыма и проворачивая своими могучими руками грузное тело кабана, как перышко.

— Спасибо! Спал великолепно. Только мы, кажется, мешали вам своими бесконечными разговорами?—ответил я, подходя поближе.

— Ни-ни! Хиба ж чоловику можно помешать, когда вин спать хоче?—возразил Барабаш.—Вот вам мабудь Александр Иванович не давал спать, все балакал з вами. Вин дуже любыт балакать, а не с кем,—зо мною не разбалакаешься!—

Речь Барабаша представляла смесь малорусских слов с российскими, и подчас его трудно было понять, хотя я и знаю язык Шевченка. Угостили меня на славу вкусными русскими щами из кислой капусты и шашлыком из дикого горного барана; после обеда ели консервированный ананас и пили чай.

Пока хозяева были заняты приготовлениями к предстоящей охоте, я вышел на двор, чтобы осмотреть оригинальную охотничью ферму русских людей в Маньчжурии.

Возле избы, сколоченной из толстых кедровых пластин, стоял такой же сарай, где помещались лошади, обыкновенной здесь монгольской породы. Рядом с сараем была маленькая банька. Тут же стоял другой сарай для склада мяса, где навалены были туши битых кабанов, изюбров и коз; рядом с баней была каменная пристройка, для копчения мяса.

Огромный стог сена возвышался на берегу реки. Все было устроено деловито, хозяйственно; видна была умелая заботливая рука опытного хозяина, каковым, без сомнения, являлся бывший землепашец, ныне зверовой охотник Илья Барабаш.

Забрав с собой всех собак, а их у нас набралось пять штук, мы двинулись по льду речки и вскоре подошли к большим каменным завалам, в вершине которых лежал медведь. Рыхлый снег затруднял движение, приходилось работать не только ногами но и руками, цепляясь за кустарник и ползучие вьющиеся растения. Собаки шли впереди, привязанные к одному смычку, находившемуся в руках Веселовского. Сибирлет нырял в глубоком снегу рядом со мною. Отдыхали несколько раз, пока добрались до верху. Трущоба была страшная. Громадные камни, бурелом, валежник и заросли дикого винограда преграждали путь. В этих камнях лежал медведь, которого нам предстояло вызвать. Спустили собак; они сразу, как-будто знали, где зверь, бросились в заросли и подняли там лай. Мы расположились цепью вдоль камней и ждали появления Михаила Ивановича Топтыгина.

Прошло около четверти часа, но медведь не выходил. Тогда Барабаш без дальнейших разговоров, полез к собакам, чтобы заставить упрямого зверя покинуть берлогу. Лай усилился. Зверь не выдержал шума и гама, а главное — заметил вблизи охотника и бросился на него, подмяв его под себя. Собаки дружно хватали зверя сзади за „штаны", но он, разсвирепел, бил Барабаша своими страшными лапами. Мы не могли сразу стрелять; боясь ранить человека, но, улучшив момент, когда зверь огрызался на собак, выстрелили в голову и уложили его навеки. Много труда нам стоило освободить бедного Илью из-под тяжелой туши зверя. Кое-как справились и подняли злополучного охотника. Он был сильно истерзан. Гогова, лицо, руки и плечи зияли кровавыми глубокими царапинами, но, к счастью, кости остались целы.

Разорвав рубашки, мы перевязали раны. Надо было удивляться силе и самообладанию Барабаша, так как только благодаря этим качествам он остался жив.

Когда мы, успокоившись, расспросили его, как все произошло, он рассказал, что запутался в ветвях винограда и упал, когда медведь неожиданно навалился на него.

Все хорошо, что хорошо кончается, и набожный Илья долго истово крестился, благодаря Бога за избавление от смертельной опасности.

Выпотрошив зверя и завалив его снегом, мы двинулись домой. Так как у раненого все лицо было забинтовано, то мне пришлось вести его под руки. Но случалось, что, поскользнувшись, я сам опирался на могучую руку великана, при чем он подтрунивал над собою, сравнивая себя со слепою сивою кобылой, что стояла у охотников в конюшне. Кое-как дотащились «до хаты».

Как богатырь ни крепился, а пришлось ему лечь в постель. Ночью его лихорадило, и температура повысилась, но к утру спала, и благодетельный сон овладел им.

К обеду следующего дня я помог Веселовскому привезти медведя. Сняли шкуру и взвесили по частям тушу; оказалось восемнадцать пудов. Зверь был «с весом» и внушал к себе почтение. Пообедав с гостеприимными лесными бродягами, я свистнул своего Сибирлета, подружившегося уже с хозяйскими псами, и зашагал к северо-востоку, направляясь к себе домой, на станцию Ханьдаохедзы.

С удовольстием вспоминал я время, проведенное в далекой звероловной избушке у русских ,,трапперов", этих пионеров дикой первобытной тайги Маньчжурии.

Наступил 1904 год, чреватый событиями.

Грянула война.

Маньчжурия, в особенности к югу от Харбина. совершенно преобразилась, проснулась, стряхнула свой тысячелетний сон и зорко наблюдалася за смертельной борьбой двух колоссальных армий. Тюренчен, Вафагоу, Ляоян, Порт-Артур, Цусима, Шахэ и Мукден промелькнули, как кошмарные видения перед изумленными взорами всего мира.

Война приближалась к концу.

Доведенная до истощения, армия победителя бессдействовала, не смея вступить в бой с побежденными северными богатырями, грозно застывшими в ожидании последнего рокового сражения. Так боязливо отступает назад рьяный охотник перед раненым львом, когда тот, гневно сверкая глазами и раскрыв свою страшную пасть, поднимет для смертельного удара могучую грозную лапу.

Свежие войска прибывали в Харбин.

На вокзале народу было много. В зале первого класса, как говорится, яблоку негде было упасть. Офицеры и военные чиновники всевозможных частей толпились у буфета, сидели у столиков и стояли, за неимением места, где сесть.

Я ходил от скуки по перрону, в ожидании почтового поезда на восток.

Звонки были поданы. Поезд вышел с предыдущей станции.

— Здравствуйте дорогой! Вот не ожидал вас здесь встретить!— услышал я громкий голос возле себя. Я обернулся. Передо мной стоял кавалерийский офицер в пальто и ентовой папахе. Он был среднего роста, бритый; большие белокурые усы торчали в стороны; голубые выпуклые глаза вопросительно и задорно смотрели на меня.

Что-то знакомое показалось мне в этом взоре, где-то я видел раньше эти большие выразительные глаза. И вспомнил я глухую, дремучую тайгу, убогую избушку на крутом берегу горной речки, медвежью охоту и двух промышленников, с которыми познакомился тогда, два года тому назад,

— Неужели вы Веселовский? Александр Иванович?—воскликнул я, пораженный неожиданной встречей.—Какими судьбами вас сюда занесло?—

Мы с чувством расцеловались.

— Ну, рассказывайте, как и что!—продолжал я:—в вас такая резкая перемена и для меня непонятная и неожиданная!

В это время к дебаркадеру подходил с запада поезд, громыхая и шипя тормозами Вестингауза.

— Знаете что!—заметил я:—едем сейчас со мной на восток! Вы свободны? По дороге наговоримся.—

— Нет, простите, не могу; здесь я в командировке и завтра должен отправляться к месту службы, на юг,—проговорил он и сейчас же прибавил а вот, если хотите, я посижу с вами в вагоне до отхода поезда; времени у нас будет изрядно, около двух часов, кажется?—

Пришлось согласиться и на это. Протолкавшись сквозь толпу всевозможного люда, наполнявшего перрон станции, мы вошли в вагон, битком уже набитый.

Кое-как раздобыли себе два боковых места и заняли их.

— Ну, рассказывайте, дорогой Александр Иванович, времени терять нечего. Я слушаю!—проговорил я, складывая свои дорожные вещи на верхнюю полку.

На правой руке Веселовского блестело обручальное кольцо; я ему указал на это.

— Да, да, батенька, женился. Вот уже скоро будет год. Я говорил вам еще тогда, что имею склонность к семейной жизни... Вот, видите ли, с чего же начать? Да вы тогда ушли ог нас, еще Илья лежал, раненный медведем. Бедный! Ему, видно, уже суждено было сложить свою голову в тайге Маньчжурии. От ран, нанесенных медведем, он поправился, только окривел на один глаз. Я уж его возил к врачу на станцию Ханьдаохедзы, но ничего не помогло: глаз вытек. Хорошо еще, что левый, так что он мог стрелять. Характер только у него изменился: он стал злобен на зверя и лют с ним, что его и погубило в конце концов. В марте месяце следующего, то-есть 1904 года у нас появились тигры. Мы с ним одного взяли, а другого сильно ранили и пошли по кровавому следу; не доходя до него шагов двести, я пошел наперерез, а Илья—по следу. Хитрый зверь заметил нашу уловку и сделал засаду, бросившись на меня из за камня. Я не успел не только выстрелить, но и ружья поднять, как был сбит на землю и считал себя уже погибшим.

Вы понимаете, ведь сопротивление этому зверю бессмысленно. Я только лежал ничком и старался рукавами своей куртки закрыть голову, чтобы чудовище своими когтями не сорвало мне череп. Долго ли продолжалось это, не знаю, но вдруг я чувствую, как зверь оставляет меня и с ревом бросается в сторону.

Оказалось, что Илья, увидя меня лежащим под тигром и боясь стрелять, чтобы случайно не убить меня, подошел к разъяренному зверю с целью всадить ему под лопатку свой длинный нож; но тигр не такой зверь, чтобы позволить сделать это безнаказанно. Он оставил меня и подмял под себя Илью. Но, как вы знаете, силенка у него была изрядная, и он успел распороть тигру брюхо, но сам был так изранен и поломан, что через день скончался. Я отделался легко, только глубокими царапинами на затылке, спине и руках; у Барабаша были сломаны обе руки, распорота грудная клетка и изодрано все лицо, при чем он лишился и второго глаза. Кое как я довез его в зимовье, перевязал, как умел, но спасти не мог—он умер к вечеру следующего

дня. Умирал он в полной памяти. Деньги свои,—у него было около четырех тысяч,—он просил отослать жене своей в Черниговку. Хорошая душа была у этого могучего человека! И теперь, как вспомню, от слез не могу удержаться...—Чтобы скрыть свое состояние, он начал громко сморкаться.

Я отвернулся и смотрел в окно. Жаль было этого цельного, редких качеств человека.

Успокоившийся Веселовский продолжал:

— Умирая, он благословил меня своим тельным образком и умолял похоронить на высокой скале, около нашего зимовья, откуда открывается чудный вид на окрестные горы и леса. Я закопал его там и поставил над ним большой дубовый крест. Могила его видна издалека: над нею качают свои кудрявые ветви могучие старые кедры, а внизу темная, дремучая тайга поет свою дикую заунывную песню... Когда не стало моего друга, я не мог оставаться один в лесу: тоска глодала мое сердце, и я ушел. Как раз тогда разгоралось пламя войны; я поступил охотником в казачий полк. Теперь, видите, дослужился до офицерского чина. Женился в конце прошлого года на сестре милосердия; познакомился с нею в госпитале в Харбине, где лежал раненый... Вот вам и вся моя несложная история .. Ну, а как вы поживаете?—спросил он меня, чтобы переменить разговор.

— У вас, я вижу, георгиевская ленточка! Разскажите, где и за что получили?—спросил я его не замечая вопроса.

Раздался третий звонок и поезд тронулся.

— Пишите: „Харбин до востребования“,—закричал он, спрыгивая с подножки вагона.

Громыхая железными болтами и стуча колесами на стрелках, поезд, ускоряя ход, помчался к востоку.

---

23. ТУН-ЛИ.

Солнце только что скрылось за лесистыми гребнями мрачного Цайлина, когда однажды осенью уставшие и голодные подошли мы к одинокой фанзе старого зверолова Тун-Ли.

Темная, дремучая тайга осталась позади. Перед нами открылась дивная панорама гор Лао-Линза, озаренных красноватою зарею заката.

На востоке, в туманной дали горизонта, синели, словно тучи, силуэты горного кряжа Чан-Лина, у подошвы которого раскинулась широкая долина Мудандзяна, с богатыми селениями, тучными поляии и огородами. Узкая лента железной дороги извивалась, как змея, между скалами и сопками, в падях и ущельях.

Далеко-далеко в тумане белели дома и здания станции Хайлин. Золотые лучи заходящего солнца отражались в окнах и горели искристыми точками.

Долго стояли мы, очарованные этой картиной, казалось, забыв все на свете, отдаваясь мечтам и уносясь мысленно на далекую родину. Но громкий голос старого таежника, раздавшийся вблизи, вывел нас из задумчивости, напомнив о суровой действительности.

Со мною был солдат пограничной стражи, постоянный спутник в горах Маньчжурии.

— Здравствуй капитан!—приизнес старый зверолов, подавая мне свою жесткую, костлявую руку:—я ждал тебя еще вчера и собрался уже один итти на охоту!

— Ну, здравствуй, Тун-Ли! Как поживаешь? Завтра пойдем вместе!—ответил я, здороваясь с ним.

— Да! Завтра чуть-свет надо выйти вон на ту сопку. Изюбров много. Есть один бык, ревет все равно как тигр!—заметил старик приглашая нас в фанзу.

Ночь наступила быстро. В темном поле заискрились золотые звезды. Панорама далеких гор сливалась в одну неопределенную массу, и только контуры ближайших сопок выделялись зубчатыми линиями.

Природа словно замерла. Издалека доносился шум тайги, да на дне глубокой пади рокотала бурная горная речка.

На ближайшей вершине раздался рев самца изюбра, ему откликнулся другой в конце ущелья. Рев продолжался с полчаса и стих; затем в отдалении опять раздались голоса этих зверей и не смолкали почти до самого рассвета.

Голоса эти, то приближаясь, то удаляясь, то грозные и вызывающие, то жалобные и печальные, производили сильное впечатление, среди этой дикой, величественной природы, в этих суровых горах и девственных первобытных местах. Казалось, что это—крик самой природы, прекрасной, чудной и в то же время жестокой и безжалостной.

С помощью услужливого Тун-Ли мы быстро развели огонь, и поставили в него чайник.

Ужинать и чай пить решили под окрытым небом, так как в тесной фанзе было жарко и душно.

Тун Ли обходит ловушки.

Единственное спасение. Соболь и белка.

Над нами раскинулось темное ночное небо, и мириады звезд искрились в вышине. Светлая лента млечного пути опоясала этот видимый, но неразгаданный сон неведомых миров. Вспышки далеких зарниц и блики падающих звезд дополняли картину этой памятной ночи.

Ярко пылал наш костер; весело шипел и бурлил чайник; Тун-ли хлопотал около импровизированного вертела, приготовляя для нас вкусный сочный шашлык из дикого поросенка.

Давно я познакомился с Тун-Ли. Это—тип старого лесного бродяги, таежника, сроднившегося с суровой жизнью в дихих лесах. На вид ему нельзя было дать больше пятидесяти лет, но на самом деле он насчитывал шестьдесят. Высокого роста, сутуловатый, плотного сложения, ловкий и сухой, он производил впечатление молодого здорового человека.

Голова его и в особенности лицо мало имели общего с чертами маньчжура. Длинная черная коса отливала серебром так же, как и густые, повисшие вниз, усы. Седые брови свешивались, как кусты, над глубокими глазными впадинами, откуда смотрели черные суровые глаза.

Жизнь, полная лишений, наложила на весь облик его свой отпечаток. Лицо его было неподвижно, словно застыло, сохраняя всегда угрюмое, невозмутимое спокойствие. Душевные волнения и тревоги не отражались на нем. Такова была внешность маньчжура-зверолова Тун-Ли.

Но у меня давно явилось сомнение, что это действительно туземец. Все в нем изобличало русского.

Страстный охотник и любитель природы, он был идеалистом-мечтателем, легко смотрящим, как на жизнь, так и на смерть. Имея постоянное общение с природой, он выработал свою оригинальную философию жизни, имеющую много общего с древним учением буддизма.

Беседуя и обмениваясь мыслями, сидели мы вокруг костра, прислушиваясь к звукам таежной ночи.

Заметив, что мы пьем чай с ромом, Тун-Ли попросил и ему налить в чашку этого напитка. Выпив целую кружку, он сделался оживленнее, и я поспешил воспользоваться этим обстоятельством, желая узнать от него то, что меня интересовало.

— Расскажи нам, Тун Ли, из твоей жизни, мы послушаем с большим удовольствием...— проговорил я, подливая ему в чашку рому.

Старик как-будто не расслышал моего вопроса и сидел молча, вперив неподвижный взор в яркое пламя костра. Фигуру его, освещенную, красноватыми бликами мерцающего костра, можно было сравнить с бронзовым изваянием.

Долго сидел он таким образом, не обращая внимания на окружающее, наконец, поднял голову и, устремив на нас свои острые, проницательные глаза, произнес глухо, полушопотом:

— Вы хотите знать, кто я? Вы не верите, что я манза? Да, я не манза, я русский, такой же, как и вы, и кровь в жилах моих течет русская. Родился я в Благовещенске, где отец мой (по происхождению сибирский казак, мы переселенцы) вел меховую торговлю. Я был один сын. Не буду говорить, как жили мы,—это неинтересно,—скажу только, что за убийство я был осужден в каторжные работы, откуда через два года бежал в Китай. Здесь живу я уже много лет и жду—не до-

ждусь, когда Бог приберет меня. Тяжело жить одинокому. Зверь лютый—и тот ищет себе товарища или собирается в стада, один жить не может; как же человеку, с его душой, разумом и волей жить одному!..-

Тун-Ли смолк, подняв глаза к темному небу, где горели лучистые звезды, и, казалось, взор его искал чего-то, стараясь проникнуть в таинственную бездну вселенной.

В зарослях ближайшей сопки ревел изюбр, и красные волки выли на дне глубокого ущелья.

По небу скользнула в это время падающая звезда (метеор), оставив на мгновение яркий штрих на темном фоне.

— Что это?—произнес он.—Китайцы говорят, что это душа человека несется в другой мир, где нет материи, но есть только мысль, воля!—Вот вы любите тайгу,—продолжал старик:—любите эти сопки, ручьи, потому, что все это дает вам отдых и посылает мир в ваши души, уставшие жить и страдать. Вам необходимо дыхание этих благовонных растений и испарения плодородной земли для ваших истомившихся легких. Глаз ваш ласкает зелень лесов и полей, чистая лазурь неба и живительные лучи отца нашего—солнца, источника жизни. Слух ваш с жадностью ловит шопот тайги и журчанье ручейка в глубине пади Душа человека стремится на лоно матери своей, природы, все равно, как растение, поставленное в комнате, стремится к свету и протягивает свои бедные, ослабевшие ветви к тусклому стеклу маленького оконца. Все уставшие душевно, униженные и оскорбленные, немощные духом и телом пусть приходят сюда, искать утешения от матери-природы! Она даст им новые силы, вольет в души их мир и благодать, обновит тело, изнуренное в непосильной борьбе и отравленное ядами современной культуры. Природа не мачеха: она напоит жаждущего, накормит голодающего, утешит страждущего и даст надежду безнадежному...—так проповедывал старый зверолов Тун-Ли. Мы внимали ему, прислушиваясь к далекому реву изюбров и тихому рокоту тайги.

Конечно, я передаю здесь только смысл и идеи мыслей таежного философа, так как выражения его я теперь повторить не в состоянии: многое позабыл и боюсь исказить слышанное.

Костер потухал. Еле-еле мерцали синеватые огоньки в истлевшей золе. Непроницаемый мрак окутывал нас, и неведомые звуки таежной ночи приближались к нам, угрожая своей неразгаданной таинственностью. Тун-Ли не шевелился, вперив свой взор в искорки догорающего костра. Я лежал рядом с ним, подперев голову рукою, ожидая продолжения начатого рассказа.

Товарищ мой решился, наконец, нарушить это напряженное состояние и подбросил свежих еловых веток в костер. Яркое пламя, треща и извиваясь, метнулось кверху, масса искр поднялась столбом, крутясь и пропадая в вышине.

— За что ты был осужден, Тун-Ли, и сослан в каторжные работы?—спросил я старика, заметив, что он пришел в себя после глубокого раздумья.

— За что?—переспросил он, как бы просыпаясь.—Ведь я убил человека! Дело было так: полюбил я девушку, дочь бедных родителей, она меня тоже любила, и мы порешили обвенчаться. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, — отец просватал ее за очень богатого золотопромышленника, отказал мне и назначил день свадьбы. Я тогда был очень молод, кровь кипела, сердце

не стерпело, и в ссоре я убил старого золотопромышленника-жениха. Девушка эта умерла в нервной горячке после суда надо мной. В каторге я пробыл недолго и бежал. В Сибири оставаться было нельзя, и я перешел границу, решив искать счастья на чужбине. Знание маньчжурского и китайского языков облегчило мне устроиться в Гирине приказчиком у богатого китайца-мехоторговца, в руках которого сосредоточена была почти вся торговля пушниной не только в Маньчжурии, но и в Шанхае. Через несколько лет меня назначили главным доверенным; мне приходилось много разъезжать по делам фирмы. Был я в Японии, Пекине, Гонгконге и даже в Америке: в Сан-Франциско, Нью-Иорке и других городах. Все считали меня китайцем, и никто не подозревал, что я иностранец. Один раз я ездил и в Россию, пришлось пожить в Иркутске, Ирбите, Нижнем-Новгороде и Москве. Но я не мог оставаться долго в своем отечестве: тяжело было.. Я открыл вам свою душу,—ведь она у меня осталась русскою. Я знаю, что жизнь моя окончена, и скоро придется умереть. Тело мое останется в этих сопках, и дикий зверь обгложет кости мои, но душа опять возвратится на родину—для новой жизни, может-быть, для новых мучений и страданий!—С этими словами Тун-Ли окинул взором окружающую нас темень, глубоко вздохнул и поник головой.

О чем думал в это время несчастный скиталец? О возможном и близком, но погибшем счастьи? О суровой жизни своей, полной лишений и страданий? О приближающейся смерти в неведомой пустыне, вдали от любимой родины?

Мы были подавлены и сидели молча. Чем помочь ему? Жизнь прожита, бесцельны утешения, излишни слова участия.

Желая как-нибудь отвлечь его от гнетущих мыслей, я спросил его:

— Как же ты из доверенного богатой фирмы превратился в лесного бродягу?—

— Сталкиваясь постоянно,—ответил он:—по делам с охотниками и звероловами, знакомясь с их жизнью и бытом, я поддался обаянию их свободного промысла среди природы и ушел в тайгу, оставив навеки суету мира. Ведь я женат был на китаянке, но бросил все, бросил дом свой и с младшим сыном отправился к границе Кореи, где и поселилися в лесах священной горы Чань-Бо-Шаня. Место мое в фирме заступил старший сын мой, китаец с головы до ног. Он теперь наверное очень богат и имеет свое дело. Младший сын не похож был на китайца: все в нем было наше, русское—тело и душа. Добывали мы с ним драгоценных соболей и панты, пока не прогнали нас грабители-хунхузы, отнимавшие лучшие меха. Ушли мы тогда на север к русской границе и поселились в пустынных тогдя лесах реки Патахезы. Теперь проходит там железная дорога, а тогда нога, человеческая не ступала там. Места хорошие, и близость границы была тогда мила мне: все же иногда услышишь речь родную от казаков, приходивших с Уссури на промысел. Помню как-то раз ночевал у меня русский охотних; я с ним охотился тогда на тигра, но неудачно. Много мы с ним говорили обо всем, вот как с вами. На прощанье он подарил мне свой нож; у меня он сейчас есть... Погодите, я принесу его...—и с этими словами Тун-Ли исчез в фанзе.

Через минуту он принес и показал нам небольшой английский охотничий нож; на роговой рукоятке его выжжены были две буквы: „А. Е.“

— Охотник этот был еще и врач,—он лечил сына моего, раненного медведем. Только через год узнал я в станице Полтавской, кто такой этот человек. Это был доктор Елисеев, известный путешественник и даже ученый писатель. Хорошая душа была у него; в глазах его светилась какая-то святая кротость. Взглянет он на тебя, и кажется—видит насквозь и читает твои мысли. Своей кротостью и добротой он покорил себе самых закоренелых негодяев и даже разбойников-хунхузов, они служили ему проводниками и смотрели за ним, как за малым ребенком. Между тем эти люди были известны, как убийцы и воры. Вот, истинное добро всегда побеждает зло... Впрочем, вместе с кротостью в глазах его видна была печаль,—должно-быть, в жизни его было много горя...—

Узнав, что он встречался с известным Елисеевым, путешественником и писателем, я забросал Тун-Ли вопросами, чтобы пролить свет на пребывание этого известного человека в Маньчжурии, но старый зверолов охладил мой пыл, указав на звездное небо, и проговорил:

— Завтра я расскажу все, а теперь пора уже спать. С рассветом надо быть уже на месте. Доброй ночи!—

Тун-Ли улегся у костра, уступив нам фанзу, на теплых канах которой мы расположились.

Я не был удовлетворен рассказом старика,—мне хотелось узнать судьбу его младшего сына, и я возлагал надежды на завтра.

Впечатления пережитого и перечувствованного не давали мне забыться сном; все же перед рассветом я немного заснул.

Тихий голос Тун-Ли разбудил меня. Было еще темно но на востоке уже светлело небо и меркли звезды.

Заботливый старик приготовил чай, и, наскоро закусив, мы отправились на соседнюю сопку, захватив только винтовки и патроны.

Тун-Ли легко шел впереди по тропинке, мы вслед за ним.

Перейдя в брод быструю горную речку, мы поднялись наперевал хребта, где остановились на большой ровной поляне, окруженной со всех сторон дубовым лесом.

День наступал быстро. Разгоралась заря.

Чистый свежий воздух был удивительно прозрачен, далекие силуэты гор синели на бледно-розовом фоне утреннего неба.

Было тихо-тихо. Замерли в торжественном спокойствии величавые пики гор, смолкли угрюмые леса, как бы в благоговении, ожидая появления лучезарного светила.

— Вы станьте здесь у большого камня,—сказал Тун-Ли, обращаять к нам:—а я пойду вправо и буду реветь в трубу. Звери должны выйти на поляну.—

Затем старый охотник скрылся под сводами леса.

Мы разместились поудобнее за камнем и ждали появления изюбров.

Солнце еще не взошло, но далекие вершины темно-синего Цайлина озарились уже первыми его золотыми лучами. В глубоких лощинах и падях царил еще мрак.

По ясному бледно-голубому небу неслись белые с розовыми окраинами облачка, оторванные от горных вершин утренним ветерком.

Неожиданно эту торжественную тишину утра нарушили звуки грозного рева самца изюбра,—это трубил Тун-Ли невдалеке от нас.

Фанза зверолова Тун-ли.

Не успели еще умереть эти звуки, как на окраине поляны заревел изюбрь. Голос его прозвучал резко в чистом морозном воздухе. горное эхо повторило этот звук и замерло вдалеке. Вначале глухой и низкий голос зверя все повышался и оборвался тонкими нотами.

Изюбрь был близко, рев его все усиливался. Тун-Ли давно уже перестал трубить, но раздраженный зверь, передполагая противника, вызывал его на бой.

Прошло минут десясь томительного ожидания. Наконец на темном фоне леса ясно обрисовалась величественная фигура красавца-изюбра. Он шел медленно, гордо подняв свою прекрасную голову, украшенную большими ветвистыми рогами. Он остановился... Тонкие ноздри его раздувались, он втягивал воздух в свою могучую грудь, стараясь найти соперника. Виликолепная картина, достойная кисти художника!

— Стреляйте!—услышал я возле себя дрожащий голос моего товарища:—вот левее идут самки, их шесть штук! Стреляйте, или я буду стрелять!—

Расстояние до зверей было шагов двести; цель видна превосходно; но я не решался стрелять в это царственное животное, обладающее таким благородством и красотой! Страсть охотника во мне уступила чувству сострадания. Я опустил винтовку... В это время прогремел выстрел, и смертельно раненый изюбр сделал последний гигантский прыжок и рухнул на землю.

Когда мы подбежали к нему, задние ноги его еще вздрагивали, но вскоре жизнь оставила это, недавно мощное, тело.

Перед нами лежал без движения мертвый, но все еще прекрасный гигант-изюбрь, сраженный безжалостной рукой жесткого человека.

Чудрые глубокие глаза его вопросительно смотрели на безучастное холодное небо и, казалось, спрашивали: за что? за что?

Солнце поднялось уже над далекими горами Кентей-Алина, бросая на нас свои косые, ослепительно-яркие лучи.

—Что же до сих пор не приходит сюда Тун-Ли?—спросил я своего товарища:—не случилось ли с ним чего-нибудь! Неужели его не интересует результат охоты? Не может быть. Это надо разузнать!—

— Должно-быть, ушел в свою фанзу за веревкамм для переноски зверя!—ответил он, зорко всматриваясь в чащу леса, где стоял Тун-Ли.

Мне сразу показалось подозрительным отсутствие старика, но все же я предпологал найти его в фанзе. Но там его не было. Мы обыскали все вокруг; звали его, стреляли в воздух из винтовок, но все напрасно. Старик исчез. Изследуя фанзу, мы убедились, что Тун-Ли взял с собой свою любимую винтовку-винчестер, необходимую одежду и ушел,—но куда и зачем?

Сомнений не могло быть: таинственный зверолов Тун-Ли ушел может-быть, навсегда, из этих мест.

---

24. НА ОСТРОВЕ.

I.

Рокочет и злится сердитое море. Бурные волны одна за другой набегают на крутой скалистый берег, вздымаются кверху, пенятся и клокочут, разбиваясь о несокрушимую твердыню гранитных и базальтовых утесов маленького острова, затерянного в безбрежной пустыне Великого Океана.

Наверху, на скалистых кряжах гор, вершины которых скрываются в облаках, темнеют дремучие лиственные леса. Их отдаленный шум доносится сюда и сливается с неумолкаемой песнью вечного прибоя.

Порывистый южный ветер гнал по небу темные тучки.

Крачки и чайки жалобно кричали и носились над морем, покрытым белыми барашками.

Какая-то большая птица мелькнула черной тенью из-за высокого утеса и опустилась в бегущие волны. Вот она взмахнула своими могучими крыльями и взвилась кверху, держа в сильных лапах своих бившуюся и извивавшуюся крупную рыбу. Это орлан, гроза всего животного царства Японского и Охотского морей.

Ветер усиливался и срывал могучими порывами вспененные гребни валов, обдавая пеной и брызгами нависшие над пучиной, изъеденные морем, скалы.

Гроза приближалась. Дождь крупными каплями косо рассекал воздух. Молния сверкала все чаще и чаще и раскаты грома становились громче.

Быстро темнело. В избушке, прилепившейся к береговому утесу, как гнездо ласточки, засветился огонь и вскоре снова исчез. Скрипнула низкая дверь и на карниз отвесного берега вышел человек. На нем был темный дождевик с капюшоном и из за плеча виднелся ствол короткой винтовки.

Открыв потайной фонарь, незнакомец приблизил свое лицо к свету, при чем ясно обрисовался суровый профиль, бритый выдающийся подбородок и темные небольшие свисающие усы.

Поправив фитиль в лампочке, он захлопнул дверцу и быстро зашагал по узкой тропе, извивавшейся вдоль берега острова, между скал и камней.

Фамилия незнакомца была Зозуля, имя Афанасий. Служил он здесь на острове главным сторожем богатого питомника пятнистых оленей, принадлежащего, известному в крае землевладельцу.

Малоросс по происхождению, угрюмый, несообщительный, суровый и неподкупный, он был грозой для отважных и закаленных таежников, решающихся переправиться с материка на отдаленный остров, чтобы добыть на нем драгоценные панты, водящегося здесь во множестве, оленя.

Необходимы исключительная отвага, железная сила воли и безумная решимость, чтобы пойти на такое рискованное предприятие.

Небольшой остров охранялся пятью сторожами. У каждого был свой участок берега. В случае появления браконьеров в лодке, или на баркасе, сторож подпускал их на близкое расстояние и открывал огонь, без промаха посылая пули в приближающихся врагов. На выстрелы обыкновенно спешили соседи-сторожа и общими силами отражали нападение. Почти всегда им удавалось во время заметить врага и отразить удар, но картина менялась, если лодка, с тремя, четырьмя браконьерами, приставала к берегу незамеченною. Тогда промышленники, спрятав ее в песке, расходились по лесам и били оленей-пантачей. Добычу, т.-е., рога, несли к лодке и уезжали благополучно восвояси. Но сторожа не дремали и выслеживали браконьеров, как зверей, и вот начиналась дикая травля, борьба на смерть; пощады никто не просил; кто ловчее, хитрее, выносливее, тот выходил победителем, побежденный оставался на месте и труп его сбрасывался в глубокую пропасть или в бушующее и клокочущее море.

Много сторожей погибло на этом острове от рук материковых таежников, но еще больше погибло последних в волнах океана, в скалистых горах и дремучих лесах. Редкий из сторожей выдерживал здесь долго. Постоянное напряжение и страх за свою жизнь делали свое дело, и большинство бежало с острова при первой возможности. Но те, которые оставались, были надежные, испытанные и закаленные в боях люди, не знающие чувства страха, жалости и колебаний. Все они чуждались общества и людей, по натуре были искатели приключений и любители дикой природы. Они ценили свое, независимое от общества, положение, свою свободу, и жили особенной жизнью, имеющей, мало общего с сутолокой и суетой пресловутого культурного строя.

Одним из таких типов был сторож Афанасий Зозуля. За бескорыстие, честность и трезвость ему было поручено все оленье хозяйство, заготовки корма зимою, учет животных, надзор за сторожами и охрана угодий.

Втечение нескольких лет он добросовестно служил своему хозяину. Убедившись, что силой взять нельзя, хищники с материка пробовали подкупать его деньгами за разрешение поохотиться на остров, но никакие соблазны не действовали, и, от времени до времени, летом появлялись у берегов одинокого острова лодки, баркасы и китайские джонки с суровыми, хорошо вооруженными браконьерами. Начиналась война, упорная, дикая, первобытная, и Зозуля, как всегда, выходил победителем, редко теряя в ней одного-двух подчиненых сторожей.

Безбрежный Великий Океан, угрюмые скалистые горы, темные дубовые леса и прибрежные обитатели острова: орлы, чайки, сивучи и тюлени были безмолвными свидетелями тяжелых драм дикой пустыни.

II.

Быстро шагал Зозуля по каменистой тропе, спеша засветло дойти до отмели, единственного места на острове, где можно было причалить лодке. Отмель эта тянулась на три версты, здесь-то и происходили столкновения браконьеров со сторожами.

Заняв свой пост у камня, торчавшего из прибрежного гравия, Зозуля положил на него свою винтовку и стал внимательно всматриваться в темную даль бушующего моря. Чуткий слух его улавливал среди рева волн и воя ветра малейший необычайный звук; долго стоял он и прислушивался; ветер усиливался; высокие волны катились на низкий берег, достигая камня, за которым темнела фигура сторожа, ударяясь в его гранитную грудь, обдавая его брызгами и пеной.

— Будет тайфун,—произнес Зозуля, закрывая лицо от холодных капель дождя.—Самая воровская ночь. Подумают, дьяволы, что я сплю и не ожидаю сегодня гостей. Милости просим. Угощение готово. Останетесь довольны...—так рассуждал про себя верный сторож и чутко ловил знакомые для уха, всплески весел приближающейся лодки; или звук волны, рассекаемой острым носом быстроходной джонки.

Уже более двух часов напряженного внимания. Где-то вдалеке прогудела сирена парохода, идущего из бухты св. Ольги во Владивосток.

Но, чу! Зозуля ясно расслышал плеск волны в деревянные борта лодки. Где-то близко, но различить что-нибудь в хаосе бури и дождя невозможно.

Блеснула молния и Зозуля увидел, шагах в трехстах от берега, большой баркас, наполненный вооруженными людьми. Они тихо, по воровски, на шестах подвигались к берегу.

При блеске молнии Зозуля пересчитал своих гостей; их было шесть человек.

Смерив на глаз расстояние, намазав мушку светящимся составом и проговорив вслух: «Господи благослови!», он тщательно навел свою верную винтовку на лодку и при вспышке молнии нажал на спуск, взяв на мушку переднего человека, стоявшего на носу и руководившего баркасом.

Глухо, почти неслышно, загремел выстрел, высокий человек, стоявший на баркасе, беспомощно взмахнул руками и упал навзничь, пораженный в грудь смертельною пулею дум-дум.

Быстро переменив позицию, Зозуля вслед затем, при новой вспышке благодетельной молнии, пустил еще одну смертельную пулю в грудь человека, где билось смелое, отважное сердце и трепетала беспокойная душа таежника браконьера. Услышав выстрелы с берега и видя гибель товарищей, промышленники быстро определели свое положение, и, считая свое дело проигранным, спешили выбраться из сферы губительного огня бдительной стражи.

На выстрелы Зозули подошли соседние сторожа и открыли частый огонь по злосчастному баркасу.

Рев бури, раскаты грома, свист пуль и грохот выстрелов слились в один сплошной ужасный звук.

Несколько пуль, выпущенных браконьерами, впились в мокрый песок у ног Зозули, но он не обратил на это никакого внимания.

Вскоре баркас скрылся из вида и сторожа разошлись по своим участкам; но Зозуля не доверял хищникам и, зная их уловки, оставался у камня, в ожидании.

Тайфун вздымал водяные горы и бросал их на каменную твердыню острова, как бы стараясь смыть его с поверхности океана.

Среди рева бури и рокота беснующегося моря. Зозуля услышал человеческий голос; показалось ему, что кто-то зовет его по имени и шлет проклятия. Тоскливо сжалось закаленное сердце его; никогда

еще не чувствовал он страха, но теперь в эту ночь, тоска одиночества закралась в душу его. Мысленно перенесся он в тайгу Маньчжурии, где промышлял в былое время, добывая панты, кабанов, коз и свирепого тигра; вспомнил товарищей своих; где-то они теперь? Может быть тлеют их белые кости в далеких сопках!..—

Задумался старый таежник и не видит, как к берегу тихо приближается опрокинутый баркас, подталкиваемый волнами прибоя.

Возле баркаса виднеется какое-то тело, не то человек, не то морские водоросли.

Очнулся Зозуля от своего забытья и бросился к баркасу. Трудно было вытащить тяжелую лодку на берег, волны захлестывали его с головой, слепили глаза и вырывали из рук добычу.

— Все погибли. Ну, царство им небесное! — произнес он, снял шапку и истово перекрестился.—Господи, прости меня грешного! — с этими словами Зозуля вытащил из воды труп человека и положил его на камни. При свете фонаря он увидел молодое, красивое лицо, обрамленное пушистою черною бородкой. Приложив руку к груди, он почувствовал слабое биение сердца в теле мнимо-умершего.

Изучив на военной службе приемы приведения в чувство утопленников, он быстро начал качать его, вращая руки и надавливая на грудную клетку. Долго пришлось возиться с ним, уж хотел бросить, устал до изнеможения, но упрямство заставляло его неутомимо работать, пока не показались признаки жизни.

Изо рта вместе с водой вырвались звуки первого вздоха и вскоре мертвец ожил, но был так слаб, что Зозуля принужден был перенести его на сухое место берега, где и положил свою ношу под защитой ветвей низкорослого дуба.

III.

Тихо в избушке сторожа. За печкой-лежанкой трещит неугомонный сверчок.

Тусклое пламя лампы освещает убогую обстановку жилища.

Ветер, бушевавший всю ночь, под утро стих. Тайфун пронесся дальше к берегам Сахалина.

На широкой скамье, накрытый полушубком, лежит молодой браконьер, спасенный Зозулей. Он спит; его мерное дыхание колышет полы полушубка. Бледное лицо спокойно, как у спящего ребенка.

Рядом на табуретке сидит, скрестив на груди руки, Зозуля и смотрит пристально в лицо спящего.

Одинокий, всеми забытый, таежный бродяга чувствовал, что в душу его проникает тепло, и холодное, очерствелое сердце его согревается от присутствия чужого человека, беспомощность и слабость которого рождали новое неиспытанное чувство жалости.

Спавший пошевелился и открыл свои большие, темные глаза. Сначала ему все казалось сном, он напрягал свою память и не мог объяснить окружающего. Наконец, приподнявшись на локтях и заметив около себя человека, он проговорил: „Где я? Ведь я утонул?!“

— Лежи, лежи;—сказал вполголоса Зозуля, осторожно кладя молодого человека на постель,—говори лежа. Тебе надо отдохнуть! Пей пока горячий чай с ромом. Потом будешь меня расспрашивать, а теперь слушайся!...

Осторожно и нежно, как заботливая нянька, Зозуля поил незнакомца горячим чаем.

С удовольствием смотрел он на молодое существо, возвращенное им к жизни.

Он любовался красотой молодого, свежего лица, и был несказанно доволен тем, что ему, одинокому бобылю, обязан этот юный человек своим спасением.

Выпив несколько кружек душистого чая, молодой человек вполне оправился и сел на скамейке, спустив на пол ноги.

Бледная утренняя заря глядела в маленькое тусклое оконце избушки.

Зозуля помог незнакомцу надеть его, высушенную на печке, одежду.

На вид ему было не более двадцати лет. Высокий и стройный, он казался красавцем в этой скромной убогой обстановке.

— Как звать-то тебя?—спросил его Зозуля.

— Имя мое Алексей, а по фамилии, значит, Крутых,—ответил незнакомец.

— Вот видишь-ли, Алексей—продолжал Зозуля, положив ему руку на плечо,—я тебя вытащил полумертвого из воды около баркаса и кое-как отходил. Бог видно покарал твоих товарищей и они все утонули...

— Нет не все!—произнес в волнении Алексей,—двоих вы убили, тогда мы отогнали баркас в море и думали отстояться там, а потом снова итти к берегу, но налетел этот проклятый тайфун, перевернул баркас и видно никто кроме меня не жив!—с этими словами молодой человек отвернулся к стене и крупные слезы закапали одна за другой на грязный полушубок.

Видя горе и тоску его, Зозуля проговорил:

— Ничего, Алексей! Надо смириться перед Божьей волей! Видно так надо. Против Него не пойдешь!... А кто был с тобою на баркасе?—после короткой паузы спросил Зозуля,—может отец или братья?

— Да, брат был со мною, старший! Он вел баркас наш и убит первым,—ответил Алексей, стараясь сдержать рыдания и заглушить тоску, сжимавшую сердце тисками.

При этих словах Зозуля потупился и замолчал.

Сверчок трещал неистово. Издалека доносился рев океана.

Разсветало быстро. За окном чирикали воробьи, начавшие свой хлопотливый день.

Успокоившись, Алексей тряхнул своими темными кудрями и сказал, обращаясь к своему спасителю:

— Да, видно на то воля Божия! Вы, сторожа, не виновны в смерти моих близких и товарищей!... Вы делаете свое дело, мы свое! Хлеб жевать каждому надо!...

Зозуля поднял голову и с благодарностью посмотрел на молодого человека.

— А где живете вы?—спросил он Алексея, снявшего со стены винтовку и любовавшегося изящной ее отделкой.

— Живем недалече, на Сучане. Что знаешь? Село Владимировка,—ответил, Алексей, прицеливаясь в окно.

— А из каких вы будете? Здешние или российские?—продолжал допрос Зозуля.

— Рассейские,—ответил молодой человек,—я то родился здесь, а старший брат по пятому году приехал сюда с отцом и с матерью. Мы воронежские, из-под самого города. Спервоначалу сильно бедствовали здесь, на новых местах, ну, а теперь ничего, живем не плохо: земли много, сдаем в аренду китайцу, ну, а сами зверуем... Ничего, хороша твоя винтовка!—продолжал он,—вот ежели мне бы такую—благодать! Сколько плачено?...

— Не знаю право. Она не моя,—казенная, от хозяина,—отвечал Зозуля,—да что, если деньги есть, можно купить такую же во Владивостоке; рублей шестьдесят стоит.

Разговаривая и узнавая друг друга, хозяин и гость вышли из избы

Солнце только что показалось на горизонте и медленно выплывало из тумана, стлавшегося по поверхности бурного моря. Воздух был неподвижен, но волны, с белыми пенистыми гребнями, набегали на скалистый берег и глухо рокотали.

Слышен был крик проворных чаек—рыболовов и свист куликов.

Пахло соленою водою, водорослями, свежею рыбою и слышался особенный, специфический крепкий запах моря.

Молочно-белые клубы тумана, под влиянием тепла солнечных лучей, тронулись, поплыли и поднялись кверху, растаяв в синеве неба.

Великий Океан шумел.

IV.

Жаркий полдень. Солнце немилосердно палит. Камни мостовой тротуары и стены домов Светланской улицы Владивостока накаляются и пышат жаром. Движение приостановилось. Только рабочий и деловой люд снует по опустевшим улицам. Китаец носильщик проплетется со своей громоздкою ношей, на рогульках за плечами, да редкий извозчик, понукая разбитую на ноги лошадь, проедет мимо богато-обставленных витрин больших магазинов.

Отсюда вид на бухту. Там тоже как-бы замерло все. Стоят недвижимые темные силуэты крейсеров; вправо у коммерческой пристани чернеют корпуса морских гигантов, коммерческих судов.

Там жизнь не замирает, скрипят и визжат подъемные краны, гремят гигантские цепи, гудят свистки и сирены, кричат свое монотонное: «ну, еще!» китайцы грузчики.

Вдали, в тумане сереет, словно туча, громада Русского острова.

Над городом, в скалистых твердынях гор, застыли в своем грозном спокойствии жерла гигантов-орудий.

На самом солнопеке, у входа в большой магазин, темнела фигура индуса-сторожа. Красная чалма его, бронзовое лоснящееся лицо, обрамленное черною курчавою бородкой, большой орлиный нос и синевато-белые белки глаз, напоминали о далекой, жаркой родине этого человека, о стройных кокосовых пальмах, о сказках и чарующей красоте экзотических стран.

При появлении покупателей, он безшумно поднялся, вытянувшись во весь свой высокий рост, потянул за шнурок пневматического запора и слегка наклонил голову.

В магазине было много народу, многие заходили сюда, спасаясь от духоты пыльной улицы.

За одним из прилавков стоял среднего роста человек, черноволосый; тонкие, короткие усы нависали над крутым, упрямым подбородком; из под густых черных бровей сверкали небольшие, выразительные глаза. Это был Зозуля, зашедший сюда для закупки всего необходимого на остров.

Пока он выбирал и откладывал в сторону взятое, к нему подошел красивый молодой человек в соломенной шляпе и дорожном брезентовом плаще, запачканном в дегте и забрызганном грязью.

— Здравствуй, Афанасий!—что не узнал меня? А помнишь тайфун и бурю на острове?—проговорил он, хлопая Зозулю по плечу и радостно улыбаясь.

— А, здравствуй! Ты—Алексей? Как же, помню! Вот не думал, что снова встретимся!—быстро, скороговоркой отвечал Зозуля, беря руку молодого человека.

— А я не один здесь. Отец и сестра в магазине. Да вон они идут сюда. Постой, я тебя познакомлю!—не выпуская руки Зозули из своей, волнуясь говорил Алексей.

В это время к ним подошли двое; высокий, похожий на древнего патриарха, старик и молодая девушка, весьма похожая на Алексея, но миловиднее и ниже его ростом. Отец, по своему степенному виду, напоминал купца старого закала; в руках его пестрели кульки, коробки и свертки, он удивленно смотрел на сына своими строгими, умными глазами. Дочь одета была по деревенски, но богато: отец не позволял ей носить модное «французское» платье; на голове ее повязан был шелковый платок алого цвета, что очень шло к ее смуглому, румяному лицу. Темная толстая коса выбивалась из под платка и падала ниже колен. Лукавые большие глаза устремлены были на брата и его, поникшего головой, приятеля.

Зозуля чувствовал себя неловко, он видел перед собой недавнего смертельного врага, отца убитого им браконьера. Но общее радушие и присутствие спасенного им человека несколько примирили его с обстоятельствами и он стал охотно отвечать на вопросы Ивана Крутых, отца Алексея.

Екатерина, сестра последнего, не принимала участия в разговоре и сбоку посматривала на Зозулю.

Узнав, что сын познакомил его с главным сторожем острова, знаменитым и страшным для хищников Зозулей, старик нахмурился, изменился в лице, по которому пробежала какая-то неуловимая тень и отвернулся в сторону; но вскоре справился с собой и заговорил весело, как ни в чем не бывало. Екатерина следила за отцом и также менялась в лице, отражая на себе его настроение.

— Очень, очень приятно! — говорил Иван Крутых, беря Зозулю под руку и помогая ему нести покупки,—я давно мечтал познакомиться с вами! Вы, можно сказать, знаменитость. О вас знают везде по всему побережью моря. Недавно родной сын мой погиб около этого проклятого острова, но я смирился. Знаете-ли, судьба, Воля Божья! Я не пускал их обоих. Но что будешь делать с теперешней молодежью?! Куда там, не слушают! Поехали, и что-же? Один убит, а другой остался цел и не сидит в тюрьме только благодаря вашей доброте! Мне Алеша все рассказал. Благодарю, благодарю вас!...

Зозуля слушал старика и не смел поднять на него глаза свои; он чувствовал себя убийцей сына его, но вины за собой не видел.

— Поскорее бы отделаться от этого старого браконьера!—думал он, идя рядом с ним по улице,—Алексей душевный хлопец, а этот — продувная бестия, сразу видно! Ну, а дочка должно быть такая же, как и сын. Глаза хороши. Так в душу и смотрят тебе...

— Вы где остановились?—спрашивал, между тем старик, заглядывая ему в глаза.

— Я остановился у своего хозяина и сегодня еду с ним назад на остров!—поспешил заявить Зозуля и солгал, лишь бы поскорее отделаться.

— Может-быть зайдете к нам, тут недалеко, гостинница «Уссури». Знаете?—заговорил вкрадчиво Крутых,—пообедаем вместе! Угощу на славу! Я ведь обязан вам спасением сына!..

Видя, что упрямого Зозулю не убедишь, он обратился к дочери и сказал, выразительно на нее посмотрев: «Проси же, дочка! Зови гостя дорогого! Пусть сложит гнев на милость!».

Екатерина не заставила себя упрашивать, вскинула прекрасные глаза свои с темными пушистыми ресницами и сочным грудным голосом заговорила:

— Что это вы выдумали отказываться! Не хотите принять хлеба-соли от простых людей?! Гнушаетесь нами! Приходите же! Я вас очень прошу!—при этом она повела соболиными бровями и в темных глазах ее блеснул лукавый огонек.

—Афанасий! Я тоже прошу тебя об этом!—проговорил Алексей, — сделай это для меня!—

Нечего было делать, пришлось согласиться; очень уж пленили сурового таежника чудные очи красивой девушки.

— Хорошо, только приду я попозже. Так, через час. Надо предупредить хозяина,—ответил Зозуля, садясь на извозчика.

Отъехав немного, он обернулся и ясно видел, что девушка несколько раз посмотрела в его сторону и кивала ему головой.

Смутный и сбитый с толку, как в тумане, ехал он по Светланке и образ красавицы не выходил у него из головы.

V.

Придя в свой номер, старик Крутых услал сына за закусками и между ним и дочерью произошел такой разговор:

— Катюша, а знаешь ли, у меня к тебе большая просьба, или, вернее, ты должна послужить миру. Ты понимаешь меня?

— Как не понять, отец! Ты хочешь, чтобы я уговорила этого старого волка позволить поохотиться на острове? Знаю, знаю! Мне долго объяснять не надо. Но за успех я не ручаюсь. Кремень, а не человек!—отвечала, накрывая на стол, Екатерина.

— Ну, ну, постарайся! Что тебе стоит?! Ведь не впервое. Помнишь лесника на Имане? Обработала в лучшем виде! Не пикнул! Постарайся, постарайся дочурка. Мир тебя не забудет. Уж вот как уважит. И мне плохо не будет. Ты подумай только: тысяч до десяти выручим за одни панты. Для этого можно потрудиться. Окрути его так, чтобы стал шелковый, да послушный. Из волка сделай ягненка. Бабе на то сила дадена!.. Тилько—чур! Алексею ни слова! Он с ним побратался. Только помешает. Ну, дай я тебя за это поцелую!...—с этими

словами отец взял чернокудрую головку девушки и поцеловал ее в белый широкий лоб.

В коридоре послышались шаги и разговор, и в номер вошел Алексей, а за ним смущенный Зозуля.

— А, гость дорогой! Пан Зозуля!—воскликнул старый браконьер, усаживая главного сторожа заповедного острова в кресло;—вот разуважил! Вот спасибо! Люблю! Ну, садись к столу! (старик перешел уже на «ты»).

Во время обеда, длившегося более двух часов, хозяева усердно подчевали гостя и подливали ему водку, вино и коньяк. Под конец старик так расчувствовался, что потребовал шампанского. Екатерина, сидевшая рядом с Зозулей, кокетничала с ним напропалую, под столом жала ему ногу и неожиданно поцеловала его в губы. Старый лесной бродяга, таежный волк, ни разу не видавший вблизи молодой женщины, сразу потерял голову, и принимая все за чистую монету, увлекся до самозабвения, как может увлечься нетронутая, сильная, упрямая натура.

Старый браконьер ликовал, подмигивал дочке, хлопал Зозулю по плечу и кричал: „Горько!", заставляя их целоваться.

Алексей в это время уже спал на диване, совершенно опьяневший; он ничего не видел и не слышал.

Видя, что он здесь лишний, Иван Крутых незаметно вышел в соседнюю комнату отдохнуть.

— Афанасий, я полюбила тебя!—говорила между тем молодая девушка, сидя на коленях у обезумевшего от страсти Зозули, и прижимаясь к нему разгоряченным, пылавшим лицом.

— Да, я люблю тебя Катря. Пойди за меня замуж!—повторял он, целуя и обнимая ослабевшую дочь браконьера,—на острове нам будет хорошо! Я получаю большое жалованье! Заведем свое хозяйство! Я построю тебе новую хату! Одевать буду, как королеву. Пойдешь? Да? Ну, говори же скорей?! А то я задушу тебя, ей же Богу!— так бормотал Зозуля, словно в бреду, забывая все на свете, смотря в темные, загадочные глаза жгучей красавицы.

— Мне не надо твоих денег! Не надо твоих нарядов и богатств! —уверяла Екатерина, гладя своею мягкою, как у кошки, ладонью маленькой изящной руки, по лицу влюбленного,—мне полюбился ты! И больше ничего не хочу!...

— Но прежде, чем я дам тебе слово, я потребую исполнить одну мою маленькую просьбу!—проговорила она, после недолгого раздумья.

— Я все сделаю для тебя, жизнь моя! Требуй от меня чего хочешь!—шептал в упоении Зозуля,—я жизнь свою отдам тебе! Исполню все! Ну говори же! Не мучай меня, моя голубка!...

Посмотрев на спящего брата, Екатерина наклонилась к уху своего кавалера и прошептала:—я хочу, чтобы ты позволил нам поохотится на острове один день, с утра до вечера. Согласен? Тогда я твоя! Если не хочешь—значит не любишь!...

Зозуля был поражен неожиданностью. Взор его затуманился и сердце сжалось до боли. Он колебался, но таинственные чары женщины победили волю, сломили железный характер его.

Зозуля плакал жгучими безнадежными слезами. Он видел под собой пропасть и не в силах был остановиться.

— Как?! ты плачешь?! Ты, Афанасий Зозуля?! Где же твоя любовь, о которой говорил сейчас? Ты лгал мне! Тебе дороже твой хозяин, чем я! Ты раб! Ты собака, которая лежит на сене, сама не ест и другим не дает! Уйди от меня, постылый! Прочь! Ищи себе другую жену, такую же рабу, как сам!—с этими словами девушка соскочила с колен Зозули, но была удержана порывистым движением последнего.

— Я твой! Твой! Делай со мной, что хочешь!—повторял в исступлении таежник,—я плачу от душевной муки, от горя, что гложет мое сердце, которое ты вынула из груди моей! Я не отказываюсь от слов своих. Я согласен на все!..

— Вот, это другое дело!—сразу изменила тон лукавая красавица,—теперь я вижу, что ты любишь меня. Поговорим о деле. Будет тебе обниматься. Успеешь еще! Погоди, скоро надоем тебе. Все вы мужчины таковы! Ну, верю, верю! Нечего!—говорила она, вырываясь из рук Зозули и отстраняя от своего лица разгоряченное страстью лицо его.

— Видишь ли, мы приедем к острову на двух лодках. На одной я, отец, брат, дядя и его два сына, на другой семья брата покойной матери. Народу будет много! Долго не засидимся. В это время ты отведи как нибудь сторожей на южный берег, чтобы они весь день и всю ночь проспали. Выдумай, что ты справляешь свои именины и дело в шляпе. К вечеру добытые панты свезут к лодкам, и поминай, как звали! Хорошо?!

— Да ты умница! Настоящий министр!—проговорил, очарованный деловитостью красавицы, Зозуля.

— Подожди, еще не все. Когда они уедут с острова, я приду к тебе и будем жить, как муж и жена. Потом можно и перевенчаться; что, хорошо я придумала?! А сторожа и знать ничего не будут. Ты подсыпь им какого нибудь зелья, чтобы крепче и подольше спали! Туши оленей наши тоже увезут, а что не увезут, то бросят в море; следов никаких и не останется. Что, недурно?! Ах ты мой хороший! Дай же я тебя поцелую по своему, крепко!—тут сильная, сложенная как Венера, дочь старого таежного хищника, обняла обессилевшего от вина и любовного хмеля, Афанасия Зозулю и прижала его к высокой упругой груди своей.

В спальной зашевелились. Послышался кашель, и в комнату вошел Иван Крутых, жмурясь от яркого света солнечных лучей, врывавшихся в открытое окно, открывавшее великолепный вид на бухту „Золотой Рог“.

— Ну что, детки, пора бы и чаек попить!—проговорил старик внимательно оглядывая смущенного Зозулю и пытливо посмотрев на дочь,—Алешка! Лодырь! Вставай! Ишь разморило как! Будем чай пить! А вечером закатимся в иллюзион. Кутить так кутить. В кои-то веки вырвешься из тайги в город! Надо пользоваться. Ну-ка, нажми эту самую пуговку, пусть дадут самовар,—обратился он к Алексею, сидевшему на диване и зевавшему во весь рот.

Вошел половой с салфеткой под мышкой.

Зозуля встал и начал прощаться, говоря, что ему необходимо видеть хозяина и побывать в городе.

На прощанье Екатерина крепко его поцеловала, растроганного и умиленного. Незаметно она успела шепнуть ему на ухо: „24 июня!“

На следующий день, купив все необходимое, полный светлых надежд, Зозуля отправился на остров.

VI.

Тихо на море. Где-то вдалеке прокричал сивуч. Предрассветный ветерок набежал на берег и колыхнул ветвями могучих дубов, подступивших к самой круче, над пучиной.

Вскоре багровый диск солнца показался из туманной дали горизонта и плавно, величаво вознесся над темносинею водяною пустыней, бросив на нее пучок золотисто-багровых искр.

Стрижи и ласточки, покинув свои гнезда на береговых утесах, зареяли в воздухе. В сторожке, у самого обрыва над морем, собрались все служащие острова. Главный сторож, Афанасий Зозуля, угощает их, справляя свой день рождения.

Высадки браконьеров днем ожидать нельзя, можно и погулять! А ночью опять на свои посты, с винтовками в руках, в ожидании непрошенных гостей.

Сидят за крепким дубовым столом вкруговую суровые, закаленные в борьбе с непогодой и людьми, оторванные от мира сего сторожа-охотники и вином заливают невеселые думы свои.

Уж много раз наполнялись стаканы; развязались, отвыкшие говорить, языки; отлетели прочь все черные думы; светлее стало вокруг; расширился кругозор и новые смелые мысли явились на смену прежним, безотрадным.

Зозуля пил мало, часто выходил из сторожки и к чему-то прислушивался. Изредка улавливал слух его отдаленные выстрелы, тогда лицо его искажалось страданием и тонкие, сухие губы шептали молитву: „Господи! Прости меня грешного!“

Недолго бражничали сторожа. К полудню все они лежали в тяжелом, глубоком сне, кто на полу под столом, кто на лавке, а кто раскинулся и на дворе.

Оставив им для похмелья четверть водки, Зозуля пошел в свою сторожку, на северный берег. Там все уже было готово, чтобы принять дорогую гостью.

Солнце стояло низко. Выстрелов давно не было слышно. Не вытерпел Зозуля и, взяв потайной фанарь, на случай позднего возвращения, вышел из дома.

Воздух был неподвижен. Парило. На юго-западе у самого горизонта медленно ползла черная туча.

— Будет тайфун,—подумал Зозуля и быстрее зашагал по знакомой горной тропинке. Скоро отмель. Там должны быть их лодки. Отсюда, с высокого утеса, виден весь берег. Нет, ничего не видно!

В это время от утеса отплывали два баркаса, переполненные людьми и дорогой добычей. На заднем баркасе Зозуля ясно различил стройную фигуру женщины, с винтовкой в руке. Это была Екатерина. Она стояла на корме и махала ему белым платком. Суровый таежник понял все. Безумный огонек сверкнул в его очах. В отчаянии он поднял руки к небу и бросился с высокого утеса в море.

Темная, таинственная пучина клокотала и грозные, могучие волны разбивались о каменную грудь одинокого острова.

Утлые баркасы смело шли вперед, рассекая гребни набегающих валов.

Великий Океан шумел. Тайфун приближался...

25. МЕСТЬ СТАРОГО ХУНХУЗА.

Солнце только что показалось из-за далеких лесистых хребтов Ляо-Лина, темневших на горизонте, подобно грозовой туче.

Глубокое синее небо отражалось, как в зеркале, в заводях и тихих затонах Мидиан-хэ.

Седые туманы ползли из падей и ущелий к вершинам сопок.

Был конец сентября. Листва кустарников и лесов, камыши и травяные заросли долин утратили уж свою зеленую окраску знойного лета и оделись в пестрые цвета глубокой осени, напоминая роскошный персидский ковер.

Свежий, морозный воздух был чист и прозрачен, как горный хрусталь.

По каменистой дороге, извивавшейся вдоль берега реки, ехали два всадника.

Маленькие, но крепкие лошадки горячились, мотали своими лохматыми большими головами и рвались вперед.

Всадники-китайцы сидели на высоких нарядных седлах; в руках их, на тонких медных цепочках, виднелись гордые фигуры соколов сапсанов. Изредка хищники вскидывали свои длинные серповидные крылья и перекликались друг с другом.

Издалека доносились крики болотной и водоплавающей птицы.

Над головами всадников неслись караваны пернатых странников; бесконечные вереницы их тянулись к югу, в благодатные страны тропиков. Китаец, ехавший впереди на прекрасном белом иноходце, одет был в синюю шелковую курму и меховую рысью шапку. Широкое меднокрасное лицо его, с узкими щелевидными глазами, было бесстрастно, но в глубоких черных зрачках его таился огонь страсти и неудержимого азарта.

Богатый землевладелец и любитель соколиной охоты, Пей-чан счастливо жил со своей многочисленной семьей на своем хуторе в урочище Миди. Много хлеба вывозил он на арбах на русскую станцию Хайлин; были у него и заводы свои, где давили масло из бобов и гнали ханшин из гаоляна.

Работы окончены. Хлеб продан. Деньги сданы в банк в городе Нингуте. Время свободное, делать нечего, и выехал старый Пей-чан со своим любимым соколом и работником Кой-чи на охоту.

— Я слышу крик лебедей!—сказал старый слуга Кой-чи, устремляя свои острые дальнозоркие глаза вдаль—вон там, далеко на озерах!

— Вижу, вижу!—ответил Пей-чан и поскакал по указанному направлению.

Охотники спрятали соколов в широкие рукава своих халатов и неслись по кочковатому болоту к светлой полосе видневшегося озера. Только привычные монгольские лошади могут итти по болоту, не проваливаясь по кочкам, не спотыкаясь; всякая другая лошадь, не местная, здесь непригодна.

На тихой поверхности голубого озера плавали стройные, величавые, белые лебеди, изогнув свои гибкие тонкие шеи, подняв могучие широкие крылья.

Топот лошадиных копыт приближался.

Почуяв опасность, старый лебедь-вожак насторожился, вытянул свою длинную шею, подобрался, сложил крылья и загоготал протяжно.

Птицы замерли в ожидании. Белые фигуры их отражались в лоне вод, как в зеркале.

Не доскакав до озера шагов пятьсот, всадники остановились, соскочили с коней, быстро освободили соколов и подняли их над головами. Желтые искристые глаза хищников искали добычу. Заметили. Несколько взмахов крыльев и серые их фигуры замелькали в синеве неба.

При виде смертельного врага, лебеди засуетились, захлопали крыльями по воде и один за другим плавно поднялись на воздух.

Оба сокола, как бы сговорившись, устремились на заднего лебедя, взлетевшего последним.

Лебединый вожак летел впереди и, увидя погоню, крикнул громко своим зычным голосом. Сигнал был понят товарищами, птицы сбились в кучу и полетели быстрее, подымаясь все выше и выше.

Хищники не отставали от лебедя и старались отрезать его от остальных, что им вскоре удалось. Лебедь метнулся в сторону, крикнул и начал увертываться от налетевших врагов.

Преследуя добычу вдвоем, сокола стараются взять ее в вилку, т. е. один бьет птицу сверху, другой снизу. Так было и теперь. Налетая на ослабевшего лебедя с двух сторон, они поймали момент и почти одновременно вцепились в большую, могучую птицу.

Лебедь вздрогнул, метнулся кверху, крикнул жалобно, беспомощно замахал сильными крыльями и ринулся вниз, вместе со своими убийцами, мелькая в небе ослепительно белым своим оперением. Вскоре он исчез за далеким холмом.

Охотники, сидевшие на конях, с напряженным вниманием следили за всеми перипетиями воздушной драмы, неслись вскачь за улетевшими птицами, жестикулировали, ободряли хищников восклицаниями: „Io! Io! Та! Та!“ и сами превращались в хищников.

Когда Пей-чан подъехал на взмыленном иноходце к лебедю, он был уже мертв. Оба сокола сидели на его белоснежной груди, запустив острые крючковатые когти в тушу птицы. Увидя хозяина, они подобрались, вытянули свои горбоносые головы вперед и заклектали довольными голосами.

Соскочив с лошади, Пей-чан не без труда снял хищных птиц с лебедя и надел им на лапы цепочки.

Кой-чи выпотрошил добычу, отдав соколам сердце, разрезав его пополам. Жадно набросились хищники на теплые окровавленные куски и быстро их заглотали.

Старый Пей-чан был доволен работой своего любимца, он взял его на руки, гладил по голове и называл разными ласкательными именами.

Как сына любил старик своего сокола. Три года тому назад он сам добыл его из гнезда, сам выходил его и выучил. Много труда положил старый охотник. Сокол знал своего хозяина и издалека прилетал на его зов.

Приторочив лебедя к седлу, Пей-чан лихо вскочил на коня и поскакал к зарослям шиповника, темневшим вдалеке.

— Здесь есть фазаны,—произнес старик, осаживая коня и вынимая из рукава притаившегося сокола,—ты, Кой-чи, поезжай в другой конец, а я буду работать здесь.—

Оставшись один, Пей-чан снял цепочку с ноги своего любимца и, посадив его на руку, поднял кверху. Вскоре из под ног лошади с характерным треском вылетел фазан, блестя на солнце золотисто-бронзовым оперением.

Дико вскрикнул встрепенувшийся пернатый разбойник и стрелой понесся вслед за фазаном, загнув свои узкие крылья назад. Не успел фазан опуститься на землю, как его сверху оседлал свирепый преследователь и вонзил острые когти в спину.

Как подсеченный упал злосчастный красавец-петух на землю, стараясь освободиться от цепких объятий хищника, но один, два удара крепкого клюва его было достаточно, чтобы фазан затих.

Получив в награду горячее сердце, сокол спокойно уселся на луке седла своего хозяина и начал приводить в порядок смятое оперение.

Солнце поднялось высоко и жгло, как летом. В воздухе парило. Паутина белыми комками и нитями носилась повсюду. Издалека доносились звуки выстрелов. Сокол перестал оправляться и прислушивался. Выстрелы приближались.

— Должно быть русский охотник,—подумал Пей-чан, привязывая коня к дереву и раскуривая длинную трубку с янтарным мундштуком.

Вскоре вблизи загремел выстрел и на поляне показался русский охотник. За плечами у него висела большая связка фазанов. Собака его, полукровный гордон, заметя китайца, бросилась вперед с лаем.

— Назад! Назад! «Жук»!—кричал охотник, стараясь отозвать к себе собаку.

В это время сбоку вырвался фазан и закокав полетел над головою Пей-чана.

Насторожившийся хищник, увидя над собой летящую птицу, взмыл как молния вверх и вонзил в черное брюшко фазана свои цепкие когти; почти одновременно раздался выстрел и обе птицы камнем упали на желтую сухую траву кочковатого болота.

— Вот же тебе! Не разбойничай!—проговорил охотник, закладывая свежий патрон в ружье и приближаясь к пораженному удивлением китайцу.

Собака стояла уже над птицами и не знала на что решиться. Возле убитого фазана лежал на боку смертельно раненый сокол; желтые глаза его сверкали и дико озирались на столпившихся вокруг него людей.

Убедясь что его любимец ранен, Пей-чан как безумный схватил птицу на руки, стараясь рассмотреть рану.

Под левым крылом чернела небольшая ранка; дробина вошла внутрь, очевидно, задев важные органы.

Сокол заметно ослабевал. Гордые, дикие глаза его подернулись мутною влагой; агония наступала быстро; вскоре судороги ног и крыльев закончили счеты с жизнью пернатого хищника и безжизненный труп его лежал на руках молчаливого старого Пей-чана.

— Кончено!—произнес он, спрятав птицу в свой широкий рукав и так выразительно посмотрел на сконфуженного русского охотника, что последний долго не мог отделаться от жуткого, гнетущего чувства.

— Ничего ничего, ходя!—оправдывался он,—ты достанешь себе другого ястреба. Вон сколько их летает на воле. У нас даже награду дают за битого хищника.

Китаец не сказал на это ни слова, только покосился на него вбок и произнес:

— Ходи моя фанза чифань и суте (есть и спать). Шибко знакомы,—с этими словами Пей-чан ускакал, унося в рукаве, прижатом к груди, своего любимого мертвого сокола.

Кой-чи едва поспевал за ним и догнал хозяина только у самого дома.

Русский охотник Сомов, приехавший из Харбина поохотиться на фазанов в знаменитых угодьях долины реки Мидиан-хэ, не зная ни местных условий жизни, ни обычаев, находился в затруднительном положении под вечер, когда, нагруженный битыми фазанами, уставший и голодный, подошел к одиноко стоявшему хутору богатого поселянина. Возвращаться на линию дороги было поздно; солнце скрылось уже за темными силуэтами Чжан Гуан-Цайлина и в вышине темносинего неба сверкнули звезды.

От горных вершин повеяло холодом. Сомов подошел к ближайшей фанзе и сбросил у порога фазанов.

«Жук» еле волочил ноги и, видя, что хозяин дальше не пойдет, разлегся посреди двора, не обратив внимания на китайских псов, встретивших его не совсем дружелюбно.

Для ночлега Сомову отвели летнюю фанзу, стоявшую на отлете, под скалистым холмом.

Пей-чан, узнав, что охотник просит приюта на ночь, охотно принял его к себе, угостил ароматным чаем первого сбора и сам проводил до летника.

Каны в фанзе были натоплены и Сомов расположился на них, как дома.

«Жук» спал уже в растяжку на полу и во сне взлаивал и дергал ногами, переживая жгучие моменты сегодняшней охоты.

Про убитого сокола старый Пей-чан не говорил и ни разу о нем не вспоминал в разговоре, несмотря на то, что Сомов несколько раз заводил о нем речь, стараясь доказать свою невиновность. Старик отмалчивался и повторял: «Бу-чи-до!» (не понимаю).

Небольшая доза ханшина, выпитая Сомовым, быстро на него подействовала, сон клонил его тяжелую голову и скоро он заснул, растянувшись во всю ширину узких кан.

Убедясь, что охотник спит крепко, Пей-чан потушил светильник и вышел из фанзы, затворив за собою дверь.

Темная сентябрьская ночь окутала землю.

Морозный воздух наполнен был ароматом павшей листвы и гниющих растений.

Одинокий хутор старого Пей-чана затих и погрузился в сон.

Из ближайшего дубового леса доносились крики козлов. Где-то далеко, далеко ревел изюбрь и могучий голос его, то понижаясь, то повышаясь, будил многократное горное эхо.

Все обитатели хутора спали, кроме старика хозяина, он долго неподвижно сидел у своего прадедовского очага с трубкой во рту и думал свою тяжелую думу. Труп убитого сокола, уже окоченевший, лежал перед ним на канах. Лицо старика было бесстрастно, но в диких безумных глазах искрились красноватые огоньки неукротимой зло-

бы, или то отражался огонь тлевших угольев на каменном низком очаге. Худые крючковатые пальцы, с длинными серповидными ногтями, напоминали лапы хищной птицы, и сам Пей-чан всей своей фигурой походил на старого горного коршуна. Когда-то он был видным хунхузом, но разбогатев, бросил свое ремесло.

Выкурив трубку и выколотив ее о край толстой подошвы своего башмака, он взял бережно мертвого своего любимца, погладил его плоскую голову и вышел с ним во двор.

Под развесистым старым вязом стояла небольшая деревянная кумирня. Подойдя к ней, старик выдернул из крыла сокола большое маховое перо, поднял его кверху и воткнул в священный пепел алтарика, произнося какие-то заклинания. В ближайших приречных зарослях завыл голодный волк, ему ответил другой из дубового леса. Где-то на дальнем хуторе залаяли собаки.

Зайдя под навес сарая, Пей-чан снял с гвоздя связку фазанов охотника и пошел к летнику, чутко прислушиваясь. Все было тихо.

Отворив осторожно дверь, он вошел и бросил фазанов на пол. Мертвого сокола погладил по голове и положил бережно на холодный очаг.

Сомов безмятежно спал, разметавшись на канах. Одна рука его свесилась вниз.

Старик подошел, осторожно поднял ее и положил рядом со спящим.

«Жук» поднял было голову, но снова вытянулся, глубоко вздохнул и затих.

Постояв немного около спящих, хозяин вернулся в свою фанзу, набрал в лопату углей с очага и отнес их в летник, где бросил на холодный каменный пол. Затем он откуда-то принес две лопаты свежих углей и бросил туда же.

Синий зловещий огонек пробежал по углям, затрещали искры и вскоре удушливый ядовитый угар пополз вверх к черному потолку, заполняя все углы, все щели небольшой фанзы.

Затворив плотно дверь и подперев ее колом, старик отошел к кумирне, стал на колени, воздел руки к темному звездному небу и начал молиться своему таинственному, зловещему богу.

Тихая осенняя ночь плыла над сонною долиной Мидиана. В вышине темного неба летели станицы журавлей, их мелодичное курлыканье то раздавалось близко, над самою головой, то затихало вдали безбрежного океана.

Удушливый угар между тем делал свое ужасное дело и сон охотника незаметно переходил в неопробудный вечный сон смерти.

Окончив молитву, Пей-чан подошел к летнику и стал прислушиваться; ничто не нарушало торжественную тишину ночи; в фанзе было тихо, как в могиле, но чуткое ухо старика улавливало глухие, невнятные звуки: как будто стонал человек слабым умирающим голосом. Собака ползла к двери и тихо взвизгивала.

— Пора,—подумал старый хунхуз и тихо, крадучись, как тигр, проскользнул в свою фанзу, откуда вынес бутылку с керосином и спички.

Через несколько минут летняя фанза, где помещался злосчастный охотник со своей собакой, запылала со всех сторон. Длинные языки красного пламени вздымались к темному небу; столб огненного

дыма и искр, клубясь, уносился к далеким, равнодушным ко всему, звездам.

Пей-чан стоял невдалеке, любуясь делом рук своих. Освещенный красноватым заревом пожара, он напоминал злого духа, вышедшего из огненной глубины преисподней.

Зловещая дьявольская усмешка кривила беззубый рот старика; в диких, безумных глазах его горели кроваво-красные огоньки.

Высохшая легкая постройка быстро пожиралась племенем и горела, как костер.

Пустынные волки, испуганные необычайным светом, прекратили вой и скрылись в соседних горах.

Старый филин-пугач, привлеченный светом, прилетел из леса и, усевшись на вершину темного вяза, кричал свое дикое, монотонное: „угу!“.

Огонь шипел и столбы клубящихся искр уносились вверх, исчезая в непроглядной темноте осенней ночи...

С добычей.

Один на один.

26. КРУПНАЯ СТАВКА.

Яркий зимний полдень. Ослепительные лучи февральского солнца, пробираясь сквозь темные вершины могучих кедров, искрятся и играют всеми цветами радуги на белой пелене пушистого снега. Я быстро шел по косогору крутой сопки, предполагая перейти через глубокую падь, перевалить еще один хребет и спуститься к речке Тутахезе, где, по рассказам звероловов, должны жировать стада кабанов.

Спустившись в узкую, глухую падь, заросшую густым кедровником, и выйдя на речку, я пошел по льду ее. Следов свиней действительно было много. Целые площади, в несколько десятин, буквально были взрыты и вспаханы кабанами. В некоторых местах под стволами гигантских кедров темнели лежки их, сооруженные из ветвей и валежника. Собаки со мной не было и я насторожился, всматриваясь в свежие следы и чутко прислушиваясь к едва уловимым таежным звукам. Изредка доносились крики ворон.

Зная по опыту, что птицы эти собираются в тайге только на падаль, я решил итти на эти крики, в надежде наткнуться на что-нибудь интересное. Подвигаясь, таким образом, по льду вверх по течению реки, я увидел совершенно свежий след крупного тигра. Он шел из каменистой россыпи, по своей старой тропе, в вершину пади.

Судя по глубоким отпечаткам мякоти его ладони и пальцев на твердом снегу, он нес какую-то добычу; и, действительно, вскоре я заметил на снегу, ясный отпечаток и след большого кабана, положенного хищником на снег. Взяв свою добычу поудобнее, тигр потащил ее дальше, ломая по пути мелкие кустарники и валежник, что он никогда не делает, идя налегке. Осмотрев винтовку и поставив курок на боевой взвод, я осторожно двинулся по следам, часто останавливаясь и прислушиваясь к тишине девственного леса.

На мгновение у меня мелькнула мысль: итти или не итти? Кругом обступила мрачная, дремучая тайга... Вершины темных кедров качались надо мной, и черный ворон, каркая, носился в вышине голубого неба. Юркая черная белка, увидев меня, засуетилась по стволу березы, села на задние лапки и с любопытством уставила на меня свои живые выпуклые глаза. С возможной осторожностью пробирался я вверх по пади, прислушиваясь, и затаив дыхание. Крики ворон становились слышнее.

Пройдя еще несколько десятков шагов, я почувствовал особый специфический запах, какой бывает обыкновенно в зверинцах, и понял, что страшный хищник недалеко.

Чтобы не обратить на себя внимание ворон и тем не выдать преждевременно своего присутствия, я лег на снег и стал подвигаться вперед ползком, прикрываясь камнями и зарослями винограда. Несомненно, зверь находился где-то поблизости, но кусты и лесная чаща заслоняли его от моих взоров.

Сердце мое усиленно стучало в грудную клетку. Кроме страха перед грозным владыкой тайги, я ощущал понятное для каждого охот-

ника чувство, названия которого нет ни на одном языке мира. Это переживание аналогично с ощущениями азартного игрока, когда он идет ва-банк, имея перед собой крупную ставку. В данном случае ставкой была жизнь.

Все эти соображения и умозаключения явились уже потом, когда дело было сделано, и всякая опасность миновала, но в то время передо мной была редкая добыча, и руководила мной только одна страсть.

Зарываясь в снег и подползая понемногу среди густых зарослей, я продвинулся еще на несколько шагов вперед. Проклятые вороны носились уже над моей головой и зловеще каркали, выдавая мое присутствие. Я смотрел на них с отчаянием и ненавистью бессилия и старался поскорее увидеть предполагаемого врага. Но сколько я ни напрягал зрение, увидеть хищника все же мне не удавалось.

Передо мной была небольшая прогалинка, в конце ее виднелся ствол колоссального тополя, и под ним темнела какая-то масса не то бурелома не то обгорелого ствола дерева. Расстояние было не более ста шагов. Я пока еще не видел, но как-то внутренне чувствовал, что там именно находится зверь. Продвигаться дальше не было возможности, так как вся прогалина передо мной была на виду; к тому же черная семья ворон решила, очевидно, выдать меня; некоторые из них подлетали ко мн довольно близко, рассаживались по деревьям, крича и волнуясь, и, как мне казалось, указывали на меня, склоняя головы на бок и щуря свои умные карие глаза.

В это время я услышал характерный звук, похожий на чавканье и хруст костей. Сомнений не могло быть. Я напрег все свое зрение, приподняв голову над зарослями. Под стволом тополя что-то шевельнулось, и тогда я ясно различил черную тушу кабана на снегу и рядом с ним другую тушу ярко-бурого цвета, с поперечными характерными полосами. В том месте снег был довольно глубокий, и мне видны были только крутой бок кабана и верхняя часть туловища тигра. Большая круглая голова его двигалась, он что то жевал держа заднюю часть кабана передними лапами.

Я замер на месте, боясь шевельнуться, забыв совершенно о надоедливых воронах; я весь превратился в зрение и следил за малейшими движениями. тигра.

Увлекшись своей добычей, хищник меня не чуял, так как обоняние у него скверное. Крики ворон, очевидно, также его не беспокоили, и он продолжал наслаждаться свежинкой. Одна храбрая ворона, перепрыгивая с куста на куст, подскочила даже к самой туше кабана, что, наконец, вывело из себя владыку тайги, и он рявкнул на нее, выбросив из своей кровавой пасти клубы пара. Ворона с испугом метнулась в сторону и с громким карканьем взвилась над лесом. Вся черная семья зашевелилась, закричала, рассаживаясь повыше на ближайших деревьях.

Стараясь не произвести ни малейшего шума и лишнего движения, я подтянул к себе ноги и стал на одно колено. Момент был решительный и бесповоротный. Теперь или никогда, мысленно пронеслось у меня в голове, и я стал тщательно наводить винтовку и прицеливаться.

Сердце продолжало стучать, и рука дрожала.. Я ясно отдавал себе отчет во всем происходящем и сознавал, что успех зависит от вы-

Удачная охота.

По тигровым следам.

держки и хладнокровия. Прицелившись один раз, я поднял голову, чтобы получше рассмотреть место, куда я наводил мушку.

Это место было белое пятно между ухом и глазом, где рсположен у всех кошек головной мозг. Пули у меня были надежные, с отверстием в центре и с надрезкой оболочки. На всякий случай, инстинктивно я левой рукой нащупал рукоятку финского ножа, висящего на поясе, и начал прицеливаться вторично. Почуял ли тигр что-нибудь, или уловил какой нубудь звук чутким ухом, но в это мгновение он поднял голову и застыл в этой позе. Настала не минута и не секунда, а тот миг, которым я должен был воспользоваться. Поймав белое пятно на мушку, я спустил курок, затем, не отнимая приклада от плеча, перезарядил винтовку и снова прицелился, но белое пятно исчезло.

Пораженный насмерть хищник бился в судорогах на туше кабана. Длинный пушистый хвост его, как пружина, взметывался вверх, поднимая снежную пыль, и извивался. Убедившись, что все кончено, я тогда только почувствовал, что ноги у меня затекли и я не мог встать. Пришлось вставать постепенно, пока кровообращение в ногах не восстановилось. В это время агония кончилась и я подошел к зверю вплотную. Передо мной лежал, вытянувшись во весь свой рост, великолепный экземпляр тигра-самца, с красивым пушистым мехом бурово-красного цвета. Черные бархатистые полосы удивительно гармонично бороздили бока и спину «властелина тайги». Желто-зеленые глаза с большими круглыми зрачками не были дики и грозны и, казалось, величаво и спокойно смотрели на темные вершины старых кедров и ясно-голубое небо, просвечивающее между ними. Пасть его была еще наполнена мясом и кровью кабана. Пуля трехлинейки вошла около левого уха в голову и разрушила головной мозг. Смерть наступила моментально. Кабан, задранный тигром, был из крупных и весил, вероятно, пудов восемь, если не больше. Тигр успел сожрать левый окорок и принялся за правый. Судя по ранам, кабан был накрыт сверху, так как затылок и часть шейных позвонков были перекушены клыками хищника. Уши и нос кабана также были изодраны когтями в клочья. Измеренный мной тигр оказался 20 четвертей длины с хвостом. Вес его вполне соответствовал величине и был около 20 пудов.

После выстрела вся черная семья ворон с карканьем и криком поднялась над лесом и долго еще летала над соседней сопкой.

Насколько во время самой охоты, я чувствовал подъем нервов и возбуждение, настолько после нее я ощутил упадок сил. Наступила реакция и я принужден был присесть на тушу мертвого тигра, чтобы успокоиться и прийти в себя.

Солнце склонялось к западу. Близился вечер. Сгустились таежные тени и поползли по склонам и гребням сопок. Отдохнув немного и приведя свои мысли в порядок, я занялся приготовлениями к ночевке, для чего необходимо было заготовить достаточное количество дров, а также устроить постель из ветвей пихт и елей.

Тих и безмолвен был дремучий лес. Ни один звук не нарушал его торжественную тишину. Надвигалась темная, как могила, таежная ночь.

---

27. ЗМЕИНЫЙ ДЕД.

В лесу темнело быстро. С партией разведчиков я остановился у фанзы зверолова. На юге, перед нами возвышался горный хребет Та-цинь-шань, один из значительных западных отрогов главного массива.

От реки Лянцзы-хэ целый день шли мы по тропе, направляясь на юг, в надежде выследить шайку хунхузов, скрывавшуюся в этих труднодоступных дебрях. Утомительная ходьба по зарослям, духота глубоких падей, по температуре не уступающая девственным лесам тропиков, заставили нас искать удобного места для ночлега и отдыха.

Убогая фанза зверолова, приютившаяся под навесом скал, на берегу журчащего ручейка, показалась нам прелестным уголком и здесь мы расположились, разведя прежде всего костры-дымокуры, от массы налетевших москитов и комаров, кусавшихся немилосердно.

Так как в фанзе нельзя было поместиться всем, то большая часть людей расположилась вокруг, под походными палатками.

Через час глухая таежная ночь накрыла нас своим непроницаемым пологом.

Красноватый огонь костров бросал трепетные блики на низкую стену фанзы и стволы старых вековых кедров, поднимавших свои темные вершины к звездному небу.

В зарослях неистово стрекотали цикады, сверчки и кузнечики. Из глубины леса неслись голоса ночных пернатых хищников: сов, неясытей и японского козодоя.

Сняв с себя почти всю одежду и предаваясь законному и заслуженному кейфу, я разлегся на канах фанзы, прислушивался к звукам летней ночи в тайге и медленно, с наслаждением, потягивал крепкий чай из жестяной кружки.

Я даже склонен был уложить свое бренное тело на пыльный и грязный каменный помост кана, пренебрегая мягкою подстилкой из папоротника, когда услышал свистки дозорных, раздавшиеся в тишине ночи.

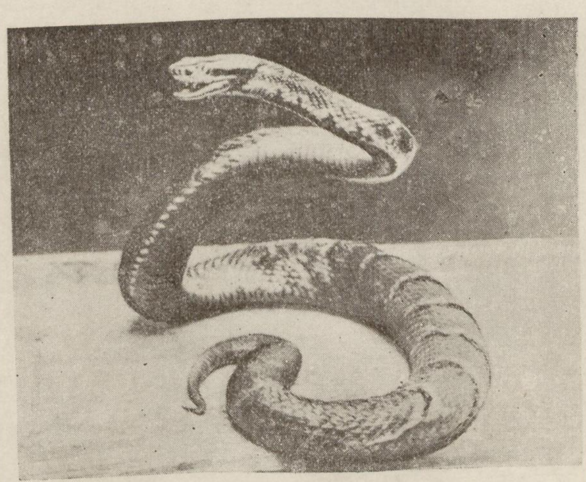
Надеть сандалии было делом одной секунды, и с винтовкой в руке я вышел из фанзы. В это время двое дозорных подвели ко мне старика-китайца. Увидав меня, почти голого, но с неизменным пенснэ на носу и с винтовкой в руке, он начал приседать и кланяться, повторяя: «Шанго, шанго, капитана»!..

Это был хозяин фанзы, старый китаец-зверолов, Тый-Зан-чи, Змеиный дед.

Узнав, что мы русские и что ему не угрожает опасность, он ободрился, стал смелее и, быстро ориетировавшись в создавшейся обстановке, принялся хозяйничать у себя в фанзе, угощая нас своими таежными деликатесами, как-то: копчеными бурундуками и крысами, змеиными яйцами и жареными кузнечиками.

Разведчики отплевывались, и с негодованием отходили прочь, не веря тому, что все на свете относительно и условно.

Кумирня Лянзалин.



Змея Халис.
(Ancystrodon halys).

Несмотря на кажущуюся дикость и робость, старик довольно хорошо говорил по-русски, таким образом от него я узнал, все, что меня интересовало, так как этот китаец без сомнения был одним из типичнейших таежных бродяг маньчжурских гор.

На вид ему было не более шестидесяти лет, но на самом деле гораздо более. Довольно правильные черты лица, орлиный нос, выдающийся подбородок и высокий рост—изобличали в нем представителя чистокровных монгол Северо-Восточной Азии, напоминающих по облику своему американских индейцев. Темнобронзовый цвет лица и невозмутимо-спокойное выражение еще более делало его похожим на какого-нибудь «Черного Орла» Скалистых гор, одного из героев наших детских лет, так увлекательно описанных Эмаром и Купером.

Когда затихли разговоры у костров и сон объял бивак наш шумный, старый зверолов, попыхивая трубкой, подсел ко мне на каны и слова за слово рассказал мне многое из своей долгой, богатой приключениями, жизни Тихая, едва слышная, речь его, журчала, как ручеек среди каменистой россыпи тайги, уносила нас обоих на легких крыльях мечты и фантазии в пределы таинственного неведомого Китая, в гигантские города муравейники, где живет душа народа-старца, где спит тот легендарный, страшный для изнеженной Европы, дракон. Много говорил в ту ночь старый зверолов. Всего не запомнить. Говорил о том, как плавал он с отцом своим по бурному Южно-Китайскому морю. О том, как добывали они вместе жемчуг. Как утонул отец и ему пришлось сделаться морским пиратом. Через десять лет их разбила английская военная шкуна и он израненный попал в плен, затем в тюрьму в Гонконге. Три года был он на каторге и строил морской каменный мол в этом порту, затем бежал в Японию, там работал на верфях в Нагасаки, где много русских и где он научился говорить по-русски. Благодаря большому росту и силе, он понравился одному богатому англичанину, который нанял его телохранителем. С ним он изъездил весь Дальний Восток и в конце концов очутился в Пекине, где поступил в дворцовую стражу. Здесь пробыл он не долго, так как в ссоре убил офицера и должен был бежать в Монголию, где занялся скотоводством. По прошествии десяти лет он разбогател и задумал уже заняться торговлей (мечта каждого китайца), но в одну злосчастную ночь хунхузы ограбили его дочиста и сожгли усадьбу. Собрав остатки имущества, старик перебрался в соседнюю Маньчжурию и занялся звероловством, преимущественно добыванием соболя и корня жень-шень. В фанзе, где мы остановились, он живет уже двадцать четыре года, а раньше жил в верховьях реки Май-хэ.

На вопрос мой, сколько ему лет, старик ответил: «Много, много!»—взял в пригоршню чумизы, показал мне и проговорил: «сосчитай!»

По всей вероятности, на его плечах покоилось не менее восьмидесяти лет, но здоровая жизнь в лесах и горах закалила его, без того крепкую, натуру.

Утренняя заря зажглась уже на востоке, когда я заснул крепким сном уставшего человека. Проснулся поздно; солнце высоко стояло в синем небе и бросало горячие лучи на наш бивак.

Нам предстоял трудный подъем на хребет по тропе к кумирне Лянзалин, находящейся на высоком горном перевале, служащем водоразделом бассейнов двух рек: Лянцзы-хэ и Май-хэ.

По словам зверолова, до перевала было двенадцать клм. и, так как от главной тропы отходили в стороны тропинки по ловушкам и легко было сбиться в зарослях тайги, старик взялся провести нас до кумирни, которая находилась на его попечении, т. к. он должен был заботиться об ее благоустройстве; кто возложил на него эту обязанность. мне узнать не удалось.

Несмотря на трудный крутой подъем, на жару, старый зверолов бодро шагал вперед с легкостью привычного горца; усталости, томле ния и одышки он, повидимому, не знал. Люди мои за ним едва поспевали и бранились втихомолку, называя его «лесным дьяволом». В руках у него была суковатая жердь, на которую он изредка опирался.

По сторонам тропы тянулись засеки с ямами, для ловли зверя; как объяснил нам Тый-Зан-чи, засеки эти построены недавно звероловами из верховьев реки Май-хэ.

Где только возможно, я всегда уничтожал всякие ловушки, ямы и засеки, так как этими варварскими способами уничтожается много зверя, который гибнет в ямах совершенно непроизводительно.

Сухой хворост засеки мы подожгли, а ямы обвалили, но заняться совершенным уничтожением было некогда.

Лесного пожара от этих горящих засек быть не могло, так как сырость и обилие листвы в лесу препятствовали огню распространяться. Выгорала лишь одна узкая полоса засеки, оставался на сырой болотистой почве дымящийся пепел.

Здесь-же около засеки нашли мы большую плантацию мака, десятин в пять. Головки мака оказались с наколами, откуда сочился, темнеющий на воздухе, сок. Из этого сока китайцы приготовляют известный курительный опиум. Ценится он очень дорого.

Не доходя до перевала килом. два, я заметил, что, густой вначале, лес начал редеть и на самом водоразделе, где стоит кумирня, почти совершенно лишен высоких деревьев.

Постоянные ветры зимой не дают укрепиться здесь высокоствольному лесу.

Старая кумирня три года тому назад сгорела и звероловы построили новую, выкрасив ее красною масляною краской. Внутри ее на алтаре стоял жертвенник с курительными свечами, стены заклеены изображениями богов и изречениями из Конфуция.

Войдя в кумирню, старый зверолов опустился на колени перед жертвенником и начал молиться. Мы стояли у входа, храня молчание, проникнутые чувством уважения к чужой горячей вере.

В это время я услышал какой-то странный звук, исходящий сверху. Он был знаком мне, я слышал его не раз в скалистых горах, когда потревоженная змея халис угрожающе бьет своим хвостом с роговым наконечником и готовится броситься на нарушителя своего ленивого спокойствия.

Посмотрев вверх, я увидел на балке, у самого жертвенника, плоскую головку ядовитой гадины, свесившуюся вниз.

Маленькие, свирепые глазки ее, жемчужного цвета, горели злобой, кончик хвоста быстро шевелился из стороны в сторону, стуча по балке. Немного в стороне, на той же балке, виднелась головка другой змеи.

Длина этих змей была не менее аршина и толщина около вершка в поперечнике. Цвет чешуи сверху красновато-глинистый, с темными поперечными пятнами по всему телу.

Увидя страшных змей, разведчики поторопились оставить кумирню с криками: «Змеи! Змеи!»; они волновались и убеждали меня последовать их примеру.

Старик, казалось, не обращал на них никакого внимания и продолжал молиться, усердно кладя поклоны, касаясь лбом земли.

Окончив моление, он встал, окинул нас долгим подозрительным взглядом, подошел к жертвеннику и зажег две курительные свечи.

Одна из змей быстро соскользнула с балки и упала на жертвенник, через несколько секунд она была уже в руках старика, ползла по его груди, плечам и голове, высовывая свой длинный раздвоенный язык и ощупывая им все по пути.

Разведчики замерли от неожиданности и стояли молча, пораженные невиданным зрелищем. На лицах их можно было прочесть, кроме страха и брезгливости, благоговеный ужас перед неразгаданной тайной.

По моей просьбе, Тый-Зан-чи открыл змее пасть, и два длинных ядоносных зуба моментально поднялись. Надавив палочкой на небо, он извлек из них несколько капель яда, зеленовато-желтого цвета.

Подержав халиса в руках, старик бережно отнес его на прежнее место, при чем обе змеи сползлись вместе и застучали хвостами.

Змеи эти живут в кумирне уже давно и считаются священными. Еще ни разу они никого не укусили и вреда никому не принесли, кроме бурундуков и лесных мышей, которыми они кормятся около кумирни.

Зимой старик их прячет в канах своей фанзы, весной опять приносит на Лянзалин, где они чувствуют себя великолепно, благосклонно принимая почет и поклонение проходящих хунхузов и звероловов.

Долго еще толковали между собой разведчики и обсуждали действия бесстрашного Змеиного деда. Они мельком взглянули в неведомый для них мир, таинственная завеса которого едва приподнялась, чтобы закрыться снова, и ничем необъяснимые факты стояли перед ними во всей своей наготе, неопровержимые и непонятные.

Солнце светило ярко с безоблачного синего неба. Но здесь, на этой высоте, не парило и воздух был удивительно чист и прозрачен. На десятки кил. к северу и к югу открывались дивные понорамы гор.

На севере, в тумане белела долина Сунгари. Ближе, уступами и темными грядами, как морские волны, поднимались горные, идущие к западу, отроги главного хребта Ляо-лина, темный, покрытый дремучими лесами, массив которого заслонял собой четверть небосклона на востоке.

На юге, сплошь покрытая, как пеленой, седым туманом, открывалась обширная долина реки Май-хэ, с ее многочисленными падями, ущельями и притоками.

На юго-востоке возвышалась могучая вершина Лиула-му-динза; у ее подошвы, закрытая отсюда горами, находится станция Гаолинза вблизи перевала через главный хребет.

Все эти горы и долины, насколько хватал глаз, покрыты сплошными дремучими лесами, куда уже проник жадный до наживы, культурный человек, во всеоружии новейших изобретений техники и науки. Не устоят эти чудные леса, эти девственные первобытные пущи перед лавиной современной культуры. В самые тайники этих дебрей проложены уже железные пути, для вывоза леса. Пила и топор работают

дружно и скоро сорвут с этих гор зеленый покров их, красу богатой дивной природы.

В вышине раздался клекот горного орла. Прекрасная птица, раскинув свои могучие крылья, парила над нами, поднимаясь спиральными кругами в глубину небесной лазури. Поблагодарив Змеиного деда за гостеприимство и расспросив его о дальнейшем пути, я двинулся к югу, по битой хунхусской тропе, направляясь в верховья реки Май-хэ.

В зарослях винограда, под палящими лучами полуденного солнца, трещали кузнечики и цикады. Черный дятел выбивал свои трели по сухому стволу березы и жалобный крик его раздавался в тишине зеленой пустыни.

---

28. ЮРОЧКА.

I.—На концессии.

В глубине дремучих лесов Маньчжурии, на берегу быстрой горной речушки приютился небольшой русский поселок, состоящий из нескольких бревенчатых изб и сараев. Это контора лесных концессий вблизи линии железной дороги.

Главный жилой корпус, большой одноэтажный дом, где помещался доверенный концессионера, стоял посреди обширного двора, обнесенного земляным валом с бойницами, для защиты от набегов шаек хунхузов, бродивших в окрестных лесах и горах. Здесь же, внутри укрепления, находились различные службы, сараи, конюшни и другие хозяйственные постройки.

Вокруг поселка лес был вырублен, образуя большую площадь, заваленную всевозможными лесными материалами вырабатываемыми концессией. Много всякого дерева свезли сюда с окрестных гор китайцы-возчики на своих маленьких, но крепких лошадках. Здесь виднелись и гигантские бревна вековых кедров, в три-четыре обхвата, брусья, доски, шпалы, сложенные в квадратные штабеля, вязанки тонкой драни и, наконец, у самой опушки леса бесконечные ряды правильно сложенных дровяных кубов. Под навесом из волнистого железа темнели груды ценного цветного леса, предназначенного для столярных работ и выделки фанеры, сюда складывали бревна ясеня, клена, бархатного дерева, дуба, ореха и тисса.

Сзади гудел и вздрагивал своим железным корпусом лесопильный завод, выбрасывая клубы белого пара из боковой стены.

Черный дым выходил медленно из высокой железной трубы и поднимался к синему небу.

В чистом ясном воздухе весеннего утра звучно раздавались голоса китайцев, нагружавших платформы ярко-желтыми брусьями кедра и темными бревнами тяжелого ореха; их монотонные возгласы, при накатывании леса: „раз, два, сильно!“ и гортанный говор доносились издалека. Ширококолейный путь соединял контору концессии со станцией, отстоящей отсюда в тридцати верстах. Паровоз, пригнавший сюда платформы под нагрузку, тихо, как-бы устало, пыхтел, выпуская лишние пары и готовясь к продолжительному бездействию; на высоком тендере его копошились засаленные чумазые китайцы-кочегары; толстый, усатый машинист, с короткою трубкою во рту, отдавал им какие-то приказания; возле него стоял высокий красивый блондин, дергал его за рукав и торопил итти, добродушно посылая его вместе с паровозом «до дзябла».

— Довольно же тебе! Идем скорее, а то жена ждет уже нас и кофе простынет!—говорил он мягким баритоном и, наконец, выведенный из терпенья, подхватил толстяка под руку и повлек его к конторе. Высокий блондин был главный доверенный и заведывающий концессией, Станислав Викторович Грабинский, недавно приехавший из Рос-

сии и, как образованный лесовод, получивший место на концессии. Поляк по происхождению, выдержанный немец по воспитанию и мировоззрению, он сразу обратил на себя внимание богатого коммерсанта, овладел его доверием и занял ответственный пост, требующий не только обширных специальных познаний, но и таланта администратора.

По окончании образования за границей, Грабинский приехал к себе на родину, в один из уездных городов юго-западного края, где доживали свои дни престарелые родители. Здесь он женился по страстной любви на младшей дочери многосемейного помещика, Евгении Степановне Ворошиловой. Женичка, пылкая хорошенькая брюнетка, всецело овладела серьезным благовоспитанным инженером, и не прошло полгода знакомства, как он возложил на себя многосложные обязанности семьянина. В это время случайно подвернулось хорошее место на лесных разработках в Полесье, и молодая чета, полная жизни и надежд, очутилась в глуши болотистых лесов Пинского уезда. Работая с увлечением и отдаваясь любимому делу лесного хозяйства, Грабинский не заметил как прошло пять лет. Бедовая шалунья, быстроглазая Женичка превратилась в любящую жену и мать и по целым дням и ночам возилась с единственным сокровищем своим, краснощеким красивым сыном, которого назвали в честь какого то знаменитого дедушки Юрием. Маленький Юрочка был деспотом в семье и кумиром, вокруг которого вертелось колесо семейной жизни.

Случайные знакомства и выгодные предложения сделали то, что счастливое семейство это, покинув пинские болота, перебралось на другую сторону земного шара и поселилось в девственных, дремучих лесах Маньчжурии, полных таинственного обаяния первобытной дикости.

Здесь, так же, как и на родине, зажили они прежней тихою семейною жизнью, вполне уравновешенные и довольные. Юрочка все так-же властвовал в доме и, несмотря на свой пятилетний возраст, отлично понимал свое привиллегированное положение и учитывал его по своему. Но по характеру это был добрый, отзывчивый ребенок.

Юрочка выбежал на крыльцо, когда к дому подошел отец в сопровождении гостя.

— Папочка! Иди чай пить! Мама давно ждет тебя!—закричал он, сбегая по ступенькам прямо в объятия к отцу, взявшему любимца на руки.

— Ты знаком с этим толстым дядей?—произнес отец—дай дяде ручку!

Пожав маленькую пухлую рученку ребенка, гость потрепал его по розовой щечке заскорузлым черным пальцем и произнес, стараясь придать своему голосу мягкость:

— Ну здравствуй Юрочка! Давно уж мы не виделись! А я тебе гостинцы привез! Вот пойдем в столовую, там покажу.—

Через узкие темные сени вошли они в большую светлую комнату, посредине которой стоял простой стол, накрытый белою клеенкой. Самовар с шумом выбрасывал клубы пара. Пахло свежеиспеченным хлебом и ароматным кофе.

Навстречу вошедшим из за стола поднялась молодая женщина. Бледножелтый утренний капот особенно шел к ее черным волосам, заплетенным в толстую косу и к смуглому цвету ее красивого лица. Большие карие глаза мягко глядели из под длинных изогнутых ресниц. Тонкие брови, вытянутые в одну линию, и резкое очертание пунцовых губ изобличали своенравие и твердость.

— Здравствуйте, Валериан Иванович! Садитесь пожалуйста. Что хотите: чаю или кофе?—произнесла хозяйка низким контральто, протягивая гостю для поцелуя свою небольшую изящную руку.

— Что нальете, то и выпью, дражайшая Евгения Степановна! Я ведь простой человек, рабочий, не привык разбирать — ответил толстяк, усаживаясь рядом с хозяином у стола.

— Налей ему кофе со сливками, Женя; пусть хоть раз в жизни попробует хорошего!—шутил Грабинский, сажая рядом с собой на высоком стуле Юрочку.

В отворенные окна врывался свежий ароматный воздух весны. Это было время, когда лес, луга и горы покрывались ярко-зеленою листвой и цветы всевозможных колеров запестрели на великолепном изумрудном ковре. Фиолетовые и белые кисти сирени, букеты белых жасминов и дикой розы, вкрапленные в темный фон тайги, наполняли воздух, и без того пряный и душистый, ароматом и зноем. Болотистые луга пестрели синими, желтыми и голубыми ирисами. На солнопеках и вырубках цвели пышные пионы, розовые, белые и крапчатые. Красные, желтые и оранжевые лилии поднимали свои стройные высокие стебли над мелкою кустарниковою порослью. Слышалось пение птиц, молчаливых в другое время года, кваканье лягушек, жужжанье насекомых. Очнувшись от долгого зимнего сна, природа ликовала, стараясь использовать все свои силы на празднике жизни.

— Ну-ка, иди сюда карапуз!—говорил, допивая третий стакан кофе, жизнерадостный толстый машинист, вытаскивая из своего глубокого кармана книжку с картинками.

— Вот, это тебе за то, что ты умный и добрый мальчик, за то, что слушаешься маму и папу! Дай, я тебя поцелую.—

Раздался звучный поцелуй в пухлые щечки Юрочки и счастливый ребенок бежал к матери, поделиться своей радостью.

Это случалось почти каждый приезд на концессию машиниста Валериана Белозерова, а бывал он здесь часто, подавая своим паровозом со станции пустые платформы на ветку под нагрузку. Вечером, когда платформы были нагружены лесными материалами, весь состав уходил обратно на станцию, откуда совершался уже экспорт леса на внутренние рынки или за границу.

Гириньская провинция Маньчжурии чрезвычайно богата лесом, здесь-то сосредоточены главные лесные концессии. Кроме железной дороги лесные материалы идут по рекам и подъездным путям, железная дорога служит почти единственным средством вывозки леса. Промышленность эта с каждым годом разростается и даже за последнее время значительно увеличился спрос на маньчжурский лес на заграничных рынках.

Но вернемся к нашему рассказу, так некстати прерванному.

Счастливый Юрочка, прижимая к себе дорогой подарок, переходил от отца к матери, рассказывая им содержание картинок.

Наконец Грабинский вынул из жилетного кармана золотые часы, взглянул на них, встал и произнес:

— Простите меня! Уже поздно! Меня ждут в лесу десятники!— с этими словами он поднял сына, поцеловал его в губы и передал жене, целуя ей руку.

— К обеду не жди!—продолжал он, надевая шляпу-панаму и снимая со стены винтовку Маузера.

— Я тоже иду с вами!—произнес Белозеров, подходя к хозяйке и почтительно поцеловав кончики пальцев ее руки.

— Я взял с собой ружье и хочу поохотиться на рябчиков,—продолжал он, торопясь за вышедшим на двор Грабинским.

Юрочка забрался к матери на колени и начал объяснять ей изображения животных в книжке, лепеча своим детским языком не понятные названия.

Солнце между тем высоко поднялось в синем небе и наступил великолепный ясный майский день.

Со стороны железной ветки попрежнему доносились голоса грузчиков-китайцев. В лесу стучали топоры дровосеков, визжала пила и слышался грохот и шум падающих таежных великанов, сраженных безжалостной рукой человека.

Всюду видна была жизнь, везде кипела рабста; разрушение и созидание, смерть и жизнь шли рука об руку.

Отдав приказания китайцу бою на счет приготовления обеда, Евгения Степановна, накинув на голову легкий шелковый платок голубого цвета. вышла с сыном погулять. Покормив крошками хлеба домашнюю птицу, она взяла Юрочку за руку и направилась к быстрой речке, катившей свои светлые кристальные воды по каменистому руслу.

За рекой стоял могучею зеленою стеной девственный дикий лес. Парило; на солнце было невыносимо жарко и, ища прохлады, раскрасневшаяся и утомленная Евгения Степановна села в тени развесистого клена, обмахиваясь веткой папоротника от комаров и мошек.

Юрочка не замечал жары, прыгал, как козленок, собирал цветные камешки на берегу, рвал цветы и заставлял мать составлять букет.

— Мама! Мамочка! Посмотри, какой красивый цветочек! Голубой, как папины глазки! А вот красный камешек! На, спрячь его. Рыбка! Рыбка! Мама, посмотри, как она бегает в воде! Поймай ее, я хочу ее погладить!...—так щебетал маленький Юра, то подбегая к матери, то прячась в высокой траве и кустах, заставляя ее искать его, при чем тонкий голосок мальчика звучал как колокольчик.

Большие темносиние бабочки, медленно взмахивая своими хвостатыми крыльями, порхали над рекой, садились на пышные фиолетовые кисти сирени и так же медленно улетали в чащу леса.

Высоко в небе парил орел-белохвост и клекот его зычно раздавался в чистом прозрачном воздухе.

Издалека доносился шум лесопилки и крики китайцев-рабочих.

Долго сидела под кленом молодая женщина, любуясь своим прелестным ребенком и его беззаботными играми и не замечала острого пристального взгляда двух огненных глаз, устремленных на нее из темной чащи дремучего леса.

Под сводом ветвей дикого винограда, покрывшего густою сетью своих лапчатых листьев кусты, стоял в напряженной позе, подавшись вперед, китаец, одетый в синий костюм. Голова его повязана была такой же синей материей, на подобие чалмы. За спиной виднелась короткая винтовка. Большой но низкий лоб, горбатый нос и выдающийся подбородок изобличали в нем чувственность, твердость характера и преобладание животных инстинктов над человеческими. Своими косо поставленными черными глазами он пожирал красивую белую женщину и в нем просыпался зверь, неукротимый, кровожадный.

Заметив, что женщина собирается уходить, он поднялся и вышел на берег реки, мягко ступая по каменной россыпи своими гетрами из сырой козьей шкуры.

Юрочка первый заметил китайца и бросился к матери с криком: „Мамочка! Боюсь!“ Увидев вышедшего из леса китайца с винтовкой за плечами, Евгения Степановна хотела уже бежать, прижимая к груди сына, но остановилась, узнав в незнакомце предводителя хунхузов Ван-фа-тина, часто посещавшего концессию и бывавшего в конторе по делам.

— Здравствуй, Ван-фа-тин!—проговорила молодая женщина, опуская Юрочку на землю,—ты меня напугал и я тебя сразу не узнала!

В это время китаец, перейдя реку вброд, подошел к ней и протянул свою большую темно-бронзовую руку с длинными выхоленными ногтями. Это был человек высокого роста, широкоплечий, с могучей бычачьей шеей. В глазах его светилась отвага, граничащая с нахальством и наглостью, по временам во взоре его вспыхивал недобрый дикий огонек, что делало его тогда похожим на волка, готового броситься на добычу.

— Здравствуй, барыня, здравствуй!—проговорил китаец, улыбаясь своей хищною улыбкой, при чем сверкнули его большие, белые зубы, —не бойся меня Юра! Дай ручку!—продолжал он наклонившись к ребенку и взяв его на руки.

Мальчик с испугом смотрел на темное, блестевшее на солнце лицо Ван-фа-тина, упирался рученками ему в грудь и готов был расплакаться, и только успокаивающие слова матери подействовали примиряющим образом и ребенок едва слышно пролепетал:

— Я не боюсь тебя! Ты тот самый ходя, что приходил к папе и чай у нас пил! Это ты мне подарил меленькую белочку? Бобочку? А знаешь, она умерла! Я похоронил ее у нас под окном! Бедная! Тебе тоже жалко? Правда?!...—страх уже прошел и ребенок доверчиво смотрел своими наивными голубыми глазками в глубокие и темные, как ночь, глаза хунхуза.

— Ничего, я тебе другую белочку принесу, лучше той,—утешал Юрочку китаец,—только ты меня не бойся!

В знак примирения и чтобы показать, что он не боится, мальчик шлепал своей маленькой ручкой по скуластой щеке Ван-фа-тина и смеялся серебристым звонким голоском.

Евгения Степановна, спасаясь от жгучих лучей солнца, зашла в тень старого клена и села на выдающийся из земли и покрытый зеленым мохом камень.

Юрочка спрыгнул с рук китайца в траву и начал опять собирать цветы, заставляя сурового хунхуза вязать из них букетики и веночки.

Ван-фа-тин прилег на траву возле камня, на котором сидела молодая женщина и не спускал с нее своих глаз.

— Чего ты на меня так смотришь?—спросила она,—разве находишь во мне перемену? Или что нибуть заметил на моем лице?

— Я смотрю на тебя, хочу сказать тебе о том, что я думаю, но боюсь! При тебе я становлюсь малым ребенком и сердце мое бьется, как птица, подстреленная охотником!—произнес хунхуз; лицо его потемнело еще больше, губы судорожно искривились и тонкие ноздри шевельнулись.

Евгения Степановна не ожидала ничего подобного и смотрела испуганными глазами на китайца, бледная и растерянная.

— Ты не бойся, барыня, я не сделаю тебе зла, но позволь сказать то, что я давно хотел сказать тебе!..

Молодая женщина уже оправилась, густо покраснела и встала, ища глазами Юрочку, спрятавшегося за стволом клена.

— Ты кажется начинаешь опять говорить глупости, Ван-фа-тин, и я не хочу тебя более слушать!.. Юрочка! Где ты! Пойдем домой!— проговорила волнуясь Евгения Степановна и взяла мальчика за руку.

Ребенок с цветами в руках удивленно посматривал то на мать, то на китайца, поднявшегося с земли и заступившего им дорогу.

— Ты не уйдешь, пока я не скажу тебе всего! — тихо проговорил предводитель хунхузов, смотря своими огненными глазами на раскрасневшееся и прекрасное в гневе лицо молодой женщины.

— Садись! Выслушай и тогда ступай!—продолжал он, указывая рукой на камень.

Евгения Степановна, подчиняясь категорическому требованию и словно загипнотизированная, снова опустилась на камень и, прижимая к себе дрожавшего Юрочку, слушала страстную речь китайца.

Стоя перед ней во весь свой высокий рост, страшный и в то же время умоляющий, он говорил:

— Я полюбил тебя с первого раза и жить без тебя не могу! Все в мире мне противно, я все отдам, чтобы ты согласилась быть моею женой! Ты не думай, что я бедный манза! У меня есть дома! Есть торговля! Есть деньги! Ты будешь богата! Я буду холить и беречь тебя! Уедем со мной в Кантон, где ждет тебя счастье и довольство! Разве место тебе здесь, в этом глухом лесу, среди диких зверей, нищеты и варварства грубых людей! Согласись же бежать отсюда! Знай, что я решил добиться своего, иначе плохо будет тому, кто ни в чем неповинен! Я не могу отступить от слов своих, я обещал друзьям своим увезти тебя или самому погибнуть! Если ты не согласишься добровольно, я увезу тебя силой или... заставлю повиноваться мне, под страхом жизни и смерти, дорогих для тебя людей!... Помни: Ван-фа-тин не бросает свои слова ветру пустыни!.. Говори же! Да или нет? Но подумай, прежде, чем ответить!...

Молодая женщина, глядевшая на хунхуза безумными глазами, наконец очнулась и, крепко прижимая к груди своей сына, бросилась бежать без оглядки к дому. Шелковая косынка ее несколько раз мелькнула в зеленой чаще кустов и исчезла. Ван-фа-тин стоял еще некоторое время у камня, вертя в руках букет таежных цветов, отданных ему Юрочкой.

Темное, мрачное лицо хунхуза было страшно. Окинув долгим тяжелым взглядом завод и постройки концессии, он медленно перешел вброд реку и скрылся в зарослях темного леса.

Яркое весеннее солнце бросало свои ослепительные лучи на землю.

В вышине парил царственный орел, высматривая среди таежной поросли добычу. На камень, где сидела несколько минут тому назад Грабинская, выбежал маленький пестрый бурундук, остановился, встряхнул своим мохнатым хвостом, пронзительно свистнул и замер, прислушиваясь к протяжным звукам гудка, доносившимся с лесопильного завода.

Полдень. Время обеда и двухчасового отдыха. Рабочие и дровосеки складывали топоры и пилы, облегченно вздыхали и, закинув за

спину свои инструменты, тянулись один за другим к конторе, где ожидал их вкусный обед и сладкий послеобеденный сон.

Жара томила. В воздухе, наполненном ароматом жасминов и сирени, чувствовалось приближение грозы.

Из далекого ущелья выползала темная свинцовая туча, словно чудовище, огромное и страшное. Подул ветерок, потянуло свежестью. Тихо, тихо зарокотал гром. Тайга всколыхнулась и зашумела.

II. Золотые прииски.

Быстрый шумный ручей, берущий начало в горах Чжан-Гуан-Цайлин, вырываясь из каменных тисков дикого, заросшего дремучим кедровником, ущелья, несет свои светлые холодные воды по широкой долине и вливает их в мутный, но такой же быстрый течением Мудандзян. Эта горная река, носящая название Сандахезы, отличается богатством золота в наносных песках ее. С незапамятных времен сюда стекались из ближних и дальних мест любители легкой наживы, беглые китайские солдаты, хунхузы, преступники, ускользнувшие от правосудия, и всякий сброд, в силу различных превратностей судьбы и беспросветной жизни, потерявший образ и подобие Божие. Большинство, конечно, погибало здесь, или от рук своих же звероподобных товарищей, или от руки дикого первобытного правосудия, в лице выборного старшины, или от эпидемических болезней и неумеренного курения опиума.

Главный поток золотоносных песков обыкновенно залегает в среднем течении реки на глубине двух-трех-пяти аршин. Здесь глубина золотоносного слоя находится не глубже трех аршин и вся площадь струи не превышает шести верст в длину и двухсот сажен в ширину. Мощность россыпей неизвестна, но, по всей вероятности, она весьма значительна, если судить по тому факту, что разработка, хотя и примитивным способом, не могла истощить богатство этих драгоценных песков.

Разработка производится только летом, с апреля по сентябрь. Вся площадь разбита на участки. Отведенная плотиной, вода реки по деревянным желобам поступает на каждый участок, где и служит для промывки песка, приносимого рабочими из глубины земли. Таежный драгоценный металл осаждается на дне деревянных корыт, вся муть, мелкий песок и гравий уносятся водою. Один человек в день таким способом намывает золотого песку на 3—5 рублей. Большею частью работают артелями по 5—8 человек.

Все артели входят таким образом в состав своеобразной дикой таежной республики, подчиняющейся особым законам обычного права. Всякое нарушение этого закона карается жестоким наказанием, при чем смертная казнь считается одним из мягких и гуманных.

Выборный старшина пользуется неограниченной властью, но сам в то-же время подчиняется неумолимому обычному праву.

Все члены этой оригинальной республики должны быть вооружены, для самозащиты против посягательств со стороны других партий на обладание россыпями.

Вся долина, где промывается золотой песок, была изрыта ямами и канавами; там и сям копошились под жгучим весенним солнцем полуголые бронзовые фигуры китайцев-хищников; одни стояли с лопа-

точками у водоприемных корыт и взбалтывали в них жидкую желтоватую грязь, содержащую золото, другие носили в круглых корзиночках на тонких коромыслах песок и бросали его в желоба, третьи копали лопатами и кирками наносимую землю и складывали ее в кучи.

Кое-где по долине виднелись дымки из примитивных, наскоро сложенных из дикого камня, очагов: там приготовляли обед, состящий из лапши, чумизной каши и пшеничных пампушек. Между кустами и деревьями разбросаны были шалаши из кедровой коры, где золотоискатели проводили ночи и часы послеобеденного отдыха.

Невысокие горы и холмы, окружавшие долину, пестрели свежей весенней зеленью и яркими полевыми цветами.

По синему небу неслись белые кучевые облака, бросая причудливые тени на ярко освещенные склоны зеленых сопок.

Ни один звук не нарушал тишину этой мирной долины, только быстрая горная река, встречая на пути своем преграду, ревела и, клубясь и пенясь, неслась вбок, в узкое, отведенное ей ложе.

В одной из хижин набралось много народу. Тут были и молодые и старые, простые рабочие и богатые промышленники. Шест с подвешенной красной тряпкой долженствовал служить вывеской торговли. Здесь была мелочная лавочка, где нетребовательный китаец мог достать все необходимое для своего обихода.

Кроме того, здесь же корявый юркий китаец торговал ханшином (китайская водка). Торговля велась исключительно на золотой песок, принимаемый к учету на вес. Конечно, не обходилось без того, чтобы купец не обманул и не обвесил покупателя, хотя комбинация эта была рискована и грозила жесточайшим самосудом необузданной дикой толпы.

Вместо прилавка посреди хижины стоял полуразбитый ящик из под американских консервов с надписью: „Калифорния". Вдоль стен в таких же открытых ящиках разложены были товары; вместе с плетеными корзинами бобового масла, виднелись разноцветные жестяные банки консервов, пачки японских спичек, коробки русских папирос, гвозди, мыло, синяя бумажная материя, кожаные китайские туфли, шаровары, куртки, шапки, веера, резиновые калоши, маленькие зеркальца, вермишель, сахар, чай, лопаты, иголки, нитки, конфеты, и чего-чего только не было в этой универсальной таежной торговле!

Рядом с лавкой в длинной, врытой в землю. фанзе, играли в банчек и кости.

Народу здесь было еще больше, чем в лавке.

Играющие полуголые и совершенно голые китайцы, лежали и сидели на корточках на канах и на полу, бросали кости и вели своеобразный счет очков. Все были серьезны, сосредоточены и молчаливы, только одни глаза выдавали азарт, кипучую страсть, радость и отчаяние. Изредка слышались возгласы банкометов и стук костяшек.

В одной партии между бронзовыми телами китайцев белела ситцевая рубаха русского покроя. В полутьме фанзы едва можно было различить лица игроков, но белокурая всклокоченная голова одного из них и рыжая козлиная бородка выдавали национальность. Это был несомненно русский. Китайцы называли его Иваном, другой клички у него не было. Беглый солдат одного из Восточно-Сибирских полков, после всяких приключений и скитания по свету, попал хищником на золотые прииски и обжился здесь. Преступная натура, с

дикими необузданными наклонностями, нашла здесь наиболее подходящие условия жизни, опускаясь все ниже и ниже.

Хозяин этого почтенного учреждения суетился тут же. Это был китаец, худой, высокий, с исковерканным безобразным лицом, на котором был всего один глаз, с суровым зверским выражением. Другой глаз и соответствующее ухо отсутствовали; через лоб, шеку и губы проходила глубокая темносиняя борозда, след его темного прошлого, полного убийств и зверских преступлений. В молодости своей это был один из известных хунхузских вождей; теперь же под старость, больной и расслабленный, он принужден был добывать себе пропитание содержанием игорного дома. Угрюмый и молчаливый, он пользовался еще среди таежных бродяг и хунхузов большим влиянием.

Хитрость лисицы, кровожадность волка и многолетняя опытность старого Сун-ли-гоо славились далеко за пределами дремучих лесов Сандахэзы.

— Эй, Иван!—обратился по русски хозяин фанзы к одному из игроков,—там тебя зовет кто-то, выйди, посмотри!

Иван, в засаленной ситцевой рубахе, игравший в это время в кости, мельком взглянул на старого китайца и продолжал свое дело.

Костяшки подпрыгивали на грязной доске, ударялись друг о друга и закрывались большой рукой бронзового цвета.

Посидев еше немного у игорного стола, или вернее доски, русский вынул из кармана брюк кошелек, достал засаленную трехрублевку и положил ее на доску.

Выйдя из фанзы, он наткнулся на китайца сравнительно хорошо и чисто одетого. При одном взгляде на него Иван преобразился. Выражение его медно-красного, веснущатого лица сразу изменилось и из надменного и наглого стало заискивающим и подобострастным.

Это был один из типов, часто втречающихся везде. Спасаясь от справедливой кары закона, люди эти бегут к хунхузам и предлагают им свои услуги. Не имея ничего святого на земле, не веря ни в добро, ни в зло, руководясь исключительно злою преступною волей, они иногда бывают полезны хунхузам в сношениях с русскими, но, надо отдать справедливость китайским разбойникам, они ненавидят их, как людей, способных на всякое гнусное и позорное дело, ради наживы. Не доверяя им, китайцы их только терпят, когда видят в них хотя малейшую пользу для себя, и при удобном случае убивают. Несмотря на низкую степень нравственности, хунхузы стоят выше этих подонков культурного общества.

— Иди к Ван-фа-тину, Иван, он зовет тебя!—проговорил вполголоса высокий китаец и повернувшись пошел на гору, где разбиты были брезентовые палатки хунхузов.

Ван-фа-тин не только был предводителем нескольких шаек хунхузов, но имел в Контоне дома и лавки. Семья его жила в этом городе и пользовалась почетом и уважением. Кроме того, по праву сильного, он брал дань с нескольких золотых приисков. Размеры взимаемой дани колебались от 3 до 5% из получаемой прибыли, в зависимости от благоустройства промыслов, и главное, личного усмотрения Ван-фа-тина. Звероловы этого района также несли страшному вождю хунхузов известную долю своей добычи, а именно: одного соболя из пятнадцати. Многие торговые фирмы и ханшинные заводы платили хунхузам деньги, или давали им одежду, обувь, продукты и в зимнее время принимали их к себе на работы. В свою очередь хун-

хузский вождь, в силу обычая, установленного веками, нес известные обязанности по отношению к своим клиентам, гарантируя им полную безопасность от нападения других шаек. Этот социальный строй маньчжурской жизни, вылившийся в ненормальные формы гражданственности, существовал уже несколько столетий тому назад, благодаря несовершенству и отсталости всей системы управления этим богатым безлюдным и обширным краем. На опушке дубового леса, среди зеленой листвы кустов и дикого винограда разбросаны были двухскатные палатки хунхузов. Сюда с Ван-фа-тином пришли его отборные люди, числом около 50. Они расположились около своих палаток, варили обед, курили, играли в свои любимые кости и тихо беседовали. Все это были здоровые, крепкие люди, с суровыми обветренными лицами. Палатка предводителя стояла в стороне. К ней подошли двое русский и китаец; последний проговорил: «Иван здесь!» и остался стоять в почтительной позе, склонив голову.

Иван, маленький тщедушный человек, одетый в грязную ситцевую рубаху, неопределенного цвета, такие же заплатанные брюки и опорки на босую ногу, стоял у входа в палатку, скручивая из газетной бумаги папиросу. Загнув ее „собачьей ножкой", он вынул спички и закурил, пуская едкий корешковый дым.

В это время вышел Ван-фа-тин и, обратившись к китайцу, повелительно произнес: — Ступай!

Хунхуз быстро повернулся и присоединился к своим товарищам, игравшим в кости.

— Иван! Ты мне нужен!—сказал вождь, подойдя к русскому и смотря на него своими строгими глазами,—ты пойдешь на концессию завтра утром и снесешь письмо, которое я тебе продиктую! Передашь его самой барыне Грабинской, но так, чтобы никто другой не видел. Затем осмотри помещение и сообрази, как можно выкрасть оттуда мальчика, сына ее, его зовут Юрочка. Когда будет надо, я тебе дам знать и ты унесешь его сюда на прииски и будещь при нем. Помести его в своей фанзе и помни, что головой отвечаешь за него. В случае погони и невозможности уйти—заколи его, Понял? В помощь тебе дам трех моих молодцов. Если исполнишь все, что я сказал,—получишь от меня пять соболей, самых лучших, если нет, лучше уходи из этих мест и не встречайся со мной: плохо будет. Ну, идем в палатку, садись и пиши, что я тебе буду говорить!—с этими словами оба вошли в палатку.

Внутренность ее соответствовала суровым условиям жизни хунхузов во время походных движений. В заднем углу на земле сложены были медвежьи шкуры, это постель Ван-фа-тина, сбоку стоял низкий столик, на нем готовы были письменные принадлежности: почтовая бумага, кисточка и черная тушь в коробке из слоновой кости.

Тут же у входа на другом столике стояла посуда: чашки, миски, палочки для еды, банки, ножи и другие принадлежности походной утвари.

Иван примостился у стола, покряхтел, высморкался на пол через руку, обмакнул камышевую кисточку в разведенную тушь и приготовился писать.

Ван-фа-тин сидел, поджав ноги, на медвежьей шкуре, курил длинную трубку с каменным наконечником и, подумав немного, стал медленно и внятно диктовать:

„Ван-фа-тин пишет Евгении Степановне. Вспомни, что я сказал тебе. Соглашайся, иначе худо тебе будет и жалеть будешь, но поздно. Даю тебе сроку три дня. Подумай." — Вот и все! Уже написал?—проговорил китаец, поднимаясь с постели и беря написанную каракулями бумажку из рук Ивана.

— Теперь запечатай в пакет и спрячь к себе в шапку! — продолжал он, доставая из кожаной сумки конверт с красной полосой.

— Ответ, если будет, через три дня, принеси сюда! Я не уйду отсюда и ожидаю!—наставлял русского Ван-фа-тин, пронизывая его своими острыми глазами,—передай барыне, чтобы она сожгла письмо и не выдавала тебя, иначе я предам всю концессию огню и мечу! Ты на это время наймись рабочим и живи там! Понял? Ну ступай! Больше говорить не буду: ты умный, сам сообразишь все!—

Иван стоял все время, опустив свои маленькие подслеповатые глазки вниз, и слушал; когда вождь кончил, он хотел еще его о чем-то спросить, но махнул рукой и, проговорив: „Ладно!"—вышел из палатки.

Ван-фа-тин опять опустился на медвежью шкуру и, куря трубку, углубился в думу.

Фанза, где жил Иван, находилась в полуверсте от главного становища приисков, под скалистою сопкой; там она, врытая в землю почти до крыши, совершенно скрыта была в густых зарослях лозняка и шиповника.

Войдя в низкую досчатую дверь, хозяин громко кашлянул, и с глиняных нар, покрытых старою дырявою цыновкой, соскочил китайченок; ему было не более двенадцати лет; бледное изможденное лицо, болезненная худоба маленького неразвитого тела и черные тени под большими грустными глазами—свидетельствовали о том, что ребенок этот,—несчастное, забитое существо.

— Скорее, давай мне есть, да вскипяти чайник!—крикнул Иван, надевая заскорузлые, старые, кожаные бродни и грозно сверкая своими глазами.

— Все лежишь тут! Бездельничаешь! — продолжал он визгливым бабьим голосом,—вот погоди! Отдам я тебя старому чорту Сун-ли-го! Он живо вывернет тебя наизнанку! Ну, скорее! Мне некогда разговаривать с тобой!

Мальчишка, называемый здесь китайцами Сяо и русскими Васькой, понукаемый руганью своего сурового повелителя и пинками, засуетился, застучал посудой и принялся за стряпню. Маленькие руки его дрожали и грустные глаза с испугом следили за русским, развалившимся на канах.

Поев в достаточном количестве китайской лапши с острою соей и горячих пухлых пшеничных пампушек с чаем, Иван надел через плечо брезентовый мешок с провизией на несколько дней, засунул за голенище охотничий нож, взял в руки суковатую палку и вышел из фанзы.

—Приду я через три дня! Ты, Васька, смотри! Если что-нибудь того—убью как собаку!—с этими словами Иван подошел к мальчику и щелкнул его в лоб, от чего тот страдальчески улыбнулся, показывая мелкие мышиные зубы.

Через полчаса Иван был уже на вершине хребта, откуда открывался великолепный вид на долину.

В голубоватой дымке тумана темнели шалаши золотопромышленников и их земляные сооружения. Отсюда казалось, что там раскинулся во всю ширину долины город, окруженный чудными садами.

Яркая зелень лесов и лугов под ослепительными лучами солнца казалась изумрудной.

На ближайших отрогах гор пестрели красные лиліи, белые піоны и розовые кусты шиповника. Внизу, на светло-зеленом фоне мокрого луга темнели синие и фиолетовые пятна с желтыми крапинками, — это цвели гигантскіе восточные ирисы, воспетые писателями и поэтами Японіи и Китая.

Здесь преобладала луговая растительность и луговые цветы; там, дальше на западе, где темнели, словно тучи, скалистые высокіе хребты, начиналась дремучая вековая тайга, с ее непроходимыми зарослями, каменными россыпями и темными кедровниками. Тайга эта, словно море, разлилась по горам, ущельям и падям и нет конца ее краю; всюду, на далеком горизонте темнеют зубчатые лесистые гребни гор. У местных маньчжур звероловов леса эти носят название: «Та-шу-линза» — Великий лес.

Отдохнув на перевале у китайской божницы, построенной местными маньчжурами-охотниками, Иван поднялся, выплюнул докуренную „собачью ножку" и шел в гору по тропе. Вскоре фигура его замелькала в зарослях на опушке леса и скрылась,

Где-то прокричал орел; высоко в синеве глубокого неба парил он, изредка взмахивая своими могучими крыльями.

Жар спадал. Солнце склонялось к западу. От реки подымался туман и стлался по долине. Вечерело.

Работы на приисках прекратились и промышленники копошились уже у своих берлог, ужинали и отдыхали.

В лавочке и фанзе старого Сун-ли-го народу было много. Шумели и бранились. Кости стучали. Кое-где зажглись огни.

Стемнело. Блеснули звезды и на краю темного неба, из-за зубчатого гребня далеких гор, показался красноватый диск луны.

В теплом, напоенном ароматом цветов и травы, воздухе реяли летучие мыши.

Старый Сун-ли-го, оставив за себя своего помощника, хромого, горбатого китайца, вышел из фанзы и направился к кумирне, стоявшей под гигантским ильмом. Сколоченная из досок и покрытая кедровой корой, она производила жалкое впечатление. Внутри ее на обрубке дерева возвышалась уродливая фигура какого-то таинственного божества, с огромной головой, выпученными глазами и клыкообразными острыми зубами.

Подойдя к алтарю, старик стал на колени, поклонился, бормоча про себя молитву, и встал, ударяя в сухую впалую грудь жилистым желтым кулаком.

Поставив несколько бумажных свечей перед идолом, он зажег их. Синеватый густой дым потянулся от них тонкими струйками, наполняя кумирню пряным удушливым запахом.

Послышались чьи-то шаги и в кумирню вошел Ван-фа-тин.

Старик, казалось, не обратил на него никакого внимания и продолжал молиться.

Вождь хунхузов также подошел к алтарю, поставил курительные свечи и коленопреклонный молился, подымая свои сильные руки кверху. О чем молился грозный владыка лесов и гор, не было слышно,

только тонкие сухие губы его шевелились и нервная судорога пробегала по суровому застывшему лицу.

Окончив молитву, Ван-фа-тин подошел к старику, положил свою тяжелую руку на плечо его и сказал:

— Ты великий мудрец, Сун-ли-го! Твой ум постиг все! Тебе понятны законы мира! Тебе подчиняются горы и леса, воды, земля и животные! Ты все знаешь и все можешь! Скажи мне, исполнится-ли то, что я задумал?

Старый таежник долго смотрел в глаза хунхуза, стараясь проникнуть в его темную загадочную душу, затем отошел в сторону и, показывая высохшею рукой своей на страшное божество, произнес глухим старческим голосом:

— Смотри сюда и говори, что увидишь!

Ван-фа тин, словно зачарованный, стоял перед статуей бога и дикими безумными глазами смотрел в темноту.

— Я вижу свет, Сун-ли-го! Откуда он?—шептал едва слышно вождь, устремив свой взгляд в одну точку.—Вот идут мои люди, но лица их скрыты от меня! Молодая белая женщина идет по тропе и плачет! Она уходит! Куда-же? Вот белый мальчик, за ним Иван! Но где же голова его? Я не вижу! Опять белая женщина! Что несет она в руках? Вижу! Вижу! Несет она своего сына! Теперь ничего не вижу! Красный туман перед моими глазами! Сун-ли-го! Где ты?—

Видение изчезло. Старика в кумирне не было. Ван-фа-тин вышел; глаза его блуждали и были страшны. Полная луна плыла по темному небу, бросая свои зеленоватые бледные лучи на землю.

В кустах кричал козодой и где-то далеко плакала лисица.

III. Роковое письмо.

Солнце садилось. Работы на концессии кончились. Грабинский стоял у своей конторки, щелкал костяшками счетов, перелистывая большую конторскую книгу, разграфленную на множество клеток, куда записывал черными и красными чернилами цифры, результаты фактической деятельности концессии.

Тишина в конторе нарушалась только жужжаньем мух и больших оводов, бившихся своими головами о потускневшие стекла оконных рам.

Торопливые шаги, раздавшиеся сзади, заставили Грабинского обернуться. Вошел китаец бой, маленького роста, с желтым, лоснящимся от жира лицом.

— Там пришел русский, спрашивает хозяина!—произнес бой вытирая сальные руки о белый передник.

— Хорошо! Пусть подождет!—ответил Грабинский, углубляясь опять в вычисления и вполголоса произнося названия различных материалов, выделываемых концессией.

Окончив свои записи, он позвал того же боя, чтобы шли к нему рядчики со сведениями о вывезенных материалах.

Вскоре маленькая комната конторы наполнилась китайцами и русскими. Они поочереди подходили к конторке и читали громко названия материалов и количество. Слышались возгласы ломаным языком: „брусья — сорок, шпалы — триста, бревна — тридцать пять, дров сто кубов“ и т. п.

Воздух в комнате был удушливый и спертый, пахло дегтем, человеческим потом, чесноком и особенным специфическим запахом китайцев-рабочих.

Долго продолжалась эта процедура доклада рядчиков; наконец, последний из них, пряча свою засаленную записную книжку в боковой карман, вышел на двор.

Грабинский посидел еще немного на высоком стуле у конторки, облокотясь на нее локтями. Лицо его было озабочено, мысли его далеки были от счетов и конторских книг. Нервно затягиваясь папиросой, которую держал во рту, он порывисто барабанил своими большими крепкими пальцами по книге и думал: — Что сталось с женой? Отчего она взволнована и как бы встревожена чем-нибудь! Не я ли причиной этому? Нет, кажется вины за собой не чувствую! Может-быть, она нездорова? Надо поговорить с ней серьезно!.. Однако меня ждет там какой то тип! Должно быть ищет работы!.. С этими мыслями он встал, швырнул окурок в открытое окно и вышел на крыльцо.

Здесь увидел он невзрачного человека в ситцевой полинялой рубахе; стоял он без шапки у крыльца. Красное веснущатое лицо его с рыжею бородкой сразу не понравилось Грабинскому. Это был Иван.

— Здравствуй! Чего надо? —обратился к нему хозяин, кивнув головой на низкий поклон пришельца.

— Да вот к вашей милости! — ответил Иван гнусавым голосом, — может какая ни на есть работишка окажется у вас, а то хожу уж который месяц без дела, истратился так, что и есть почитай нечего! Явите Божескую милость!..

— Откуда ты? — спросил Грабинский, рассматривая незнакомца и подходя к нему ближе.

— Да я раньше работал в Харбине на пристани, — соврал посланец Ван-фа-тина,—но китаец уж больно дешев стал, нашему брату супротив его не выстоять! Рассчитался и вот без места до сих пор болтаюсь!

— Хорошо! Оставайся здесь! — произнес хозяин, после некоторого раздумья, — кстати мне нужен человек для присмотра за лошадьми и за китайцами-конюхами! Портят животных! Не умеют убирать за ними! Жалованье будешь получать пятнадцать рублей! Согласен? Харчи, конечно, наши. Ну хорошо, иди в контору и скажи конторщику, чтобы записал тебя в книгу. Как зовут тебя?

— Имя Иван, а фамилия Незнамов! — проговорил, потупляя глаза, беглый солдат.

На Дальнем Востоке вообще не принято спрашивать паспорт у рабочего, в особенности поденного, так как в большинстве случаев в тайгу нанимаются безпаспортные и беглые. Разбирать здесь не приходиться, иначе можно остаться без рабочих.

Итак, Иван исполнил первое поручение Ван-фа-тина и нанялся рабочим на концессию. Письмо он еще не успел передать Евгении Степановне и носил его в своей обтрепанной шапке. Но скоро случай к тому представился; через день Грабинская осталась одна с сыном в доме, китаец бой ушел за редиской к огороднику.

Евгения Степановна сидела в столовой за столом и шила на машине. Юрочка возился тут-же с какими-то игрушками, постоянно подбегая к матери и теребя ее за рукав.

Вошел Иван. Увидя хозяйку, он снял шапку, вынул из нее конверт с широкой красной полосой и положил на стол со словами:

— Это от Ван-фа-тина! Ответ передадите мне через три дня!— сказав это полушепотом, Иван тихо, стараясь не нашуметь, вышел на двор и исчез в темноте пустой конюшни. Молодая женщина побледнела и трясущимися руками разорвала конверт.

Прочтя письмо, она как безумная вскочила с места, схватилась за голову и простонала:

— Господи! Что же это такое! Во сне ли все это, или на самом деле!.. Что же делать! Что делать!—шептали дрожащие побледневшие ее губы,—необходимо все рассказать мужу! Надо уехать из этих проклятых мест. Чем скорее—тем лучше!—

Евгения Степановна не находила себе места; одна неотвязчивая мысль тяготила ее душу, мысль, что может-быть во всей этой истории виновата она сама, что она дала повод необузданным страстям дикаря разыграться, что не следовало ей шутить с ним, как не следует шутить с огнем. Во всяком случае молодая женщина решила рассказать обо всем мужу и уехать отсюда, хотя бы на время, в Харбин. Оставить мужа одного и самой уехать в Россию к родным, она боялась и думать. Волнуясь и беспокоясь за будущее, она случайно увидела в окно Ивана, который чистил у конюшни выездного коня.— Может быть он разъяснит мне что нибудь?—подумала Грабинская и вышла на крыльцо. Подозвав Ивана, она начала расспрашивать его, откуда он взял это письмо, знает ли он содержание его и т. п., но Иван только моргал часто своими свиными глазками и, казалось, в недоумении смотрел на нее, ничего не понимая.

— Мне передал его какой-то китаец, когда я шел по дороге на концессию! Он просил отдать его вам. Больше я ничего не знаю!

Из слов его Евгения Степановна убедилась, что от этого человека она ничего не добьется, и ушла к себе в комнату, купать Юрочку, который от радости предстоящего удовольствия хлопал в ладоши, разговаривал со своими игрушками и в одной рубашенке бегал по комнате, топая розовыми босыми ножками по холодному крашеному полу.

Купанье ребенка немного развлекло молодую женщину и отогнало мрачные думы от ее хорошенькой головки.

Чистенький, весь розовый, как херувим, Юрочка улегся на свою кроватку и, став на колени перед образком Христа, приколотым розовой ленточкой к изголовью, сложив ручки у груди, начал молиться:—Боженька! Дай здоровье мамочке, папочке, бабушке, дедушке и всем родным!—лепетал он шопотом, взглядывая на мать, стоявшую у кровати,—дай также здоровье Собольке, котику Ваське и другому Ваське, лошадке, которая меня возит кататься!

Окончив свое дело, ребенок вскочил с колен, обнял мать и прижался к ее груди своей белокурой головкой.

— Покойной ночи! Покойной ночи, мамочка!—произнес он, поцеловал руку матери и быстро юркнул под одеяло.

Мать нагнулась к нему, поцеловала ребенка в лоб, перекрестила и, пожелав „покойной ночи", отошла от кроватки.

Всю эту трогательную картину созерцал, стоя в дверях, Станислав Викторович и, когда жена повернулась к нему лицом, подошел к ней и, целуя ее заплаканное лицо, в удивлении стал расспрашивать о причине слез и волнений.

— Потом! Потом расскажу все!—говорила молодая женщина, отстраняясь рукой от поцелуев мужа, ты лучше поцелуй Юрочку и перекрести его!

— Ты уже спишь! Шалун!—произнес отец, подходя к кроватке сына и кладя ему на голову руку.

— Нет, я не сплю папочка! Это я так, нарочно! Покойной ночи, папочка! Я купался в ванночке и теперь спать хочу!—Отец с сыном поцеловались, перекрестили друг друга.

— Ну спи, спи, дорогой!—произнес отец, выходя из спальной.

— Я давно хотела поговорить с тобой!—проговорила Грабинская, усаживая мужа рядом с собой на тахте в столовой.—Ван-фа-тин несколько раз намекал мне на свои чувства ко мне и даже последний раз предлагал бежать с ним в Китай, но, как ты знаешь, мы часто шутили с ним и вместе с тобой смеялись над ним; так и теперь я думала, что это шутка и не придавала словам никакого значения; когда же он начал грозить, я поняла, что шутить с ним нельзя и перестала с ним разговаривать. Я предполагала, что, выказывая ему пренебрежение и сдержанность, как к простому рабочему-китайцу, этим я подействую на него лучше слов и ненужных репрессий, тем более, что это человек дикий и опасный. Но сегодня я получила это письмо! Вот прочитай его и скажи свое мнение!—с этими словами жена передала мужу письмо Ван-фа-тина.

Прочтя его, Грабинский сжал его в кулаке и, густо покраснев; проговорил:

— Каков подлец! Вот негодяй! Если он осмелится притти еще сюда, я убью его как собаку!—волнение и нервная дрожь в голосе мешали ему говорить; он встал и как зверь в клетке начал ходить по комнате, стараясь успокоиться.

— Ты не волнуйся!—говорила Евгения Степановна, придавая своему голосу спокойствие и равнодушие,—ведь это бред дикого человека! Серьезного значения вся эта история не может иметь!—

— Напрасно ты думаешь!—отвечал муж, останавливаясь перед женой,—ты не знаешь его натуру. Это упорная, настойчивая и дикая натура! Шутить с нею нельзя! Надо принять предосторожности! Теперь от него можно ожидать всего! Имей в виду, что он ни перед чем не остановится! Одна не выходи никуда и Юрку не пускай! Тем временем для безопасности я прошу охрану на нашу концессию! Но, к сожалению, ранее недели нельзя ожидать этой охраны! Пока я вооружу всех служащих! В складе у меня есть двадцать винтовок, этого пока достаточно!... А кто же тебе передал это?—обратился он к жене после некоторого раздумья.

— Письмо мне передал тот русский, который недавно нанялся к нам, кажется, Иван!

— Эй, бой!—позвал Грабинский слугу-китайца, находившегося в коридоре и прибиравшего посуду,—пойди позови сюда конюха Ивана!

Долго не возвращался бой; слышно было, как он звал его на дворе, в конюшне, у складов, но все напрасно, Ивана нигде не было.

— Ивана нет!—доложил китаец, войдя в столовую.

— Я так и знал! — произнес Грабинский и быстро вышел на двор, распорядится о розыске пропавшего человека.

Несмотря на тщательные поиски во дворе, на заводе, и в окрестностях, Ивана найти не могли, он исчез так же таинственно, как появился.

— Быть беде!—размышлял Станислав Викторович, возвращаясь с поисков, с фонарем в руках и с винтовкой за плечами.

Подслушав под окном столовой разговор между мужем и женой, Иван собрал свои тряпки, захватил хлеба и соли и скрылся в темной чаще тайги.

Долго еще горел огонь у Грабинских.

Муж и жена, пережив треволнения истекшего дня, спать не могли и разговаривали до света.

Только, когда темное окно в их комнате стало светлым и на дворе запели петухи и загоготали гуси, приветствуя первые лучи восходящего солнца, Грабинский потушил лампу и сказал, обращаясь к жене:

— Ты спи сколько хочешь! А я немного полежу и буду вставать, так как к 5-ти часам я должен быть уже на работах в лесу! Спокойной ночи!—проговорив это, он затянулся несколько раз папиросой и, закинув руки за голову, углубился в думы.

Невеселые были эти думы! Неизбежный рок, в виде дикаря хунхуза, разбойника с большой дороги, тяготел теперь над ним и дорогими ему существами! Но, что-же делать! Надо на что нибудь решиться! Бежать отсюда, бежать поскорее, пока еще не поздно! Какое то мрачное предчувствие грызло его сердце!

— Скорее, скорее! Покончу дела с рядчиками и увезу жену и ребенка в Харбин! Там они будут в безопасности!

Здесь пока еще нельзя работать спокойно!—с этими неотвязчивыми мислями Грабинский встал, тихо оделся, чтобы не будить жену, и вышел из комнаты.

Солнце уже поднялось над далекими лесистыми горами и заливало свежую сырую землю и ароматную зелень лесов золотыми горячими лучами.

В вышине реяли, белея одинокими точками в синеве неба, быстрокрылые голуби.

Пахло жасмином. Вдыхая полною грудью этот чистый горный воздух, Станислав Викторович залпом выпил парного молока, одним прыжком вскочил на подведенного к крыльцу иноходца, собрал в одну руку поводья, сжал упругими ногами бока его и понесся по дороге к лесу, мимо складов и лесопильного завода.

Вскоре фигура его исчезла в зеленой чаще тайги.

На опушке, навстречу ему, шел китаец, на которого Грабинский не обратил внимания, но внимательный глаз сразу узнал-бы в этом китайце переодетого русского, хотя лицо его было черно от сажи и борода сбрита. Это был Иван, направлявшийся к конторе. За плечами у него висел пустой мешок и в руках была длинная палка с крючком, какие носят здесь нищие.

IV. Похищение.

— Куда это вы так спешите и неожиданно укладываетесь?—спрашивал машинист Белозеров Евгению Степановну, хлопотавшую около сундука с вещами, куда она аккуратно складывала детское, свое и мужнино белье.

— Да вот решили мы с мужем ехать в Харбин за покупками, а может быть я с Юрой останусь там на лето!—ответила Грабинская, покраснев от сознания сказанной лжи.

— Ну, барыня, вы меня старика не проведете. Разве за покупками набирают с собой столько вещей и белья чуть ли не на год!—проговорил Белозеров, присаживаясь возле на стул,—уж сознайтесь мне по хорошему, что тут произошло? Может быть поссорились с Станиславом? Так „это зло еще не так большой руки“!

— Нет, право же ничего особенного не было! Спросите самого! —ответила молодая женщина, увязывая большой тюк с подушками и одеялами.

— Мамочка! Можно мне пойти попрощаться с лошадками и собачками?—обратился Юрочка к матери,—ведь мы сегодня едем, и может быть я никогда больше не увижу их!

— Ну иди! Только долго не ходи там! Попрощайся и назад. Да, смотри, чтобы тебя не ушибла лошадка! Не подходи близко!—притянула к себе сына Евгения Степановна и крепко поцеловала в щечку.

Получив разрешение, мальчик спрыгнул с колен матери, выбежал на двор и направился к конюшне.

В это время у дверей конюшни стоял оборванец-китаец с мешком за спиной и делал вид, что, собирает тряпки и кости.

Мальчик пробежал мимо китайца и очутился в конюшне. Вслед за ним вошел туда и китаец и, увидев ребенка, бросился к нему, зажал рот рукой и в одно мгновение ока надвинул на него мешок, перевернул вверх ногами, завязал узлом, взвалил к себе на спину и, как ни в чем не бывало, поплелся из конюшни через двор в ворота.

Ошеломленный ребенок, вследствие неожиданности, испуга и, главное, прилива крови к голове, потерял сознание.

За воротами китайца увидел бой и спросил его, что он несет; получив ответ и не подозревая в нем переодетого Ивана, бой ушел в дом.

Отсюда Иван, чтобы избежать погони, направился в кусты и заросли, затем между штабелями дров и, перейдя речку вброд, скрылся в лесу.

— Что-же это Юрочка не идет так долго?—проговорила с тревогой в голосе Грабинская, выходя на крыльцо. За ней вышел и Белозеров.

— А вот я его сам извлеку из конюшни!—сказал последний и направился через двор.

— Юрочка! Юрочка! Мама зовет!—кричал толстяк, обливаясь потом.—Юрочка! Выходи! Довольно прятаться! Выходи-же—я опять привез тебе гостинца! Ну же, скорее!—

Но Юрочка не отзывался. Евгения Степановна сама обыскала с Белозеровым всю конюшню, но его нигде не было.

— Боже мой! Что-же! Где Юрочка!—со слезами на глазах твердила мать, бросаясь как безумная из одного угла двора на другой.

— Да вы успокойтесь, голубушка!—уговаривал ее Белозеров,—он наверное где нибудь спрятался и сейчас сам выйдет!—

Но, говоря эти слова, добродушный толстяк уверен был, что Юрочки нет здесь, так как Грабинский посвятил его во всю эту историю, взяв с него слово молчать до поры до времени. Подняли на ноги весь дом, рабочие, русские и китайцы, обыскали весь двор, лесные склады, завод и окрестные кусты, но сына управляющего не нашли.

Евгения Степановна была в отчаянии; с безумным выражением глаз ходила она по всей концессии, громко крича: „Юра! Юрочка! Где ты! Милый, дорогой, откликнись! Не мучь меня!“

Белозеров ходил за ней по пятам, боясь, оставить ее одну и уговаривал итти домой и успокоиться, хотя у самого на душе кошки скребли и хотелось плакать. Наконец, нервы молодой женщины не выдержали и она упала на землю, рыдая в безутешном, безумном горе.

Зная, что слезы—признак нервной реакции и упадок энергии, совсем растерявшийся было, Белозорев решил оставить ее одну, выплакаться и прийти в себя; сам он сел на колоду вблизи нее и ожидал, когда Грабинская позовет его.

Солнце пекло немилосердно, жар томил добродушного толстяка, он постоянно вытирал свою лысую голову красным шелковым платком и приговаривал:

— Вот так история! Отродясь ничего подобного не слышал! Чтоб ему проклятому, не дожить до вечера! Какова наглость! А! Нет, только надо подумать! Ах, что-б его вывернуло наизнанку! Туда-же суется с суконным своим рылом!—приговоривая таким образом, он, не заметил, как Евгения Степановна встала и подошла к нему.

— Валериан Иванович!—проговорила она,—теперь я уже немного успокоилась и могу рассуждать! Посоветуйте! Что делать? Что делать? Ведь это ужасно! Бедный мой мальчик!...—несчастная мать опять не выдержала и тихо разрыдалась, подавляя рвущееся наружу горе.

— Полноте, полноте, дорогая!—осторожно гладя маленькую руку молодой женщины, говорил Белозеров.—вам теперь необходимо взять себя в руки! Надо изыскать средства добыть Юрочку! Я ведь знаю все, мне Станислав рассказал все подробности дела! Пойдемте домой! Может быть муж вернулся уже из лесу!.. Мужайтесь! Мужайтесь!—повторял он, заметя, что лицо Грабинской начинает подергиваться и она едва удерживает рыдания.

Станислав Викторович еще не возвращался. За ним послали гонцов, китайцев рабочих.

Кто-то вспомнил, что видел около конторы нищего китайца с мешком за спиной, сопоставили его поведение с исчезновением мальчика и пришли к верному заключению похищения ребенка этим китайцем. Никому только в голову не приходило, что оборванный нищий был никто-другой, как Иван, внезапно исчезнувший с концессии, хотя его подозревали в соучастии этого дела.

Вся концессия, рабочие русские и китайцы ходили, как в воду опущенные; подавленное настроение написано было на всех лицах. Юрочка был общим любимцем, все высказывали искреннее сожаление и сочувствие горю бедной матери; даже китайцы, вообще равнодушные к чужому горю, спешили выразить Евгении Степановне сочувствие и дали ей мысль выкупить ребенка за деньги. За эту идею ухватилась несчастная женщина, как утопающий хватается за соломинку; только Белозоров, зная подкладку дела и характер китайцев, с которыми пришлось ему жить на Дальнем Востоке около десяти лет, недоверчиво кивал головой, говоря:—Мм, да! Что-же, попробовать можно!—но сам был убежден в бесполезности предприятия.

Солнце склонялось уже к западу, когда приехал Грабинский; по дороге ему сказали о несчастьи и он скакал во всю прыть иноходца, стараясь засветло попасть домой.

На дворе послышался топот коня; первая бросилась туда Евгения Степановна и, не говоря ни слова, упала в объятия мужа.

— Женя! Женя! Успокойся! Бог даст мы найдем своего мальчика!—говорил муж, держа молодую женщину, которая повисла у него на руках всем телом и грузно начала опускаться вниз.

— Скорее воды! Воды! — крикнул Грабинский, подхватывая на руки дорогую ношу и взбегая с ней на крыльцо.

Бережно положив ее на тахту в столовой, он начал приводить ее в чувство. Холодная вода, нашатырный спирт и одеколон ничего не помогли. Муж был в отчаянии: потерял ребенка, а тут и жена может умереть от паралича сердца.

Но мужественное лицо Грабинского не выдавало его волнения и тревоги, он приказывал, распоряжался спокойно. Только дрожащий голос и нервное подергиванье губ указывали на состояние его души.

Наконец, после долгих усилий привести в чувство, молодая женщина глубоко вздохнула, открыла глаза, взглянула на мужа, приподнялась на локте, обняла его за шею и разрыдалась.

— Станислав, Станислав! Где мой мальчик? Где наш Юрочка? сквозь слезы и рыдания спрашивала в отчаянии Грабинская,—зачем его взяли от меня? Что я им сделала? За что? За что? Господи! Господи! Спаси его! Спаси моего мальчика!—голос жены был надорванный, истерический, и муж, опасаясь, что припадок опять может вернуться, решил действовать убеждениями.

Он встал, снял со своей шеи руки жены и, смотря в ее прекрасные заплаканные глаза, проговорил:

— Послушай! Ведь отчаянием и бесполезными слезами мы нашему мальчику не поможем. Давай вместе обдумаем, как выручить его из беды. Вот и Валериан примет в этом участие!.. Ну, вставай! Выпей воды и пойдем к столу. Возьми себя в руки. Так ведь нельзя убиваться!—с этими словами он помог жене встать и усадил ее в кресло, сам-же сел рядом с ней.

Белозеров, попыхивая коротенькой трубкой, ходил из угла в угол в глубоком раздумьи.

— Вот что, друзья мои!—сказал он, останавливаясь перед ними, —я посоветую вам, во-первых, побольше хладнокровия, а во-вторых, поменьше слез и отчаяния! Мой план следующий: объявить всем местным китайцам, что тот, кто доставит вам ребенка, получит известную награду деньгами; сумма должна быть порядочная, так как это дело в высшей степени рискованное. Кроме того, обещать награду и тому, кто укажет, где находится ребенок. По моему это единственное средство спасти вашего мальчика. Лично я убежден, что ему никакого зла Ван-фа-тин не сделает и будет беречь его. Силой отнять от него ребенка не удасться, нечего и думать об этом. Чтобы не откладывать в долгий ящик, распорядись-ка, Станислав, чтобы позвали сюда всех главных рядчиков китайцев, я сам с ними поговорю, ты уж поручи мне вести это дело, ты хотя и умный и ученый, но горячий человек и можешь испортить дело.

— Эй, бой!—крикнул Грабинский, подходя к дверям.

Вошел китаец и спросил:—чего надо?

— Пойди скажи конторщику, чтобы через час пришли сюда все рядчики: И тай, Ван-сы-кай, Лиу-хай и Сун!..

Бой стремглав выбежал на двор.

Евгения Степановна, после обморока и чрезвычайного нервного напряжения, находилась в состоянии душевной усталости и апатии, и, казалось, взор ее без мысли блуждал по окружающим предметам. Муж

не отходил от нее, целовал ее холодные белые руки и ободрял, говоря: «Ничего, ничего, Женя! Все, что ни делается—к лучшему! Скоро увидишь Юрочку и тогда уже не расстанешься с ним!»—на что молодая женщина только качала безнадежно головой и губы ее складывались в страдальческую улыбку.

Менее, чем через час опять появился бой и доложил, что пришли рядчики.

— Позови их сюда,—сказал Грабинский.

Один за другим вошли в комнату китайцы.

Подойдя поочередно ко всем и поздоровавшись, они чинно расселись на стулья, закурили предложенные хозяином папиросы и ждали, когда с ними заговорят.

Все трое были уже пожилые люди, с проседью в черных косах, с желтыми морщинистыми лицами, как у мумий, хитрые глаза их бегали и, казалось, ощупывали того, на кого смотрели.

— Как вы знаете,—начал свою речь Белозеров—у управляющего похитили маленького сына. Подозрение падает на Ван-фа-тина. Силой возвратить мальчика невозможно, но Станислав Викторович дает большую награду тому, кто освободит ему сына, или даже укажет, где он находится! Сколько ты назначил награды? — обратился он к Грабинскому, слушавшему внимательно речь своего друга.

— Я дам все, что имею! Дам тысячу, две тысячи рублей! Лишьбы ребенок вернулся к нам! Я готов отдать свою жизнь!..

— Нет, нет! Ты не горячись! Назначь точно и определенно сумму, это будет действительнее всех обещаний и ценнее, в данном случае, твоей жизни!—ответил Белозеров и продолжал:

— Вас всех призвали сюда для того, чтобы вы объявили своим китайцам о том, что управляющий концессией дает за своего сына, уведенного Ван-фа-тином, тысячу рублей тому, кто доставит ему ребенка или за то, что сообщит, где он находится. Кроме того, всякому, кто будет способствовать розыскам, будет выдана денежная награда! Поняли?

— Хо! хо! хо!—проговорили китайцы, закивав головами, — мы сделаем все, что от нас зависит! Господин Грабинский был всегда добр к нам и мы любим его и семью его и постараемся возвратить ему сына!...

Поговорив еще о подробностях похищения, китайцы поднялись, распрощались с Грабинским и Белозеровым и вышли из столовой. Белозеров вышел вслед за ними, торопясь на паровоз, поджидавший его и пыхтевший во главе нагруженного состава вагонов.

Вскоре ночную тишину прорезал резкий свист машины и, громыхая на стыках рельс, запоздавший поезд тронулся вперед, ускоряя ход.

Через несколько минут замерли вдалеке эти звуки и ночная тишина, нарушаемая только криками козодоев и протяжными ударами гонга сторожей китайцев, окутали молчаливую концессию, окрестные величавые горы и темные леса.

В окнах столовой дома управляющего погасли огни и только одинокий огонек долго еще мерцал в спальной супругов Грабинских.

Нескончаемые разговоры вели они между собой, вспоминая своего ненаглядного, дорогого сына; плакали вместе; вместе молились Всемогущему Творцу Вселенной о спасении милого Юрочки; вместе надеялись, стараясь ободрить друг друга. Сон бежал от них и

только утром, когда золотистый луч солнца ворвался в комнату, забылись они, разбитые нравственно и физически, тяжелым тревожным сном.

V. Тайга шумит.

Перейдя речку вброд в полуверсте от завода, Иван углубился в чащу и здесь положил свою ношу на землю. Мальчик все еще не приходил в себя и лежал на траве, как мертвый. Зачерпнув воды в речке, Иван стал поливать голову и мочить грудь ребенка. Понемногу сознание вернулось к последнему и он открыл свои большие голубые глаза.

— Мама! Мамочка! Где ты!—тихо пролепетал он со страхом и недоумением рассматривая неприветливое, грязное лицо Ивана, наклонившееся над ним.

— Ш-ш-ш! Не кричи! А то я тебе розги дам!—прошептал беглый, подавая мальчику напиться из грязной эмалированной кружки.

— Мама твоя далеко и не услышит тебя!—продолжал он, вытирая мокрое лицо и волосы Юрочки,—а если ты будешь умником и послушным, я отзеду тебя опять к маме и папе! Ну а теперь вставай и пойдем! Нести тебя тяжело! Видишь какой ты большой да гладкий! —сказав это, Иван закинул мешок с провизией за плечи, взял Юрочку за руку и повел его вглубь темного дремучего леса.

В трудно-проходимых местах, в буреломе и зарослях, где маленькие ножки ребенка не могли справиться, Иван поднимал его, переносил через препятствия и снова ставил на землю.

Мальчик безпрекословно повиновался чужому человеку, инстинктивно чувствуя свою полную беспомощность среди этой неуютной, незнакомой обстановки страшной тайги. Молча, безропотно следовал Юрочка за Иваном, изредка прося его помочь при перелезании через камни и поваленные бурей деревья.

Опасаясь поисков и погони, Иван шел по самым диким, заросшим местам, где не ступала еще нога человека и только одни дикие звери протоптали свои извилистые едва заметные тропы.

Бедный осиротевший ребенок с ужасом прислушивался к шелесту листвы, к шуму тайги и другим неведомым звукам, поражавшим его непривычный слух.

На высоком перевале, где ветер еще сильнее шумел в вершинах таежных великанов, путники остановились. Ребенок жаловался, что у него «ножки болят» и Иван, скрепя сердце, соглашался передохнуть.

— Ты, может быть, есть хочешь?—обратился он к несчастному мальчику, упавшему на траву в изнеможении,—вот тебе хлеб и кусочек сала. Поешь—легче будет. Да не плачь, а то лесной дух услышит и съест тебя!... Ничего, ничего. Вот водица с сахаром. Попей, а вечером будем раскладывать огонь. Будем варить чай. Спать ляжем на еловых постелях. Весело будет!...—так утешал плачущего ребенка Иван и гладил по шелковистым волосам его своей жесткой преступной рукой.

— Иван! Зачем ты увел меня от мамы и папы?—спросил однажды Юрочка во время привала своего похитителя.

— Видишь-ли, малец,—подумавши ответил беглый каторжник,— это не твоего ума дело! Много будешь знать—скоро состаришься! Вот, когда увидишь маму, ты и спроси ее—зачем. Стало быть так надо!.. Ну, вставай, да и пойдем! А то медведь нас почует и разорвет! Что? Замаялся? Ну, ничего, ничего! Скоро уже придем домой к большой речке! Переночуем и гайда опять!—так разсуждая с ребенком, Иван вел его все дальше и дальше.

Лес становился все глуше и глуше. Гигантские кедры подымали свои темные кудрявые вершины к синему небу. Кое-где попадались сиротливые пихты и лиственницы. На южных склонах гор лес был приветливее и светлее, там преобладали лиственные породы: береза, дуб, орех и осина. Подлесок, состоящий из густых порослей лещины, клена, шиповника и сирени, перевитый непроницаемой для солнца сетью вьющихся растений: винограда и маньчжурской лианы, преграждал путь нашим беглецам. Иван должен был почти все время нести ребенка на руках, так как он не мог сделать ни одного шага в этих диких дебрях. Наколов себе руки и изорвав платье о колючки и шипы чортова дерева, мальчик мучился от боли, усталости и укусов безчисленных комаров и москитов.

Все лицо его покрылось красными пятнами и распухло. Весь мокрый и грязный, ребенок производил жалкое впечатление, даже черствое, чуждое сожаления, сердце Ивана дрогнуло и в глазах его, дотоле суровых и жестоких, появилось другое, несвойственное им выражение.

Измученный и разбитый совершенно, нежный и хрупкий ребенок не вынес трудного перехода по первобытной тайге и безпомощно лежал на груди своего мучителя, доверчиво склонив на его плечо свою белокурую головку. Он спал.

До вечера еще оставалось несколько часов. Солнце, едва проникая сквозь густой покров дремучего леса, бросало кое-где тонкими полосками свои лучи на поземную поросль.

Вверху, в вершинах, шумел и усиливался ветер, а под сводами леса было тихо. Только слышался стук дятлов и журчанье ручейков.

Несколько раз уже уставший Иван бережно опускал на землю спящего мальчика, садился окого него отдохнуть и светлые, незнакомые до сего времени мысли начали бродить в его темном, как дремучая тайга, мозгу.

— Гм! Тоже, как подумаешь, ведь тварь Божья!—размышлял Иван, лежа на животе около мальчика и обмахивая его зеленой веткой от москитов,—несмышленыш еще! И льнет к тебе, как к матери, даром, что замышляю зло против него и предаю его нехристям может быть на смерть лютую! А за что? Что он мне сделал? Словно птенчика вынул из гнезда, чтобы погубить! А как он ластился ко мне давеча! Хлопал меня ручкой по лицу и капризничал, а потом уснул на плече, словно я не враг его! Говорят, что грех погубить человеческую душу! Я их много погубил! русских и китайцев, стариков и молодых! Вот только баб и детей не трогал, не могу: рука не подымается! Даже, как подумаю,—сердце замрет!

Спи, спи, сердечный!— продолжал думать вслух Иван, заметя тревожные движенья мальчика во сне,—вот приведу я его к этому китайцу Ван-фа-тину, уж не выпустит он его! Или бабу эту ему давай, или капут этому птенчику! А жаль! Право жаль! Таково ласково он на меня смотрел намедни, что и сказать невозможно! Никогда на меня ник-

то не смотрел так! И этому хунхузу я отдам его! Что-бы он его замучил?! Да что же я сделал?!! Никогда не бывать этому! Пусть он пропадет, проклятый черномазый дьявол! Задушу его своими руками, когда увижу!..

В это время невдалеке раздался шорох и сопенье; какой-то большой зверь приближался, не замечая присутствия человека.

Иван насторожился, вынул из-за голенища длинный кривой нож, сел около безмятежно спавшего ребенка и стал ждать.

Кусты раздвинулись и из ветвей высунулась большая лобастая голова бурого медведя. Втянув в себя воздух и почуяв врага, зверь отшатнулся и бросился назад, ломая валежник.

Когда затихли его шаги и тайга потемнела под густыми тенями высоких горных хребтов, Иван опять взял на руки разоспавшегося мальчика и зашагал с ним вперед, в ту сторону, откуда доносился рокот и шум речки.

Чем дальше подвигался он, тем слышнее становился шум.

В глубокой пади по камням и корневищам лесных гигантов бурлила и пенилась быстрая горная речка, неся свои холодные, кристально-чистые воды на север, к матери всех рек, широкой желтоструйной Сунгари.

Здесь, под сводами девственного леса, на крутом берегу сложил Иван свою дорогую ношу, бережно прикрыв ее своей заплатанною курткой.

Наскоро разведя костер и дымокур от назойливых москитов, он принялся устраивать мягкую постель для мальчика, наломав целый ворох лапчатых елей и папоротника.

Затрещал огонек. Набрав в котелок воды и устроив из палок стойку, Иван повесил его над костром.

Ночь надвинулась быстро. В лесу было темно, как в могиле. Сырые испарения поднялись от земли и окутали заросли и кусты своим густым покровом.

Под напором ветра великаны тайги качали своими вершинами.

Мальчик зашевелился под грязною курткой и сел, смотря удивленными глазами на Ивана, освещенного красноватым пламенем костра, на весело трещавший огонек и на черную пелену таежной ночи.

— Иван! Разве мы еще не пришли домой?—спросил ребенок,— ведь ты сказал, что скоро мы будем дома! Ты наверное обманул меня, чтобы я не плакал? Или может быть ты заблудился? Что это такое шумит? Слышишь? — сказав это, Юрочка вскочил, подбежал к Ивану, обнял его за шею и прижался к нему всем своим маленьким, хрупким тельцем.

Беглый каторжник в это время раскуривал свою носогрейку и мальчик порывистым движением выбил ее у него из рук, что не рассердило его, а только растрогало и, гладя по головке ребенка, он говорил:

— Не бойся, не бойся, дурачек! Это тайга шумит. Она, хотя и строгая, старая ворчунья, но добрая. Вот будем сейчас чай пить. Ты любишь чай? Кружки только у меня лишней нет, но это ничего, ты напьешься, а потом я. Садись здесь у огонька. И машкара не будет кусать. Чайничек вскипел и можно пить,—он усадил мальчика на разостланный мешок, достал сахар, чай, большую краюху белого хлеба и начал хозяйничать.

Налив чаю в кружку и положив туда один кусок сахару, он подал ребенку, сказав: — Горячо! Не обожгись! Уж извини. Ложки то нет. Вот помешай палочкой. А хлеба хочешь? Ну не надо, коли нет апекиту. Это с устатку бывает...

Вверху в это время раздался протяжный вой и затем человеческий хохот.

Юрочка уронил от страха свою кружку и с криком: Иван, Иван! Боюсь!—бросился к нему и спрятал свое лицо в его коленах.

Иван усмехнулся, положил руку на голову мальчика и сказал: —Вот и впрямь ты дурачек. Чего испугался. Ведь это опять тайга-матушка шумит. Неужто не слыхал ни разу, как кричит филин-пугач? Ну, посмотри. Видишь, я не боюсь, и тебе нечего бояться. В другой раз, если что услышишь,—посмотри на меня, и весь страх пройдет. Так-то! Ну давай, налью тебе вдругоряд чаю...

— А в тайге есть волки, Иван? — спросил Юрочка, осторожно дуя на горячий чай, — может волк притти сюда и съесть нас, как съел Красную Шапочку? Ты ведь читал такую книжку? Мне толстый дядя подарил... А вот, слышишь опять кто-то кричит? Ты не боишься? Нет? Это козодой. У нас дома тоже он кричит ночью... Ну, я уже напился. Теперь ты пей. А я немного прилягу, хотя спать еще не хочется, вот ножки болят,—сказав это, мальчик отдал кружку Ивану и растянулся на мягкой зеленой постели.

Закусив и напившись чаю без сахара, который берег для ребенка, Иван ушел за хворостом, так как костер погасал и еле-еле мигал синеватым блуждающим огоньком. Ночная тьма надвинулась ближе и сырая мгла готова была поглотить наших путников.

Несколько раз приносил Иван охапки сухостоя и валежника и складывал их вблизи костра, чтобы запастись топливом на всю ночь.

Заметив, что мальчик заснул, он закрыл его мешком, положив под голову свою куртку. Непривычная ходьба по тайге и впечатления истекшего дня истомили ребенка и он спал словно убитый, не почувствовав, как Иван снял с него башмачки и разстегнул ворот рубашечки.

Во сне несколько раз он вспоминал мать и отца, говоря:—Мама! Мамочка! Возьми меня! Мне больно! Я не могу больше итти! Папочка! Где ты? Застрели волка! А то он съест Красную Шапочку!...

— Ишь, бедняга. Намаялся,—говорил сам с собой Иван, сидя у костра и любуясь нежным, кротким личиком мальчика,—что со мной сталось, и сам не знаю. Заполонил мое сердце этот щенок. Все нутро перевернул во мне... Сам стал не свой. Вот уже сколько годов топчу тайгу-матушку, а ни разу такого не бывало! Словно родной он мне. И Бога то я вспомнил, глядя на его ангельский лик. И глаза его словно в душу тебе глядят. А что он мне. Чужое дитя!.. Эх ты, жизнь безпросветная!..—продолжал размышлять беглый таежник, набивая носогрейку корешками и раскуривая ее угольком из костра,—нет у меня ни роду, ни племени. Смолоду кроме побоев и сквернословия ничего не принял от мачехи. Солдатчина после того показалась раем, да нечистый попутал бежать со службы. Попал в дисциплинарку, да там сгоряча чуть не убил взводного. После того на каторге отбубнил год и сбежал сюда, в Маньчжурию! Чего уж! Кажется мог опамятоваться. И деньги были и все такое... Нет-же тебе,—как был беглым так и остался никудышным человеком. Связался с хунхузами и вовсе забыл, себя забыл, Бога!..—Эге! Что за зверь ходит вокруг?..—проговорил Иван и схватился за нож, единственное свое оружие.

В это время совсем близко от становища послышался треск валежника и снова все стихло.

Иван начал усиливать огонь в костре, подбрасывая в него сучья.

— Кто-бы это мог быть? — проговорил беглый, всматриваясь в темноту,—уж не выслеживают-ли меня. Надо узнать, а то как раз попадешься!—с этими словами Иван вынул из костра горящую и дымящуюся головешку и, держа ее перед собой, двинулся по направлению слышанного шороха. Едва сделал он десять шагов, как услышал шелест листвы и удалявшиеся шаги большого зверя. На том месте, где трещал валежник, на сырой земле, при мерцающем свете головешки, Иван различил ясные следы большого тигра. Зверь долго ходил вокруг становища, не решаясь приближаться к огню.

— Надо быть на стороже,—подумал Иван и постукал несколько раз головешкой по стволу кедра; от каждого удара вылетал целый сноп искр, с треском рассыпавшихся по кустам.

— Иван! Иван! Где ты! Я боюсь один!—закричал ребенок, привстав на своей постели.

— Ничего, ничего! Не бойся! Я тут!—отозвался Иван, бросая головешку в огонь и подходя к мальчику,—я собирал валежник для костра, а ты уже испужался! Спи, спи! Бог с тобой!

— А кто это все шумит?—спрашивал Юрочка, закрывая глаза и засыпая снова.

— Я-ж тебе говорил, глупенький, что это тайга шумит. Спи! Я здесь около тебя!..

Мальчик пробормотал еще что-то и забылся сном.

— Думал и я заснуть, да не тут-то было,—сказал самому себе Иван, усаживаясь около ребенка и внимательно прислушиваясь к звукам дикого первобытного леса,—хитрая зверюга как раз уходит, если зазеваешься! она чует, что нет у меня оружия, оттого и смелая такая!.

Невдалеке опять послышались осторожные шаги крадущегося зверя и его тихое сдержанное рычанье.

— Должно уж очень голоден,—подумал Иван, закуривая трубку, —только нет! Шалишь! Зря не возмешь! Мы тоже бывалые! Не впервые с тобой встречаюсь. Вот, ежели-бы без огня. Ну тогда пропали-бы мы с тобой, ангельская душа. И костей никто не нашел-бы. Это подлюга все слопает. Одежду и ту разорвет в клочья!.. Поплачь! Поплачь!—продолжал он, прислушиваясь к голосу гигантской кошки,—небось, нутро-то подвело?... А выкуси! Видит око, а зуб неймет!..

Так разговаривал беглый каторжник, затягиваясь дымом едких корешков и слушая дикую торжественную музыку девственного леса.

Луна высоко уже поднялась в темносинем небе и яркие искристые звезды начали меркнуть.

Бледные лучи ночного светила, еле-еле пробираясь сквозь густой покров леса, бросали яркие пятна на таежную поросль. Неумолчно рокотала в каменистом своем ложе бурная речка.

В глубине темной пади кричал и рявкал козел.

Величавые горы подымали к темному небу свои заостренные скалистые вершины.

Иван сидел задумавшись, вперив взор свой в яркое пламя костра. Картины давно-прошедшего проносились перед его духовными очами. Вспомнил он всю свою жизнь, свое одиночество, свои скитанья по свету. Заныло, затосковало одичавшее одинокое сердце таежного бро

дяги. Горькие слезы, впервые покатившиеся по грубому лицу его, казалось, смягчили его окаменевшее дикое выражение.

Рядом с ним безмятежно раскинув руки, спал Юрочка. Длинные ресницы его больших глаз бросали тени на бледное, покрытое нежным пушком детства, личико. Тревожные сны беспокоили эту невинную чудную головку; губы мальчика часто шевелились и шептали, но что именно, Иван разобрать не мог.

— Что это? Иван! Ты слышишь? Шумит!—схватывался ребенок и, прижимаясь к Ивану, дрожал своим маленьким тельцем.

— Ничего нет. Ничего, Юрко!—ласково говорил беглый каторжник, нежно целую кудрявую головку и гладя ее своею загрубелою рукою, —не бойся, Бог с тобой. Спи спокойно. Никого здесь нет и я с тобой. Шумит? Это тайга, старая, дремучая наша матушка-тайга шумит и поет свою великую песню...

VI. Смерть Ивана.

На следующее утро, как только вершины гор озолотились первыми лучами солнца и туман начал подниматься к нему, ползя, как сказочный дракон, из темных ущелий, по склонам хребтов, путники наши были уже на ногах. Иван научил Юрочку умываться студеною водою с берега речки, сам же, выкупавшись и помыв свое белье, принялся кипятить чай в котелке.

Юрочка сидел у огня, обмахиваясь от комаров и москитов, тучами носившихся над его головой.

— Скоро мы придем домой?—спрашивал мальчик,—мне уже скучно без мамы и папы!

— А вот подожди, если ты сегодня не устанешь, как вчера,—ответил Иван,—то к вечеру, может, будем на концессии и увидишь опять свою маму.—

— Я не устал, совсем не устал,—говорил волнуясь мальчик, — я могу итти много, много, целый день. Вот увидишь!..

Напившись чаю и поев черствого хлеба, они поднялись и пошли вверх по речке, направляясь к югу, где должна была находиться концессия.

На берегу у зарослей. на глинистом влажном грунте виднелись следы всевозможных зверей. Иван показывал мальчику многочисленные глубокие следы диких свиней, приходивших сюда на водопой; большие, похожие на бычачьи, следы изюбров и оленей; однородные маленькие следы коз; неуклюжие, как лапти, следы медведя и круглые кошачьи следы владыки девственных лесов Маньчжурии,—кровожадного тигра. С интересом разглядывал Юрочка все это, слушая рассказы старого таежника и забыв совершенно о своей усталости.

Так подвигались они вперед, переходя быстрые горные речки, взбираясь на крутые хребты и скалы и спускаясь в глубокие, темные, сырые пади, куда совершенно не проникало горячее лучезарное солнце.

В одной из таких падей вышли они на тропу, идущую к убогой фанзе зверолова. Затем утомление ребенка и желание дать ему возможность отдохнуть под кровлей, Иван пошел по тропе, неся на руках своего поработителя.

Вскоре показалась среди сплошной зелени таежной заросли, наполовину врытая в землю, обросшая травой и кустами, зверовая фанза.

Услыша приближающиеся шаги, зверолов вышел на тропу; его собака, остроухая лайка, залаяла, подбежала к Ивану и, узнав русского, бросилась в кусты,—характерная черта всех китайских собак.

— А, здравствуй, здравствуй, Иван!—проговорил зверолов, пропуская его в фанзу,—куда твоя ходи? Концессию? Санда-хезу? Садися! Садися!—приглашал китаец, прищуривая свои хитрые рысьи глазки.

Иван, не отвечая на вопросы, усадил мальчика на канах, дал ему напиться горячего чаю со свежими пшеничными пампушками и только когда ребенок, разморенный жарой, заснул на мягком меховом одеяле, он заговорил с хозяином фанзы, пуская из своей носогрейки клубы синего едкого дыма.

— Вот, веду мальчика на концессию. Это сын управляющего Грабинского. Ты знаешь?

— Моя знай. Моя знай. Шибко хорошо знай,—говорил своим ломаным языком китаец, сидя на корточках перед Иваном и раскуривая свою длинную тонкую трубку, которая дымилась и хрипела в толстых губах его.

— Сколько еще верст до конторы?—спросил Иван, укладываясь на канах отдохнуть после большого, утомительного перехода по сопкам.

— Верст шестьдесят китайских есть. Русски тридцать,—ответил зверолов, выходя из фанзы и выбивая пепел из медного мундштука своей трубки.

Иван спал уже рядом с Юрочкой на бамбуковой циновке кана, когда китаец вошел в фанзу.

Появление этого человека с украденным им ребенком и слух о том, что за последнего дают большие деньги, невольно навело на мысль дикого зверолова воспользоваться случаем, убить Ивана и самому доставить ребенка на концессию. План этот был легко выполним, так как у Ивана никакого оружия с собой не было, кроме ножа.

Зверолов предполагал, что Иван, услышав о большой денежной награде за ребенка, изменил первоначальному плану и сам захотел получить эту награду, не зная конечно, что Ивану совершенно было неизвестно об обещанной награде. У китайца и в мыслях не могло быть предположения, что Иваном в данном случае руководило сердце, простое, бесхитростное сердце.

Увидя, что русский спит, китаец подошел к канам, послушал его мерное, спокойное дыхание и, взяв в руки большой топор, стоявший у стены, наотмашь ударил им Ивана.

Удар был так силен, что голова почти отделилась от туловища, кровь брызнула фонтаном и залила черной густой массой циновку и каменный настил кан.

Туловище вытянулось, несколько раз вздрогнуло и замерло.

Ребенок спал крепко и не слышал, как совершилось преступление.

Сделав свое дело, китаец выволок труп из фанзы, при этом полуотрубленная голова болталась из стороны в сторону.

Окровавленное лицо Ивана было спокойно и невозмутимо.

Подтащив мертвое тело к глубокой угольной яме, неподалеку от фанзы, китаец обыскал карманы, вынул оттуда трубку, спички и кожаный мешочек с табаком, понюхал его и спрятал к себе за пазуху; снял с мертвого кожаные бродни и затем спихнул труп в яму, куда

он сполз и скрылся в черной луже заплесневелой воды, покрывавшей дно ямы.

Забросав яму до половины ветвями и сухой травой, зверолов скоро сравнял ее с краями, засыпав лежащими тут же углями и землей.

Вымыв циновку и кан горячею водой, он скрыл следы преступления и, самодовольно улыбаясь, закурил свою трубку.

Юрочка в это время проснулся, протер заспанные глаза ручонками и встал.

— Ходя! А где Иван?—спросил ребенок, смотря на китайца удивленно и с некоторым страхом.

— Иван ушел. Совсем ушел,—ответил зверолов, подходя к мальчику и кладя ему на плечо свою черную грязную руку.

— Теперь моя поведет тебя домой—продолжал китаец,—завтра пойдем, сегодня нельзя, уже поздно...

— Куда же ушел Иван, ходя? — спросил мальчик, недоверчиво глядя в застывшее, бронзовое лицо китайца,—он ничего не говорил мне об этом. Ты нехороший. Я боюсь тебя. Ты меня обманываешь,— с этими словами ребенок отошел в угол фанзы и заплакал, тихо беззвучно, подавляя вырывавшиеся рыдания.

Рысьи хищные глаза зверолова заискрились и впились в хрупкую маленькую фигурку плачущего ребенка.

— Хорошего соболя поймал,—размышлял зверолов,—такого еще не приходилось добывать в тайге за двадцать пять лет промысла. Как бы только Ван-фа-тин не пришел или его люди, тогда прощай тысяча рублей, обещанных за этого щенка. Если даже удасться доставить мальчика отцу и хунхуз узнает, тогда не сносить мне головы. Надо ночью притти в контору, отдать ребенка, взять деньги и уйти, чтобы никто из китайцев не видел. Или совсем уйти отсюда. Бросить промысел и ехать к себе на родину в Чифу. Довольно уже накопил денег, хватит до смерти. Дома семья ждет. А хорошо у нас в Китае... Не то, что здесь: дичь, глушь, пустыня!..

Юрочка стоял в углу и тихонько плакал, боясь своими рыданиями вызвать гнев страшного китайца.

Вечерело. Солнце спряталось давно за темные силуэты далеких гор. Ночные тени залегли в тайге и из ущелий потянуло свежестью. Зверолов принялся за стряпню и вскоре пригласил своего пленника принять участие в обеде.

Хотя пельмени, горячие и ароматные, возбуждали аппетит, но мальчик съел только одну штуку, боязливо косясь на хозяина, уплетавшего за обе щеки и усердно работавшего палочками. Остроушка-лайка также принимала участие в трапезе и, сидя около своего хозяина и умильно на него поглядывая своими умными глазами, хватала бросаемые ей куски, отходила в темный угол фанзы и там их съедала.

«Люйза», так звали собаку, подходила к Юрочке, тыкала в его руку свой черный холодный нос и помахивала пушистым хвостом.

Хозяин разрешил мальчику кормить ее, и несколько пельменей перешли из рук ребенка в открытую пасть животного. Ночь наступила, когда китаец убрал остатки обеда и, помыв посуду, вышел из фанзы. Многочисленные звезды сияли в темных небесах. Тайга безмолвствовала.

Подойдя к божнице, устроенной вблизи фанзы под гигантским стволом кедра, зверолов поставил на алтарике две курительные аро-

матические свечи, зажег их спичками, вынутыми из кармана брюк Ивана, стал на колени и начал молиться:

— Благодарю тебя могучий Горный Дух, что помог мне, одному зверолову, уничтожить одного плохого человека и отобрать у него дитя, за которое ты мне еще раз поможешь взять много, много русских денег. Благодарю и тебя, грозный Великий Ван, не оставляющий меня, слабого и несчастного китайца, своими милостями. Пусть будет то, что должно быть! То, что написано кровью в книгах судеб, исполнится!—произнеся эти слова, китаец встал и, ударив деревянным молоточком по чугунному колоколу, висевшему под крышей божницы, вышел из под навеса и скрылся в дверях фанзы.

Металлический звук колокола глухо зарокотал и, вибрируя долго на одной басовой ноте, замер в далеких тайниках дремучего леса. Ему ответил с вершины кедра филин пугач, и хохот его, напоминавший человеческий, раздался внезапно в тишине ночной, встревожив далекое горное эхо.

Зеленоватые лучи луны, пробираясь украдкой в таежные дебри, бросали свой фантастический свет на убогую фанзу, вырывая ее из мрачных объятий ночи.

VII. Мать.

Прошло уже более недели с тех пор, как Иван увел мальчика с концессии, но Грабинский не получал никаких определенных сведений о своем сыне. Иногда доходили до него слухи, что ребенок находится в далеких лесах, в самых дебрях Станового хребта, в затерянной фанзе зверолова, но определенного ничего не было, и убитые горем родители начали предаваться уже отчаянию. Китайцы-рабочие говорили, что Иван пропал без вести и что сам Ван фа-тин разыскивает мальчика, но безуспешно. Говорили также, что многие китайцы, рассчитывая на большое вознаграждение, пустились на поиски в тайгу, но участь их неизвестна, ни один до сих пор не вернулся и, по предположениям, все они погибли, или от рук хунхузов и своих же завистливых товарищей, или попали в лапы больших хищных зверей. Желающих итти на поиски больше не находилось.

Несчастный отец, боясь угрозы предводителя хунхузов, не предпринимал никаких мер к освобождению своего сына военною силою, так как это могло кончиться печально для ребенка. Единственная надежда была на выкуп сына или на денежную награду за его освобождение.

Время шло. Ходили слухи, более или менее тревожные, но дело не подвигалось вперед ни на иоту.

Евгения Степановна, вначале возлагавшая большие надежды на денежную награду, теперь окончательно упала духом и близка была к умопомешательству. Ее поддерживала только одна мысль, что Ван-фа-тин сжалится и возвратит ей ребенка. Несколько раз она намекала мужу, что готова пожертвовать собой, ради спасения сына, но Грабинский, смотря на это, как на безумную мысль пришедшей в отчаяние женщины, не придавал словам ее серьезного значения. Между тем, исстрадавшаяся мысль эта крепла и развивалась, принимая фантастические размеры. Окружающее, казалось, совершенно не инте-

ресовало ее; даже горячо любимый муж отошел на задний план перед возникшею идеей освобождения Юрочки.

Станислав Викторович заметил это охлаждение жены, но приписывал его исключительно последствиям нравственных страданий и горя, перенесенных молодою женщиной.

Замкнувшись в себе, молчаливая и безучастная ко всему. она просиживала часто по целым часам на одном месте, устремив неподвижный взгляд в одну точку. Видя такое состояние жены, муж удвоил свое внимание к ней, предупреждал ее всякое желание, был с ней преувеличенно нежен и ласков, что первое время действовало на молодую женщину и она, казалось, начинала приходить в себя и была ласкова с мужем, но затем опять замыкалась, как улитка в раковину, и ничто не могло ее развлечь.

Так тянулись дни в опустевшем доме Грабинских. Станислав Викторович по целым дням пропадал на работах в лесу и возвращался только к вечеру. Евгения Степановна сидела одна в своей комнате безучастная ко всему окружающему. Слез у нее не было, но выражение ее лица говорило о том безысходном горе, которое может испытывать только одно материнское сердце.

Весна прошла с ее чудными светлыми днями, с ароматом и благоуханием цветов, наступило жаркое маньчжурское лето, начался сезон периодических дождей.

Юго-восточный муссон, приносящий обильную влагу с поверхности Тихого Океана, встречая на пути своем поперечные горные хребты, разражается на склонах их частыми ливнями и дождями. Влага эта до того пропитывает рыхлую почву, втечение июня и июля, что даже на высоких горах и вершинах появляются болота, не говоря уже о долинах и падях. Горные ручьи в это время превращаются в бурные речки, вода прибывает быстро и зачастую затопляет целые площади в несколько десятков квадратных верст. Поверхность вод Сунгари, Уссури и Суйфуна значительно поднимается и эти реки, выходя из берегов, затопляют большие пространства.

Обилие влаги и тепла, почти тропического, в летние месяцы вызывают такую тучную гигантскую растительность, какую можно встретить только в подтропической полосе.

Обилию и разнообразию растительных форм здесь вполне соответствует богатство таковых животного мира. Рядом с видами далекого севера Сибири встречаются в девственных лесах этого края представители жарких стран субтропической Азии.

В этот влажный период дожди идут ежедневно с грозами и водяными вихрями. Водная стихия властвует тогда на суше, уничтожая все слабое, отжившее и выгоняя из тучной почвы пышную роскошную растительность.

В один из таких дождливых дней сидела Евгения Степановна у окна и, казалось, безучастно смотрела на потоки ливня, падающие с пасмурного серого неба. Где-то вдалеке рокотал гром.

Внезапно внимание молодой женщины было обращено на соседнее окно, у которого стоял китаец и, прикрываясь зонтиком от дождя, подавал какие-то знаки.

Догадавшись, что это имеет какую нибудь связь с ее сыном, она бросилась к окну и отворила раму. Незнакомый китаец, увидя перед собой женщину, проговорил:—если хочешь видеть Ван-фа-тина, при-

ди через час к речке у брода, — с этими словами таинственный китаец удалился, закрывшись с головой, под красным большим зонтиком.

Услышав это, молодая женщина долго не могла притти в себя и дать отчет в происшедшем, ей показалось сначала, что с ней галлюцинация, она вышла во двор и спросила привратника, не видел-ли он китайца с зонтиком, но привратник спал в своей будке и не мог никого видеть; за воротами также никого не было.

Возвратясь домой, Грабинская от волнения, овладевшего ею, не могла спокойно обдумать положение вещей и весь час проходила из угла в угол, в нетерпении посматривая на большие столовые часы, висевшие на стене. Надев дождевик мужа и накинув на голову капишон, она вышла за ворота конторы и направилась через лесопильный двор к речке.

Здесь села она на берегу на том-же камне, на котором сидела когда-то с Юрочкой, во время последнего свидания с хунхузом.

Дождь лил не переставая. Туман густою пеленой покрывал все ближайшие предметы. Было сыро. Молодая женщина дрожала, как в лихорадке.

Ван-фа-тин был недалеко, но не выходил из своей засады, боясь ловушки. Но, убедясь, что Грабинская пришла одна, он вышел из за ствола черной березы и приблизился к ней.

Вздрогнув от неожиданного появления хунхуза, Евгения Степановна встала и первая заговорила прерывистым задыхающимся голосом:

— Отдай мне моего сына, Ван-фа-тин, и я все сделаю, что ты хочешь. Возврати его мне. Без него жизни нет для меня. Я схожу с ума. Отдай, отдай мне моего Юрочку!.. — тут рыдания, долго сдерживаемые; прорвались и несчастная мать упала перед китайцем на колени, умоляя его пощадить ее и ее ребенка.

Самолюбие и все другие чувства уступили свое место другому, более возвышенному чувству материнской любви, способной на самопожертвование.

— Встань, встань, мадам,—проговорил Ван-фа-тин, подымая с колен молодую женщину.

— Нет, нет, я не встану, пока ты не обещаешь мне отдать моего сына. Требуй от меня чего хочешь. Я на все готова ради него. Сжалься Ван-фа-тин! Сжалься,—сквозь рыдания твердила Грабинская, умоляюще простирая руки к китайцу.

— Встань, встань! Тогда я скажу тебе, где твой сын и что с ним.

Услыша эти слова, Евгения Степановна быстро поднялась и села на камень.

— Твой сын,—начал предводитель,—уведен был Иваном, но его наверное смутила обещанная денежная награда и он хотел возвратить тебе ребенка, но был убит.

Теперь мальчик находится у меня. Я привел-бы его сегодня к тебе, но он нездоров, наверное простудился; когда совсем поправится, —я пришлю тебе его. Если хочешь его видеть скоро, — поедем со мной, я привел с собой лошадей. Скажу тебе всю правду. Я раньше думал, что белые женщины ничто другое, как женщины, т. е. самки и что в них мало человеческих чувств.—

Я мечтал всегда взять себе белую жену и выбор мой упал на тебя. Я считал, что белая женщина стоит ниже китайца мужчины, но я ошибся: женщина белых, существо высшее и причинять ей зло —великий грех. Великий дух моей горы повелевает мне возвратить

тебе сына... Иди же, надень дорожное платье, если хочешь завтра утром увидеть ребенка... Я буду ждать здесь за стволом березы. Иди скорее, а то вечер близок и гроза усиливается!..

Дождь перестал. Молния вспыхивала все чаще и громовые раскаты приближались, вызывая непрерывное эхо в горах.

Словно загипнотизированная слушала Гарбинская слова Ван-фатина и узнав, что завтра же может увидеть дорогое существо, она торопливо встала и проговорив:—приду, приду,—быстро побежала к дому.

Ван-фа-тин, посмотрев ей вслед, сел на камень и крикнул, подражая крику болотной совы.

На противоположном берегу речки показался китаец вооруженный винтовкой, и остановился у воды.

— Подтянуть подпруги! приготовиться! Скоро поедем,—отдал короткое приказание предводитель и махнул рукой. Китаец поднял правую руку кверху и скрылся в чаще.

Темнело быстро. Духота усилилась.

Вбежав на крыльцо дома, Грабинская столкнулась с мужем возвратившимся с работ.

— Женя! ты откуда?—удивленным голосом спросил последний, снимая с себя мокрую накидку и отряхиваясь.

— Не спрашивай! Мне некогда,—проговорила жена, проскользнув в свою комнату.

Муж последовал за ней. Увидя, что она начинает переодеваться, он опять спросил ее:

— Скажи же, наконец, что это такое? В такую погоду! Сейчас будет ливень, да и ночь скоро. Нет, я тебя не пущу. Ты кажется не совсем здорова!

Услыша эти слова Евгения Степановна посмотрела на мужа удивленными, безумными глазами и крикнула:—ты меня не пустишь?! Я все таки пойду! Пойду и пойду! Меня ждет Ван-фа-тин! Пусти!...

Узнав всю правду, Грабинский побледнел, как полотно, схватил несчастную женщину за руки и, крепко сжав, проговорил:—хорошо. Я сам пойду к нему и узнаю о нашем мальчике!..

— Ну, иди—произнесла Евгения Степановна, немного приходя в себя и опускаясь на стул в изнеможении,—иди скорее! Он отдает нам Юрочку! Скорее, скорее!..

Ощупав в боковом кармане револьвер и надев плащ, Грабинский поцеловал жену, сидевшую у стола и положившую голову на руки

Ночь наступила темная, душная. Оглушительные удары грома потрясали воздух, землю и горы. Вспышки молнии освещали контору, завод, леса и горы красноватым пламенем. В болотах громко квакали лягушки.

Пройдя лесопилку, Грабинский вышел на берег реки и остановился у камня, где, по рассказам жены, она виделась с предводителем хунхузов в прошлый раз.

При свете молнии хорошо было видно все вокруг, но на крик Грабинского никто не отозвался. Гром рокотал и далекое эхо вторило ему многократно.

— Ван-фа-тин, Ван-фа-тин! Где ты? Это я, Грабинский!—кричал во весь голос Станислав Викторович, пользуясь промежутками между раскатами,—выходи-же. Мне надо поговорить с тобой. Гоп-гоп!—

но никто не отзывался, только тайга шумела и вдалеке где-то жалобно стонала болотная сова.

Походив по берегу реки, несшей свои мутные пенистые воды по камням и корневищам спиленных деревьев, обыскав кусты и заросли, Грабинский возвратился домой.

— Нет никого там у камня—проговорил он, сбрасывая плащ и и подходя к жене, ожидавшей его с нетерпением,—долго я кричал и звал его. Обошел кусты и весь берег, но никто не вышел. Или тебе пригрезилось все это, или он испугался меня не вышел на зов.

— Тогда я сама пойду. Он к тебе не выйдет,—произнесла Евгения Степановна, собираясь отправиться в ночную прогулку.

— Ходить тебе незачем,—возразил муж,—к Юрочке я тебя все равно не пущу, а дальнейшие разговоры с этим разбойником совершенно излишни. Впрочем, если уж тебе так сильно хочется видеть его, то пожалуйста, я не препятствую. Можешь отправляться к нему.—

— Станислав! Неужели ты не понимаешь, что мною руководит? Зачем ты обижаешь меня?. Мне не нужен твой Ван-фа-тин, но хотелось поскорее увидеть нашего птенчика. Ведь он болен. Бог его знает, какой там уход за ним. Ван-фа-тин хотя и обещал его привезти, но не теперь, так как Юрочка нездоров. Что у него—не знаю. Ожидая его возвращения я истомлюсь совсем,—облокотясь о стол и закрыв лицо руками, молодая женщина горько плакала, стараясь подавить рыдания, рвавшиеся наружу.

— Ну, не сердись, дорогая. Ведь я тоже измучился и прошу прощения за неосторожные слова свои,—сказал Грабинский, подходя к жене, обнимая ее и целуя мокрые от слез пальцы, — успокойся. Теперь уже известно, что мальчик наш вернется и надо только немножко терпения. Если хочешь, я сам съезжу к нему и привезу его. Вот только не знаю, где он находится. Вероятно очень далеко отсюда, верст за сто, или еще дальше. Можно будет послать китайца с письмом. Здесь многие знают местопребывание Ван-фа-тина. Ну не плачь же. Будь умницей. Посмотри, на кого ты стала похожа. Я прикажу подавать чай. Съешь чего нибудь и подкрепись!.. Эй, бой, чаю! —крикнул Грабинский, выйдя в корридор. Дождь, ливший как из ведра, прекратился. Гроза, уносимая вихрем, ревела где-то далеко в горах и редкие вспышки молнии освещали темное небо с блестевшими кое-где яркими звездами.

Освеженный грозой воздух был чист и ароматен. Пахло мокрою землею и свежескошенным сеном.

На дворе, при свете молнии, блестели лужи дождевой воды.

Лес, встревоженный бурей, все еще не мог успокоиться, шумел и рокотал тихо.

VIII. Возвращение.

В темноте убогой фанзы Ивана, мерцая трепетным огоньком, светит и коптит масляная лампа.

На желтой циновке низких кан лежит больной ребенок. Второй день уже он мечется в сильном жару и бредит, произнося неведомые, непонятные для окружающих, слова. Взяв мальчика от зверолова, Ван-фа-тин поручил уход за ним бывшему бою Ивана, китайченку Ваське. Последний искренно привязался к Юрочке, инстинктивно

чувствуя, что оба они находятся в одинаковых условиях, оба беспомощны и беззащитны среди толпы чуждых озверевших людей. Васька ухаживал за больным ребенком с самоотверженіем взрослого, не спал по ночам, прислушиваясь к лихорадочному его дыханию, утоляя жажду мальчика и помогая ему по мере сил своих.

Для наблюдения и надзора, а также и для работ по хозяйству, в фанзе назначен был дряхлый, но довольно крепкий старик-китаец, бывший когда-то хунхузом и теперь на старости занимавшийся вываркой пантов.

Фанза убитого Ивана, отданная во владение старого И-сая, превратилась в лабораторию для приготовления пантов. Внутри ее и вокруг, где на шестах, под тенью циновок, развешаны были рога изюбров, стоял густой тошнотворный запах; мириады мух и всевозможных насекомых носились над фанзой и развешанными пантами, привлекаемые гнилостным запахом. В самой фанзе мухи облепляли густыми черными массами потолок и стены.

Васька то и дело сгонял надоедливых насекомых с разгоряченного личика больного ребенка. И-сай возился у котла с варкой пантов и ворчал что-то себе под нос.

— Мама, мамочка!.. Иди сюда,—говорил в бреду несчастный мальчик,—где ты, мамочка?. Возьми меня. Возьми. Они злые, мучают меня. Иван! Иван! Подними меня на руки. Я не могу итти: ножки болят. А вот папочка пришел. Поцелуй меня. Мне скучно. Дайте мне моего «Собольку». Он визжит. Ему тоже больно. Аа, ай! Больно! Мама! Мамочка! Где ты!..—так бредил в горячечном жару Юрочка, но никто не шел приласкать его, никто не облегчил его страдания. По приказанию Ван-фа-тина, приходил к нему старик Сун-ли-го, давал ему внутрь какие-то черные пилюли и натирал его худенькое маленькое тельце мазью, шепча таинственные заклинания, но ничего не помогало, болезнь, предоставленная естественному течению, убивала слабый, не способный бороться организм ребенка.

В фанзу с фанарем в руке вошел высокий китаец. Это был Ван-фа-тин.

Подойдя к кану, он спросил у старика, стоявшего тут же:

— Ну что? Лучше ребенку или хуже после лечения Сун-ли-го? Кажется, не лучше. Наверное умрет. Жаль. Много бы я отдал, чтобы мальчик этот был жив. Может быть ты И-сай, возьмешься его вылечить?

— Нет, я не могу поднять его на ноги,—ответил старый хунхуз,—причина болезни сидит не в крови и не в мозгу, а в животе; мое лекерство бессильно. Если хочешь, я могу временно поднять его силы и смерть отойдет от него на один, самое большее на два дня.

Внезапная мысль блеснула в голове Ван-фа-тина и он проговорил:

— Хорошо. Дай ему этого снадобья, чтобы он мог еще прожить сколько нибудь времени. Завтра чуть свет я повезу его на концессию и передам отцу. Ну, скорее давай, а то еще он умрет этой ночью.—

Старик выбежал в кладовку на двор, где у него были сложены таинственные ящики всевозможных величин. Порылся там, вытащил один белого цвета, обшитый змеиной кожей и принеся в фанзу, поставил на кан.

Васька зажег в это время кедровую смоляную лучину и в фанзе стало светло.

Отворив ящик секретным ключем, старик достал из него коробочку, сделанную из пахучего красного дерева. Поднеся ее к огню, он открыл крышку и крючковатыми пальцами достал оттуда два темнобурых шарика, величиной в крупную горошину.

Покатав их между ладонями и проколов каждый серебряным шилом, вынутым из ящика, он взял шарики между большим и указательным цальцами и продел их на нитку.

Юрочка в это время заметался на своей циновке и пробормотал что-то непонятное.

— Налей в чашку чаю,—сказал старик обращаясь к Ваське.

Сев около больного на корточки, И-сай открыл ему рот нажатием на жевательные мышцы, запихнул один шарик в горло и залил теплым чаем из чашки.

Мальчик забеспокоился, открыл глаза, в которых отсутствовало сознание, проглотил чай и снова начал бредить, призывая мать, отца и Ивана.

Вскоре больной лег опять на спину и забылся тревожным сном.

— Первая пилюля подействует на рассвете, а вторую пилюлю дам перед выступлением...—сказал И-сай, пряча коробочку в ящик.

— Ну, хорошо. А я пойду распоряжусь,—проговорил предводитель хунхузов, выходя с бумажным фонарем из фанзы.

— Ну, и воняет же у тебя здесь,—послышался голос Ван-фа-тина и вскоре шаги его замерли в тишине ночи.

Долго еще возился И-сай с пантами, очищал их от насекомых, перекладывал, смазывал какими-то мазями и пересыпал золой.

Васька улегся рядом с Юрой на кане и часто вставал, прислушиваясь к дыханию ребенка.

Лучина давно погасла и только красноватый огонек ночника бросал слабый свет на каны и земляной пол фанзы.

Мухи угомонились и облепили сплошною массою черный закоптелый потолок.

В углу у очага трещал сверчок, ему вторили в зарослях цикады и кузнечики.

Где-то вдалеке прокричала болотная сова, ей ответила другая с ближайшей сопки: это перекликались часовые хунхузы.

Кое-где в шалашах золотопромывателей светился огонь, там играли в карты и кости.

В глубине темного неба сверкали далекие звезды. Созвездие Большой Медведицы сдвинулось с места, повернувшись длинным хвостом книзу. Ночь была уже на исходе. Светало.

— Васька! Дай пить, — проговорил Юрочка, подымаясь на локте.

Китайченок уже встал давно и поднес мальчику холодной ключевой воды в кружке. Юрочка прильнул горячими губами к воде и жадно втягивал в себя влагу большими глотками.

После этого И-сай заставил ребенка проглотить вторую пилюлю.

Рассвело совершенно. Мухи опять тучами носились по фанзе, надоедая всем своим жужжаньем и назойливостью.

— Я хочу встать!—сказал мальчик, спуская ноги с кана. Васька помог ему сойти на пол и сделать несколько шагов. Вследствие большой слабости и изнурения, ребенок шатался на своих похудевших тонких ножках и не мог ходить без помощи своей няньки— китайченка Васьки.

Старик напоил его чаем с медом диких пчел и заставил почти насильно съесть две мягкие пшеничные пампушки, приготовляемые обыкновенно на горячем пару, в решете над котлом. Узнав, что сейчас он поедет к родителям, к мамочке, ребенок пришел в восторг, хлопал в ладоши и постоянно спрашивал своего маленького приятеля: „Скоро поедем?“—Вошел Ван-фа-тин. С ним был китаец высокого роста, атлетического сложения, с бронзовым корявым лицом. На спине его надета была корзина, приспособленная для переноски вещей; устроенная в виде стула, она могла служить носилками для мальчика.

— Здравствуй, Юра,—громко сказал Ван-фа-тин, беря мальчика на руки,—пойдем сейчас к маме. Ты очень рад? Ну хорошо хорошо. Садись на этот стул, тебя понесет этот китаец. Что? Самому итти? Нет, ты слаб и нездоров, и не дойдешь. Мы тебя сами донесем. Сегодня вечером увидишь и маму и папу. Вот так, хорошо, — говорил хунхуз, усаживая Юрочку на носилки и завязывая спереди полотенцем, чтобы ребенок не вывалился со своего высокого сиденья.

Бледный, истощенный, с блестящими большими лихорадочными глазами, мальчик возбуждал жалость даже в черствых сердцах закоренелых разбойников. Старый И-сай положил для мальчика в мешок с продуктами, висящий на спине вооруженного китайца, жестяную баночку с медем.

Отдав кой-какие распоряжения своему помощнику, находившемуся тут-же, Ван-фа-тин закинул за плечи винтовку и зашагал по той же тропе, по которой когда-то шел Иван, направляясь на концессию.

За предводителем шел полусогнувшись корявый с Юрочкой, сзади следовали еще несколько хунхузов, вооруженных винтовками и с сумками за плечами.

Васька также бежал сбоку, около Юрочки и смотрел на него печальными глазами, но вскоре он отстал, услыша голос старого И-сая, зовущего его назад.

Становище золотоискателей пробудилось. Сильный дым подымался из очагов. Слышались голоса китайцев выходящих на работу.

Солнце только что показалось из-за далеких темных вершин Кентей-Алина и бросало свои золотисто-красноватые лучи на долину. Седой туман полз по склону хребта, подымаясь к зубчатому скалистому гребню, как-бы подкрадываясь, тихо и осторожно.

Пройдя по гребню, хунхузы втянулись в лес и двинулись по тропе, вьющейся подобно змее по скалам, хребтам и увалам, по падям и глубоким ущельям.

Юрочка чувствовал себя хорошо на спине высокого китайца. По временам он склонял свою кудрявую белокурую головку и засыпал. Грезилось ему, что он дома, что около него дорогая мамочка и папа, и что дядя Валериан подарил ему большую лошадку; ребенок вскрикивал, простирал свои худые ручки вперед и просыпался. Вокруг была все та-же темная угрюмая тайга, вместо дорогих веселых лиц — суровые, темнобронзовые лица хунхузов.

Под сводами леса было душно. Парило. В полдень Ван-фа-тин приказал остановиться на берегу ручья, катившего свои холодные, чистые воды по каменистой россыпи оврага.

Затрещал костер. Хунхузы расположились вокруг него и тонкими палочками ели из плоских глиняных чашек разогретую лапшу. Юрочка сидел на шкуре козули между ними и также ел лапшу только не палочками, а своими тонкими пальцами. Ван-фа-тин прилег в стороне

под стволом старого дуба, закурил длинную черную трубку и о чем-то думал.

Тучи москитов носились вблизи, отгоняемые едким дымом, поднимающимся от костра.

Мальчик еле сидел. Ослабевшие руки и ноги не повиновались более. Посмотрев вокруг своими большими голубыми глазами, как бы ища помощи и участия, он откинулся назад на спину, закрыл глаза и впал в обморочное состояние. Хунхузы всполошились. Ван-фа-тин начал тереть ему виски и брызгать на голову холодной водой.

Боясь не донести ребенка живым, он приказал собираться в путь. Ребенок тем временем пришел в себя, открыл глаза и произнес: —Мама! Мама!—Его усадили на носилки и понесли. Ослабевшая головка качалась вперед и назад на тонкой шее и, казалось, вот-вот оторвется. Ее поддерживал рукой сзади идущий хунхуз.

Между тем все небо, дотоле чистое голубое, заволокло темными тучами. Завыл ветер в вершинах деревьев и пошел дождь. Тайга зашумела, зарокотала, как бурное море. Вдалеке гремел гром. В лесу сразу стало темно.

Долго еще шли хунхузы по таежной тропе, торопясь доставить мальчика на концессию живым, и только спустя час после полуночи вышли они к речке, протекающей возле завода. Ван-фа-тин взял совсем ослабевшего ребенка на руки, перешел с ним реку и положил его на камень, подостлав козью шкуру, другой шкурой он накрыл его от неперестававшего дождя.

Перед этим он послал одного из своих в контору, дать знать родителям, что сын их здесь.

Постояв около Юрочки, предводитель перешел обратно речку и стал на опушке леса, в ожидании дальнейшего.

Хунхуз, посланный им в контору, долго стучал в ворота, пока ему отворили. Грабинский, узнав, в чем дело, разбудил жену, которая от волнения, овладевшего ею, не могла первое время притти в себя. Машинист Белозеров, случайно заночевавший в конторе, побежал вместе с Грабинским к речке; он успел захватить фонарь и освещал дорогу. Впереди всех бежала Евгения Степановна с растрепанными волосами, накинув на плечи платок.

Добежав до камня, она бросилась к сыну, подняла его и начала как безумная целовать его лицо, горевшее последним жизненным жаром.

— Юрочка, милый! Что с тобой?! Очнись! Я здесь Юрочка! Я твоя мама. Открой же глазки!..—говорила точно в бреду молодая женщина, держа на коленях дорогое существо.

Наконец ребенок, под влиянием безумных ласк матери, открыл глаза, пристально посмотрел на нее, приподнялся, обхватил рученками ее шею и застыл в горячем, последнем поцелуе. С этим поцелуем отлетела невинная душа его и понеслась в беспредельное мировое пространство.

Убитый горем отец и добрый толстяк, дядя Валериан, стояли у камня с поникшими головами, обильные слезы текли по усам их и капали на мокрую землю.

Дождь перестал. При вспышках молнии с другого берега речки Ван-фа-тин видел эту печальную группу и новые, неведомые дотоле, мысли и думы зарождались в темном и диком мозгу его.

Тайга шумела и тихо рокотал гром.

Где-то вдалеке перекликались болотные совы.

29. ДРАМА В ЛЕСУ.

Как-то раз зимою мы с Афанасенко заночевали в заброшенной фанзе зверолова, в далеких Хайлинских кедровниках.

С большим трудом растопив холодный кан и закусив, чем Бог послал, мы собрались уже погрузиться в объятия Морфея, когда мой верный друг Сибирлет, спавший на полу у двери, заворчал и стал к чему-то прислушиваться. Шерсть на спине его поднялась дыбом и чуткие острые уши, улавливая малейший звук, направлены были в одну сторону.

Это был сигнал тревоги. В одно мгновенье мы были уже на ногах и с винтовками в руках стояли под навесом фанзы, на теневой ее стороне, в ожидании появления невидомого врага.

В глухой тайге надо быть всегда готовым к неожиданной встрече, чтобы не быть застигнутым врасплох, что равносильно смерти.

Сибирлет ушел вперед и черная фигура его резко обозначалась на фоне снежной пелены, в ярких лучах лунного света.

В тайге было тихо, тихо и издалека доносились едва уловимые звуки шагов по мерзлому снегу битой тропы.

К фанзе кто-то приближался.

Сибирлет с лаем бросился в тайгу и его звучный голос нарушил торжественную тишину ночи.

Вскоре на тропе показались две человеческие фигуры, сопровождаемые Сибирлетом.

Мы вышли к ним навстречу, держа оружие на готове.

Это оказались два русских охотника со стинции Эхо.

Пригласив их в фанзу, мы разговорились и, после обязательного в таких случаях угощения чаем, стали укладываться спать на теплых канах.

Оба охотника были молодые крепкие парни, не старше тридцати лет.

В мешках у них, кроме обычного походного снаряжения, оказалось несколько десятков собольих шкурок, связанных пачками по пяти штук.

На наши вопросительные взгляды, они не стесняясь дали нам исчерпывающие ответы.

„Дело нетрудное—говорил старший из них—ходим по тайге и стреляем соболей, только пули наши не портят дорогую шкурку!“

„Как же так!—поинтересовался я, не замечая насмешливого взгляда Афанасенко, брошенного на меня—Вероятно вы добываете их ловушками?“

„Конечно ловушками, которые всегда носим с собой! Вот они!“ При этом он выставил свои массивные красные руки с короткими пальцами.

Я понял все и мне стало неловко за свою наивность и опрометчивость.

Открыв нам свой секрет, эти таежные браконьеры посвятили нас во все детали своего темного дела, при чем должны были признаться, что ремесло это довольно опасно, так-как неумолимый закон дикой тайги, в виде мести потерпевших, висит над ними, как страшный неизбежный рок.

„Звероловы хитрые!—пояснял нам говоривший—Они прячут своих соболей в дупла деревьев. Но мы языка добыть тоже умеем! Как всыпешь ему горячих шомполов в спину, так живо находят своих соболей где-нибудь поблизости фанзы! Но попадаются между ними упорные!“

„Ты ему всю спину исполосуешь, как котлету, а он молчит, как в рот воды набрал, только зубами щелкает и скрежещет, как волк. Одного пришлось таки прикончить, для остраски другим!“

„Давно-ли вы занимаетесь этим делом?—спросил я, крайне возмущенный цинизмом и наглостью преступников.“

„Нет, недавно!—продолжал браконьер, укладывая пачки шкурок в свой походный мешок—Только с осени мы с товарищем промышляем соболей, а до того добывали другого зверя, мясного. Но это дело куда прибыльнее, хотя и опаснее. Надо держать ухо востро и не доверяться никому.

Вот поработаем здесь зиму и перекочуем в другое место: здесь оставаться уже будет нельзя! Нас и так уже выслеживают по пятам и грозятся убить! Но до сих пор еще кривая вывозила, хоть и попадали мы в крутые переделки. Бог даст, до конца зимы дотянем, а там и навострим отсюда лыжи, по добру по здорову!»—

„Скажите, разве вам не жалко обижать бедных старых звероловов, которые ничего худого вам не сделали, и отнимать у них последнее их достояние, добытое с таким тяжким трудом?“—Задал я вопрос старшему, который охотно отвечал на все наши вопросы.

„А чего их жалеть на самом деле!—Отвечал он, с полною уверенностью в своей правоте. — Нам тоже жить хочется, как и им! А соболей они себе добудут еще много! Ведь мы делим добычу по справедливости и никогда не забирали всех соболей! Несколько штук мы всегда оставляем, а себе берем только лучших, которые потемнее и пушистее. Они и за то должны быть благодарны!“

В душе у меня кипело и я хотел наговорить им кучу справедливых и „кислых“ слов, но воздержался, смотря на равнодушное и спокойное лицо Афанасенко, лежавшего на канах, рядом со мной.

Меня поразила своеобразная и дикая логика этих людей, считавших себя повидимому культурными.

Разговоры затянулись за полночь и не скоро в фанзе нашей наступила тишина. Первым захрапел Афанасенко, а за ним заснули и пришельцы, положив к себе под головы мешки с драгоценными соболями. Мне не спалось. Я не мог успокоиться после разговора с браконьерами и самые разнообразные мысли бродили в голове моей,

Таежная ночь, между тем, подходила к концу. Луна зашла за темную громаду ближайшей сопки и под сводами вековых кедров стало темно, как в могиле.

Перед рассветом с горных вершин набежал ветерок и старая тайга зашумела, качая вершинами своих зеленых богатырей-великанов.

Наши гости встали рано и, наскоро позавтракав, ушли своей дорогой, сказав нам на прощанье „Бывайте здоровы!“

Мы с Афанасенко еще продолжали нежиться на теплых канах, пока яркое зимнее солнце не заглянуло в дырявое бумажное окно ветхой фанзы.

Ветер не унимался и предвещал непогоду. По небу неслись перистые облака, неся с собою влагу, которая чувствовалась в воздухе, значительно потеплевшем.

В виду предстоящего снегопада, мы решили сделать дневку и остались под кровом гостеприимной и уютной фанзы, занявшись своими личными хозяйственными делами.

После полудня к фанзе подошла группа каких-то китайцев из восьми человек. Пятеро были вооружены винтовками Маузера, остальные имели в руках палки, какие носят обыкновенно все звероловы.

Поздоровавшись с нами, они попросили разрешения войти в фанзу.

Мы угостили их чаем, после чего они стали расспрашивать нас, не встречали ли мы двух русских охотников, при чем описали довольно точно наружность недавних ночных посетителей, браконьеров.

Для нас стало ясно, что это группа таежников, выслеживающих похитителей соболей, с целью совершения над ними таежного самосуда.

Трое из пришедших повидимому были звероловы, а пять вооруженных несомненно принадлежали к хунхузской шайке, оперировавшей в тех местах.

Хунхузы были очень сдержаны и избегали разговоров с нами, посматривая на нас исподлобья своими дикими строгими глазами.

На наши вопросы, зачем им русские охотники? Звероловы отвечали неохотно, ограничиваясь одной фразой „Будунды“.

Узнав, в какую сторону они пошли по тропе, таежники двинулись мы в след, спеша наверстать потерянное время.

,,Ну, будет потеха!—произнес Афанасенко, смотря на тропу, по которой шагали удалявшиеся фигуры китайцев,—Не сдобровать нашим браконьерам! Попались голубчики! И по делом! За грабеж нигде не гладят по головке, а наипаче в тайге!... Будет буран! Вон как шумит тайга и плачет жалобно и тоскливо!“ прибавил он, кутаясь в меховую куртку и входя за мною в фанзу.

Буран действительно разразился с небывалою силой и продолжался втечение трех дней. Мы сидели это время в фанзе и коротали долгие ночи и недолгие дни в разговорах на разные темы, при чем много места уделяли воспоминаниям о таежных встречах и приключениях нашей скитальческой жизни.

На третий день к вечеру буран прекратился и ветер как-то сразу стих. Настала та невозмутимая тишина, которая всегда бывает после бури. Мы вышли из фанзы на разведку. Глубокие сугробы рыхлого снега намело в тайге. Тропы не было видно, ее засыпало и сравняло с общим снежным покровом, искрящимся под бледными лучами полной луны, медленно плывущей в глубине темного неба. Мороз крепчал и раскалывал своим леденящим дыханием стволы деревьев и застывшие воды горной реки, на берегу которой приютилась наша убогая фанза.

Где-то на ближайшем кедре кричал и заливался хохотом филин-пугач и горное эхо вторило этим звукам, как бы спрашивая „кто-такой?“, ,,кто-такой?“ Ему отвечал таинственный голос из глубины лесных дебрей ,,Я здесь!“ ,,Я здесь!“

Последняя ночь, проведенная нами в фанзе, имела траги-комический конец. От неисправного дымохода в кане, искры и пламя проникли наружу и зажгли цыновку, бывшую под нами.

Ночью я проснулся от неистовых криков Афанасенко, вопившего благим матом: „Пожар! Горим! Воды скорее! Воды!“

Я вскочил, как ошпаренный. Передо мной на кане Афанасенко совершал какой-то дикий танец и хлопал себя по бокам, где его суконная куртка и брюки тлели и дымились, извергая фонтаны искр. Цыновка, на которой мы лежали, горела уже огнем и из дымохода, как из вулкана, гудели языки пламени и столбы едкого черного дыма. На мне также начала тлеть одежда и я чувствовал нестерпимый жар от горящей на моем боку ваты.

Не долго думая, я схватил ведро с ледяною водой, принесенною накануне, и окатил ею своего приятеля с головы до ног. От неожиданности такого душа, он едва не захлебнулся и улетел кубарем с кана, срывая с себя тлеющие куски злосчастной куртки.

Долго еще нам пришлось повозиться, чтобы прекратить пожар фанзы. Много ведер воды вылили мы на кан и в дымоход, пока не сбили огонь и не погасили его совсем.

О сне нечего было и думать: глиняный кан и земляной пол фанзы превратились в топкие болота. Глаза наши истекали слезами и воспалились от густого едкого дыма, который не давал возможности ни дышать, ни смотреть.

Наконец, под утро мы кое как справились с этой бедой и привели в относительный порядок себя и внутренность фанзы.

Все хорошо, что хорошо кончается, и для нас этот ночной эпизод послужил только темою для бесконечных шуток и веселого настроения. Я до сих пор без смеха не могу вспомнить комичную фигуру Афанасенко, плясавшего танец апашей, на горящем кане и вопившего во все горло: „Горим! Горим“.

Утром, при дневном свете, взглянув друг на друга, мы разразились неудержимым смехом, до того комичны были наши физиономии и фигуры! Грязные, как трубочисты, оборванные и мокрые, с красными, как у кроликов, опухшими глазами, мы представляли собой настоящие пугала, что ставят на огородах, против нашествия пернатых вредителей.

Отмыв в проруби сажу и грязь, мы развели большой костер, чтобы согреться и хоть немного обсушиться. Кое-как починив прожженую одежду и закусив на скорую руку вяленым мясом кабана, мы расстались с злосчастною фанзой, едва не превратившей нас в бифштексы, и тронулись по глубокому снегу, пробивая новую тропу к станции Хайлин, до которой было не менее сорока километров, куда мы добрались только через два дня, измученные и изнуренные до последней возможности.

Через месяц мы снова побывали в тех местах, где потерпели аварию в заброшенной таежной фанзе.

Зима уже была на исходе. Солнце не только ярко светило, но и порядочно грело. Солнопеки очистились от снега. В воздухе пахло талою землей и перегнившею листвой.

Веселее щебетали птицы и юркий бурундук, посвистывая и заигрывая со своею скромною подругой, носился, как угорелый, по колоднику, засовывая свой любопытный нос во все щели и трещины, в поисках запрятанных с осени ягод и орехов.

По таежным ключикам и в речных уремах попискивали рябчики. Лесной отшельник, боярин Топтыгин, лежа в теплой берлоге, прислушивался к необычному шуму, настораживал чуткие уши и втягивал носом свежую, влажную струю ароматного воздуха.

Чувствовался скорый приход весны. Был фавраль месяц.

Мы шли по тропе, поднимаясь на перевал водораздела, между Хайлином и Тутахезой. Сибирлет бежал впереди, принюхиваясь к следам зверей и поводя своими большими острыми ушами.

В одном месте он остановился, как вкопанный, глубоко втянул в себя воздух и скрылся в зарослях.

Мы также остановились и стали прислушиваться, зная, что этот пес никогда не поднимет ложной тревоги и не обманется в своих чувствах.

Минут через десять мы услышали сдержанный лай собаки, раздававшийся из глубины ближайшего распадка.

Что бы это могло быть? Мы недоумевали и двинулись на этот лай.

Вскоре перед нами открылась небольшая поляна, заросшая высокой прошлогодней полынью. Посредине виднелись развалины сгоревшей фанзы. Сибирлет стоял у входа и изредка взлаивал, оглядываясь в то-же время на нас.

Мы подошли к нему и заглянули внутрь фанзы.

На кане виднелись два полуобгорелых трупа. При ближайшем осмотре мы убедились, что это русские, так-как на ногах у них оказались кожаные бродни, а уцелевшие куски одежды подтверждали это предположение. Лица были изуродованы пожаром, но все же можно было разобрать некоторые черты. Один был несомненный брюнет, другой блондин. В руках у первого был зажат охотничий нож, со сломанным лезвеем.

Вынув из руки мертвеца этот нож и рассмотрев его рукоятку, Афанасенко произнес, обращаясь ко мне;

„А, ведь, это те самые браконьеры, что ночевали с нами на Тутахезе! Я узнал по ножу! А вот у старшего сохранилась серебряная серьга в левом ухе! Я и говорил тогда, что им не сдобровать! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить! Так им и надо! Собаке собачья смерть!“

Я ему не возражал, хотя и не вполне разделял его взгляд на этот предмет.

При каких обстоятельствах погибли русские охотники, выяснить не удалось, несмотря на тщательный осмотр фанзы и трупов.

Это осталось тайной старой тайги.

Несомненно, что они стали жертвой своего легкомыслия и самонадеянности, а также мести со стороны таежных обитателей.

Окончив осмотр, Афанасенко опустился на колени и погрузился в молчаливую молитву. Он молился об упокоении душ усопших в селении праведных и о прощении грехов их вольных и невольных.

Дремучая тайга шумела, напевая свою грустную песню. Она звучала, как торжественный реквием в храме первозданной природы, под темными сводами вековых кедровников.

Окончив молитву и встав с колен, Афанасенко обратился ко мне со словами:

„Хотя они и великие грешники, но все ж русские люди! Давайте их похороним, как следует, чтобы таежный зверь и птицы не разнесли их кости“.—

Я согласился с этим проэктом и вскоре огромный костер запылал на лесной поляне, пожирая своими огнеными языками остатки фанзы и трупы злосчастных охотников.

Черный дым заклубился над лесом, поднимаясь к синему небу, спокойному и равнодушному.

Стаи ворон, потревоженные пожарищем, реяли в вышине, оглашая чистый горный воздух своим клекотом.

Не ожидая конца этого языческого погребения, мы продолжали свой путь, поднимаясь на крутой перевал Хайлин-Мяо.

Через полчаса мы были на водоразделе, откуда открывался чудный вид к северу и к югу.

Бросив взгляд назад с перевала, мы видели клубы редкого беловатого дыма на темном фоне хвойных лесов.

Всепожирающий очистительный огонь сделал свое дело и скрыл следы таежной драмы, разыгравшейся в дебрях Хайлинских кадровников.

---

30. ТАЙНА ОБЕЗЬЯНКИ.

Однажды к нам на двор забрел китаец с обезьянкой и начал свое нехитрое представление, в котором главную роль, конечно, играла макака, изображавшая различные персонажи в роде русской ,,мадамы" ,,капитан", китайца ,,ходи", ,,солдата", ,,купеза", ,,бойки" и других, более или менее популярных, типов.

Вокруг импровизированной сцены постепенно образовалась большая толпа, по существу состоящая из тех-же типов, имитируемых маленьким человекообразным животным.

Толпа смеялась, гоготала, дразнила обезьянку и издевалась над ней, чувствуя правдивость этого подражания и несомненное сходство с собою.

Несчастное, худое и изморенное существо, исполнявшее свою роль из-под палки, производило жалкое впечатление и смотрело на окружающую толпу грустными умоляющими глазами, как бы прося снисхождения и защиты. Но ни у кого из зрителей бедная обезьянка не находила не только участия и сочувствия, но даже жалости.

Толпа всегда жестока и беспощадна и в данном случае она проявила эти качества, доведя несчастное животное до изступления.

Вожаку никак не удавалось ее успокоить и он был уже в отчаянии, не зная, что предпринять против людской жестокости.

Я стоял в стороне, наблюдая за всей этой сценой.

Мне жалко стало обезьянки и я подошел к ней поближе.

В кармане у меня нашлась конфета и я протянул ее дрожащему от страха зверьку.

Взгляд его, обращенный на меня, обнаруживал страх и недоверие и в то же время мольбу. Казалось, он хотел сказать:

,,И ты тоже? За что вы, большие, сильные и умные люди, дразните и издеваетесь над маленькой, слабой обезьянкой! Что она вам сделала плохого?"

Взяв конфету, обезьянка спрятала ее себе за щеку и снова приняла прежнюю оборонительную позу.

Я протянул к ней обе руки, приглашая взглядом и жестами к себе.

Сначала она недоверчиво смотрела мне в глаза, ища в них ласку и искренность. Затем, не спуская с меня испытующего взора, она перешла ко мне на руки и прижалась к моей груди всем своим маленьким тщедушным тельцем.

Я гладил ее по голове, при чем она издавала довольное мурлыканье и вскидывала на меня свои выразительные большие глаза, в которых светилась благодарность и доверие.

После всего этого я не мог уже отдать ее обратно вожаку на мучение и истязание и предложил ему за нее довольно высокую цену.

Не ожидая такого оборота дела, вожак сразу дал свое согласие и таким образом обезьянка осталась у меня, сделавшись впоследствии общей любимицей моей семьи.

Она была из породы яванских макак и оказалась молодой самкой, в возрасте двух-трех лет. Мы назвали ее Сарой, по сходству этого имени с ее прежнею китайскою кличкой.

В начале она была до невероятия худа и истощена, но обильный корм быстро ее поправил. Она стала веселой жизнерадостной, шаловливой проказницей, забавлявшей нас своими уморительными ужимками, умом, находчивостью и любознательностью.

Прошли теплые дни лета и осени. Настала суровая, холодная зима с ее жестокими морозами и ветрами. Хотя в комнате, где она жила, было очень тепло, но очевидно климат с Северной Маньчжурии неблагоприятен для экзотических животных и наша обезьянка стала болеть и чахнуть. Апетит у нее пропал и исчезла прежняя жизнерадостность. Она часто сидела на окне и грустными глазами смотрела в даль, где синели на горизонте лесистые хребты Лао-Лина.

Мне казалось, что она скучает по своей теплой прекрасной родине и вспоминает ее роскошные, ароматные джунгли.

В декабре месяце она стала кашлять и у нее открылась гноящаяся рана на хвосте. Худоба ее прогрессировала и темнокоричневое лицо ее побледнело.

Приглашенный мною врач осмотрел ее, выслушал и поставил определенный диагноз: туберкулез в начальной стадии.

Обезьянка, как-будто, сама сознавала свое положение, жалобно стонала и, кашляла, держась за грудь своими маленькими похудевшими ручками.

Жалко было смотреть на бедное животное, но всякая помощь была бесполезна. Болезнь прогрессировала и к весне должен был наступить конец.

Я часто в ту зиму уходил на охоту и находился в отсутствии по неделям.

После одной из таких отлучек, я по обыкновению пошел проведать Сару. При моем появлении, она издала радостный крик, бросилась ко мне на руки и стала искать у меня в волосах, преуморительно перебирая их своими нервными тонкими пальцами. Этим она выражала свою любовь и привязанность.

В настроении ее я заметил некоторую перемену. Она сидела у себя в клетке и что-то сосала, держа в руках какой-то предмет.

Рассмотрев его поближе, я убедился, что это корешек дикого жэнь-шэня, который лежал в моем письменном столе.

С большим трудом мне удалось добыть от Сары корешок, так-как она ни за что не хотела его отдавать и сопротивлялась до последней возможности.

Чтобы получше его спрятать, я положил его на верхнюю полку книжного шкафа и дверцу запер на ключь.

У корешка был откушен небольшой кусок, величиной с горошинку.

Сара внимательно следила за мной, когда я прятал корешок.

Прошло около месяца, за это время я опять побывал на охоте в тайге и, возвратясь домой, не нашел корешка на месте. Книжный шкаф был открыт и ключ торчал в замке.

Сара была особенно весела и шаловлива. Прежнего угнетенного состояния, как не бывало. У нее появился аппетит, цвет лица стал нормальным и язва на хвосте исчезла.

После тщательных поисков, я нашел корешок жэн-шэня запрятанным в складке одеяла Сары.

Увидя, что он найден и взят мною, обезьянка заволновалась, подскочила ко мне и старалась его отнять. Я отдал ей корешок, от которого был уже отъеден порядочный кусок, величиной с большой боб.

Получив желанную добычу, Сара убежала с ним в свою клетку и снова запрятала его под одеяло; после чего успокоилась, вышла из клетки и занялась играми и возней с резиновым мячиком.

Теперь только я уяснил себе причину улучшения здоровья обезьянки и убедился в том, что она сама себя вылечила корешком жэн-шэня, инстинктивно чувствуя его целебную силу.

Врач, приглашенный мною, осмотреть обезьянку, нашел ее на пути к полному выздоровлению.

Мои предположения о чудодейственных целебных свойствах жэнь-шэня он отверг совершенно, высказав свой взгляд, основанный на сопротивляемости организма всевозможным болезненным явлениям.

Само собой разумеется, я остался при своем мнении и твердо верю в изумительную целебную силу жэнь-шэня, в чем я неоднократно имел возможность убедиться.

Не смотря на опровержение представителя медицины, факт излечения обезьянки от туберкулеза именно жэнь-шэнем был на лицо.

Пока Сара не поправилась совершенно, я не отбирал от нее корешка, который она тщательно хранила у себя под одеялом.

Только, когда она совершенно поправилась, и от туберкулеза не осталось следа, я спрятал корешок в надежное место, но от него осталось не более половины.

Корешок этот достался мне от одного старика-искателя. который вручая его мне, говорил о его редких и исключительных качествах.

Стоимость его была не меньше 2-3 тысяч рублей. Это был настоящий дикий жэнь-шэнь, прекрасной формы, в возрасте 15-20 лет.

Между тем наступила весна, а затем лето, с его влажным дыханием юго-восточного муссона.

Горная тайга, обступившая со всех сторон станцию Ханьдаохецзы, зазеленела, расцвела и наполнилась ароматом разнообразных лесных цветов и распускающихся смолистых почек.

Сара все чаще и чаще присажавалась к окну и с грустью смотрела на ожившую ликующую природу, на сопки, одевшиеся в свой роскошный летний наряд. Чутким ухом она прислушивалась к зеленому шуму тайги, к неумолчному хору голосов, доносившемуся из ближайших зарослей цветущих лесных полян.

Видимо, ее тянуло в природу, в лес, на свободу. Я выпускал ее в начале на цепочке, но это ее не удовлетворяло. Тогда я попробовал выпустить ее на волю, без цепочки. Она крикнула мне что-то радостное на своем родном языке и исчезла в зеленой стихии леса. Я пошел-было за ней, думая, что она далеко не уйдет и откликнется на мой зов, но я ошибся: нигде я не мог ее найти и на мой голос она не отзывалась.

Прошло более полдня. Я предполагал уже, что обезьянка ко мне не вернется, но и на этот раз я ошибся, она вернулась сама, проскочила в свою клетку, завернулась в одеяло и крепко заснула.

Во сне она громко вскрикнула и бормотала, очевидно переживая свои новые впечатления.

На следующий день я ее держал дома и она опять не отходила от окна, скучала и жалобно пищала, смотря на меня грустными просящими глазами.

К вечеру она опять оживилась, когда я вынес ее в лес на цепочке, при чем она очень выразительно указывала рукой на свой ошейник, прося его снять.

Через несколько дней я выпустил ее в лес с самого утра, где она пропадала до вечера. Вернулась она довольно поздно, когда было уже темно, и старалась незаметно пройти в клетку, но я взял ее на руки и заметил, что она держит какого-то маленького зверька, прижимая его к своей груди. Это оказался бурундук, величиной с мышенка.

Вероятно Сара вынула его из гнезда. Он был очевидно голоден, так-как все время пищал, чмокал губами и сосал подставленный палец. Для того, чтобы накормить его молоком с пальца, пришлось силой отнять его от приемной мамаши, при чем она неистово кричала, кусалась и сдалась только после отчаянной борьбы.

Накормленный бурундук успокоился и улегся спать на руках Сары. Всю ночь она не расставалась со своим детищем, не спала и держала его у груди.

Рано утром я выпустил ее снова и она, не теряя времени, ушла со своей живой куколкой на волю.

На этот раз она не возвращалась домой втечении двух суток.

Я считал ее пропавшей и как-то вечером заглянул в ее комнату, с целью почистить клетку. Каково-же было мое изумление, когда я увидел там обезьянку, сидевшую на своем одеяле с тем же бурундучком на руках. Он был уже мертв, вероятно она его замучила ласками и заботами, кроме того за это время он ничего не ел.

Думая, что я буду отнимать от нее ее сокровище, она крепко прижимала его к груди и старалась спрятать от моих взоров.

Я не стал ее беспокоить и бурундучек остался при ней.

Она не выпускала его из рук и всю ночь возилась с ним.

Чтобы предоставить ей полную свободу, я открыл окно в комнате. На следующее утро Сары уже не было, она ушла в лес чуть свет. Я заметил, что за последнее время, т.-е. с тех пор, как она гуляет на свободе, здоровье ее значительно поправилось, она перестала кашлять, окрепла и пополнела. Очевидно на ней сказалось благодетельное влияние природы.

Отсутствие ее теперь продолжалось неделю и я уже окончательно махнул рукой, думая, что она не вернется; но в один прекрасный вечер она неожиданно появилась в моей комнате, где я работал, сидя за столом, вскочила ко мне на плечо и начала ласкаться, при чем гладила меня рукой по щеке и по голове, выразительно смотрела в глаза и что-то бормотала на непонятном для меня языке. Это продолжалось с полчаса; затем она соскочила на пол, вошла в свою клетку, перевернула несколько раз одеяло, издала какие-то звуки, напоминающие восклицание, и направилась к открытому окну.

На мой вопрос: „Сара, куда ты?“, она остановилась, села на подоконник, смахнула что-то со своей щеки, как бы слезу, что-то проговорила и исчезла в темноте ночи.

Я вышел на двор, думая, что она там. Звал ее, обошел весь двор, но ее нигде не было. Она ушла в лес и больше не возвращалась.

Я долго ожидал ее возвращения. Ходил часто по ближайшим лесам, звал ее по имени, свистел, стрелял, предпологая. что она отзовется на эти звуки, но все напрасно.

Прошло более месяца. Лето подходило уже к концу. Периодические дожди прекратились. Настала чудная погода на переломе к осени.

Воспользовавшись этим, я отправился за грибами в одно из урочищ, верстах в двадцати от станции, где остановился в бараке лесорубов.

В случайной беседе китайцы рубщики сообщили мне, что они видели невдалеке от барака на дереве маленькую обезьянку, которая несла что-то в руках. Они ее преследовали, бросая шишки, но обезьянка скрылась в густой хвое старого кедра.

Я просил, чтобы они показали мне это дерево. Мы пошли на место, и я увидел огромный ветвистый кедр, под которым валялось много шишек. Думая найти здесь свою Сару, я звал ее, кричал громко и свистел, обошел большой участок леса, но ответа не получил.

Обещав лесорубам за обезьянку большую награду и собрав там грузди, я отправился домой, на станцию, кратчайшим путем, через сопки.

Вскоре лето кончилось. Настали холода. Зеленый убор тайги пожелтел и листья начали падать. Осень вступила в свои права.

Я часто думал о своей обезьянке и о тайне ее исчезновения и до сих пор не могу себе объяснить причину ухода ее в тайгу.

Припоминая ее последнее возвращение и все ее поведение в тот летний вечер, я все более и более убеждаюсь в том, что она приходила ко мне прощаться; но что заставило ее бросить уютное, теплое помещение и уйти в дикую суровую тайгу, полную для нее страхов и ужасов, лишений и смертельных опасностей,—осталось тайной, неразрешимой и неразгаданной.

Влекла ли ее свобода, или биологическая потребность общения с природой? Кто знает?

---

27. ДОЛИНА МИДИАНА.

Стояла погожая маньчжурская осень. В теплом ароматном воздухе носились тонкие нити паутины и небо, цвета индиго, горело лучами яркого заходящего солнца. Сопки, пади и долины, одетые в золотую парчу увядшей листвы, мирно дремали, готовясь к долгому зимнему сну под белым покрывалом снегов. Тучные поля, отдав свой обильный урожай земледельцу, отдыхали, набираясь новых сил и творческой мощи для будущей деятельности. Кое-где, среди сжатых борозд желтели пирамидки хлебных снопов и лучи заходящего солнца играли золотыми бликами на румяных кистях чумизных колосьев.

Неумолчный хор бесчисленных насекомых звенел в чистом, прозрачном воздухе. Бабье лето было в полном разгаре.

Над полями мелькали тени канюков и луней, плавно паривших над землей на своих мягких крыльях.

Высоко в небе кружил могучий орлан-белохвост и зычный клекот его разносился по полям и долам.

С запада, как грозовая туча, темнела громада хребта Лао-э-лина, подернутая фиолетовой дымкой вечернего тумана.

Мы стояли на горном перевале. Перед нами расстилалась широкая долина реки Мидиан-хе, с ее золотистыми полями; темными перелесками; извилистою лентой реки, обрамленной в темнобурую грань густых зарослей уремы.

Здесь царство фазанов! Многочисленные стада этой великолепной птицы пасутся и жируют на тучных нивах и размножаются беспрепятственно по склонам сопок и в кочкарниках мокрых долин.

Со мной бы неизменный спутник и товарищ по скитаниям, чернопегий красавец гордон, Ральф.

Он сидел у моих ног и также, как и я, любовался чудной панорамой и умные глаза его выразительно смотрели на меня и казалось говорили без слов.

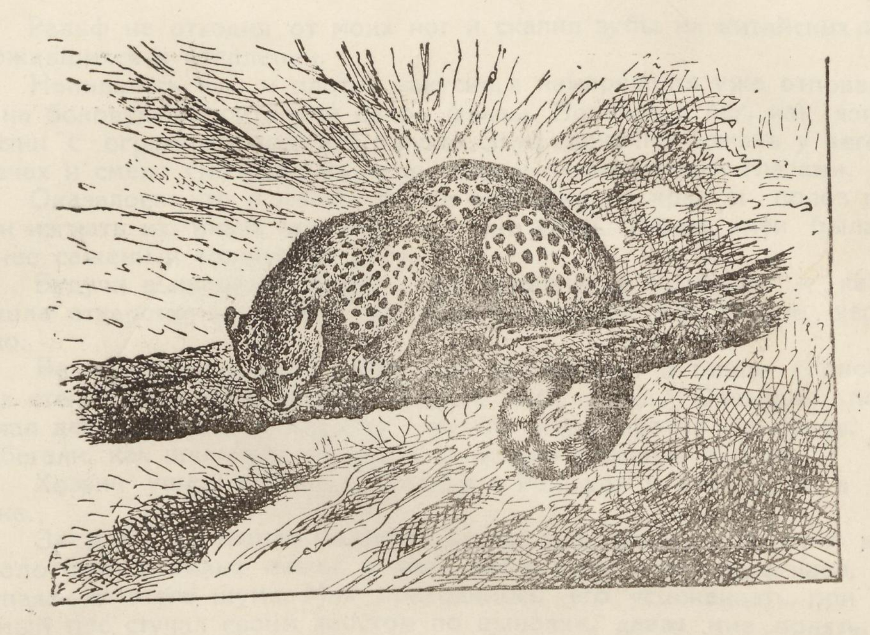
Я погладил его широкий выпуклый лоб. Он лизнул мою руку и глаза наши встретились. Мы понимали друг друга и мысли наши вероятно были одинаковы.

Виляньем хвоста и улыбкой мой друг выразил мне свое сочувствие и преданность.

Внизу по долине и у подножья сопок виднелись отдельные фанзы и хутора. Мы спустились к ближайшей фанзе знакомого маньчжура, который встретил нас радушно и предложил расположиться в одной из летних построек, которая была свободна.

Хозяин, высокий крепкий старик, с сухим бронзовым лицом и тонкою косичкой на спине, растопил кан и поставил на огонь чайник.

Жена его, худая и сгорбленная трудом старушка, с неизменною трубкою во рту, хлопотала по хозяйству, кормила свиней, готовила ужин и покрикивала на многочисленных голых ребят, бегавших тут же между свиньями, курами и телятами.



Леопард в засаде.

На взлете.

Ральф не отходил от моих ног и скалил зубы на китайских псов, державшихся в отдалении.

Напившись чаю и плотно закусив, я намеревался уже отправиться на боковую и притворил дверь фанзы. Но едва я лег, как явился хозяин с огромным полозом в руках. Змея спокойно лежала у него на плечах и смело смотрела на меня своими немигающими глазами.

Оказалось, что в летней фанзе очень много крыс и полоз должен изгнать их, иначе они не дадут мне спать. Длина змеи была не менее сажени и толщина в руку.

Будучи выпущена на пол, она немедленно поползла к канам, нашла отверстие и исчезла там, изящно извивая свое гибкое черное тело.

Не прошло и десяти минут, как под канами в толще глинобитных стен послышался неистовый шум, писк и визг. Очевидно полоз начал действовать и принимал крутые меры против грызунов. Они выбегали, как шальные, из норок и искали спасения в поле.

Хозяин ушел спать и я остался с Ральфом и с полозом в летнике.

Засыпая, я слышал какую-то возню под канами и беготню крыс около фанзы. Ральф лежал у моих ног и постоянно вздрагивал, просыпаясь от этого шума. Мне приходилось его успокаивать, при чем умный пес стучал своим хвостом по цыновке, давая мне понять, что он извиняется за беспокойство.

С соседнего хутора доносился дружный лай сторожевых собак.

В ближайших горах выли красные волки.

Тихая осенняя ночь окутала мирную долину Мидиана своим звездным пологом.

Утром, чуть свет, меня разбудил хозяин. Я вышел на двор, что бы освежиться холодною водой из колодца.

Солнце еще не показывалось. Бледнорозовое небо на востоке светлело все более и более. Легкий утренний мороз сковал воду в лужицах и болотцах и покрыл землю белым налетом инея.

Из глубины неба доносились крики пролетаюших гусей и журавлей. Звуки эти лились на землю, радуя сердце и наполняя чистый-прозрачный воздух бодрящей жизнерадостной песнью.

„Вперед! Вперед!“—казалось говорила она. Ищешь глазами в синеве далекого неба вереницы пролетных птиц и невольно завидуешь им, легкокрылым, свободным, как ветер.

В хуторах и фанзах начался уже трудовой день. Дым столбом подымался из труб, слышались голоса людей и крики животных. Мычали быки; ржали у водопоя лошади; блеяли овцы в своих тесных хлевах; визжали неистово свиньи, прося у хозяйки корма; кудахтали хлопотливые куры, разгребая лапами навоз; гоготали на речке гуси и утки; но все эти звуки покрывал крик осла, выпущенного из сарая и запрягаемого в мельничное ярмо: не нравится длинноухому эта скучная работа, с завязанными глазами, и он выражает протест, жалуясь на свою печальную участь.

Солнце поднялось уже над горами, когда мы с Ральфом вышли из фанзы и направились вдоль речки, по обочине уремы, откуда должны были выходить фазаны на жировку в поля.

Не успели мы отойти и сотню шагов, как из под ног вырвался петух-фазан, с треском крыльев и громким кудахтаньем, блестя на солнце чудным своим оперением.

Я вздрогнул от неожиданности. Ральф стоял около меня, подняв голову на фазана и взгляд его выражал смущение. Он был сконфужен не менее меня и, казалось, готов был просить прощения.

Двинулись дальше. Шагов через десять Ральф остановился и замер в стойке. Посылаю его вперед. Он подается, нерешительно ищет, делает круги, горячится; фазан убегает. Шагах в пятидесяти пес замирает, подняв переднюю лапу. Бегу к нему. Срывается фазан. Стреляю, отпустив его на верную дистанцию. Птица падает, как подсеченная серпом. Ральф торопится принести мне убитую; в это время из блжайших зарослей вылетают две фазанки. Я смотрю на Ральфа. В глазах у него страсть и азарт. Он знает, что я никогда не стреляю по фазанкам, но ему хочется, чтобы я выстрелил, это показывает вся его фигура, застывшая в ожидании. Он смотрит им вслед с сожалением и ве роятно в его собачьем мозгу копошатся мысли, выражающие упрек и неодобрение. Его собачья логика не может помириться с логикой человека. Посмотрев еще раз в мою сторону и снисходительно мотнув хвостом, он изчез в кустах, откуда начали вылетать фазаны пачками.

Взяв еще двух петухов, я вышел на сжатое поле, борозды которого бежали далеко по увалу и спускались вниз, в болотистый кочкарник.

У золотистых снопов чумизы толпились фазаны. Их было вероятно более сотни. Увидев меня, они насторожились, вытянули свои шеи с белыми галстуками и приготовились к бегству.

Ральфу очень хотелось побежать туда к ним, но, видя, что я остановился, он скромно уселся у моих ног и жадными глазами пожирал эту массу дичи, вероятно в своей собачьей душе удивляясь терпению охотника.

Когда я медленно двинулся вперед, фазаны побежали от меня по бороздам один за другим, гуськом, низко пригнув головы и вытянув длинные хвосты.

Ральф нервничал, порывался догонять их, но, опомнившись, ложился в борозду и сконфуженно посматривал на меня своими умными карими глазами.

Так бродили мы по полям и долам Мидиана до полудня. Солнце начало уже припекать и связка фазанов в десять штук немилосердно резала плечо.

Невдалеке темнел дубовый лесок и прохладная тень его манила к себе. Ральф, поняв мое намерение, помчался к этому леску и вскоре скрылся из виду.

Дойдя до его опушки, я услышал задорный лай своего пса и стал к нему приближаться. Вскоре я увидел Ральфа, стоящего под молодым дубком, на нижней ветке которого сидел петух фазан. Ральф неистово лаял, стараясь достать птицу прыжками, а она, чувствуя себя в безопасности, дразнила собаку, вытягивая к ней голову и хлопая крыльями.

Полюбовавшись этой сценой из жизни природы, я убил фазана, которого на лету подхватил Ральф и передал мне в руки.

Перейдя через речку в брод, мы с Ральфом углубились в заросли диких бобов, где любят отдыхать фазаны после жировки.

Здесь я сделал дублет по взлетевшему выводку. Пара петухов упала.

Одного принес мне Ральф, а за другим подраненным понесся стремглав сквозь заросли.

Я пошел по тому-же направлению и вскоре увидел вытянутую напряженную фигуру собаки, застывшую на стойке.

Посылаю Ральфа вперед, но он дрожит всем телом и не слушается.

Подхожу к нему вплотную и слышу, что он щелкает зубами.

Изо рта его капают слюни и выступает пена.

Я был поражен поведением собаки и, стараясь узнать причину, сделал два шага вперед.

Между кочками осоки что-то темнело и шевелилось. Я присмотрелся и увидел моего фазана в пасти огромной змеи.

Это был маньчжурский полоз; он схватил раненого фазана и наполовину его заглотал. Изо рта змеи торчали крылья, ноги и хвост птицы. Толстое и мускулистое тело змеи извивалось кольцами и напрягалось в трудной операции заглатывания. Хотя фазан был молодой и нежирный, но все-же представлял собой довольно крупную добычу для змеи в четыре аршина длиной.

Желая произвести наблюдения над полозом, я отозвал Ральфа в сторону а сам присел за кустом шиповника.

Змея, очевидно, заметила меня и отползла в сторону, шагов на десять, но затем продолжала свое дело и, после героических усилий, проглотила моего фазана целиком. Видно было, как он продвигался в теле змеи, проходя по пищеводу в желудок.

Когда добыча очутилась в желудке, полоз, открывая и закрывая свою пасть, вправлял челюстные кости на место, так как, от чрезмерного напряжения и растяжения, они вышли из своих сочленений. После этого он начал тщательно тереть свою морду и губы о траву, послужившую ему салфеткой.

Совершив трапезу и туалет, он высоко поднял свою голову, огляделся по сторонам и пополз в кусты.

Желая его взять с собой, я бросился к нему, схватил его двумя руками, за шею и туловище, и, не смотря на отчаянное сопротивление, водворил в мешок из под муки, всегда бывший со мной в путешествиях.

Этот полоз долго жил у меня и так привык, что свободно ползал по всему дому, являясь страшилищем не только для крыс, но и для всех невежественных людей.

Вечерело. Солнце быстро скатывалось к горизонту, где темнели лесистые гребни Лао-э-лина. Из падей и долин потянуло холодком.

Распределив битую дичь равномерно на оба плеча и повесив ружье за спину, я направился к дому.

Ральф, несмотря на силу и выносливость, шел сзади, по моим пятам и мало обращал внимания на взлетавших фазанов. Он устал, как и его хозяин, и еле волочил ноги.

Около самой фанзы через тропу, по которой мы шли, перебежали козули. Их было три штуки. Увидев нас, животные остановились в недоумении, с любопытством нас рязглядывая. Ральф, несмотря на усталость, порывался было их преследовать, но мой упрек остановил его и, виляя хвостом, сконфуженно улыбаясь, он вернулся опять к моей ноге.

Постояв немного на месте, козули, не спеша, двинулись галопом через поле. Стройные силуеты их долго еще мелькали на темном фоне сжатых полей своими „белыми платочками."

Эту ночь спали мы с Ральфом, как убитые, и не слышали тревоги, произведенной барсом, пришедшим из ближайших горных лесов, поживиться чем нибудь у хуторян-маньчжуров.

Если-бы не собаки, поднявшие лай и тревогу, хищник забрался-бы на скотный двор и зарезал-бы там не одно животное.

Все-же, при отступлении и бегстве, ему удалось захватить одну собаку, задушить ее и унести в сопки.

Мы с Ральфом прошли по этим следам версты две, пока они не исчезли в каменистой россыпи.

В нижнем течении Мидиан-хэ разделяется на множество рукавов и в летнее половодье затопляет всю долину, образуя довольно большие озера, заводи и лагуны, зарастающие густым камышом, высокою осокой и метлицей.

Осенью, когда кончаются все полевые работы и хлеб убран в копны, здесь появляется такая масса всякой пролетной птицы, что „стон стоит“ в долине, как выражаются местные охотники, и „солнца не видно,“ когда вся эта орава птицы взлетает от выстрелов на воздух.

Это, конечно, преувеличено пылкой фантазией охотников, но все-же с уверенностью можно сказать, что всякой птицы там скопляется в это время чрезвычайно много.

В тот-же день я отправился с Ральфом в это птичье Эльдорадо и не столько ради охоты, сколько для наблюдения и созерцания жизни пернатых на лоне дикой, прекрасной природы.

Мы подошли к берегам большого озера Шихо. Почти вся водная поверхность его и самые берега были сплошь заняты массами гусей, уток, куликов, чибисов и чаек. Гоготание, кряканье, писк, свист, шипенье и крики птиц наполняли воздух. Множество хищников, всевозможных пород, реяло в синеве неба.

Прикрываясь кустами и высокой травой, мы подошли к самому берегу. Ближайшие птицы в беспокойстве отплывали, некоторые же поднимались с воды и уносились на дальние озера.

Я стрелял на выбор уток и куликов. Они шлепались в воду и Ральф охотно приносил их мне, кладя у моих ног.

Пернатые хищники были до того смелы и нахальны, что уносили у меня на глазах, из под носа, битую и раненую птицу.

Один сокол, вероятно сапсан, схватил утку в то время, когда она падала вниз после выстрела.

Я любовался красотой и ловкостью этих пернатых разбойников и нисколько не сожалел унесенной ими добычи. Некоторые из них были мастера своего дела, проявляя виртуозность в умении управлять своими крыльями и сильными лапами.

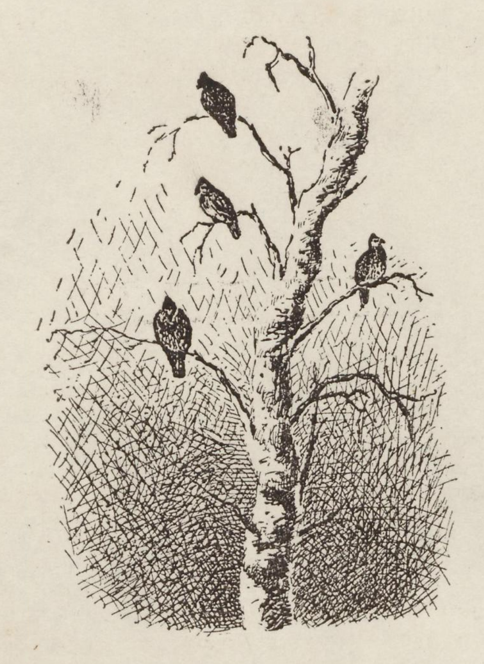
Наиболее смелые из них парили над моей головой, в ожидании выстрела, и бросались на птицу одновременно со звуком.

Я мог-бы настрелять их десятки, но мне это не приходило в голову, не смотря на большие потери битой птицы.

Ральф в недоумении смотрел на меня и вероятно в его голове складывались мысли не совсем лестные для меня.

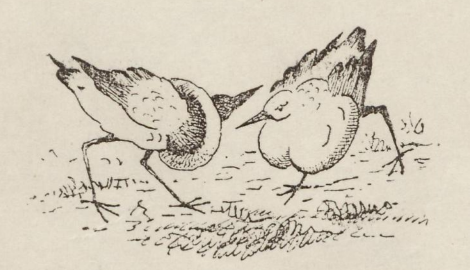
Каждый раз, когда хищник уносил добычу, он злобно ворчал, провожая ее глазами, и затем бросал на меня взгляд, полный сожаления и упрека.

Одна утка—чирок упала в воду и Ральф бросился к ней, но в это же время большой ястреб, как пуля, метнулся вниз, схватил трепыхавшуюся птицу и буквально из под носа сабаки выхватил ее из



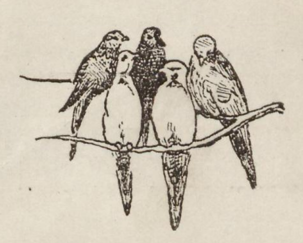
Рябчики.

Болотный щеголь.



Дуэль

Пернатый разбойник.



Лесные кумушки.

воды, взмыл кверху и с торжествующим победным криком унес в даль.

Ральф обезумел от такой дерзости и долго еще не мог успокоиться, провожая и встречая лаем каждого хищника, пролетавшего мимо.

На противоположном берегу озера расхаживали степенные и важные маньчжурские журавли и о чем-то видимо беседовали. Некоторые же стояли с философским сосредоточенным видом на одной ноге, предаваясь глубокомысленным размышлениям. Тут-же у их ног бегали кулички и ржанки, дрались из-за добычи и проделывали комичные антраша своими тонкими длинными ногами.

В далекой тихой заводи стояли в мелкой воде серые цапли и терпеливо выжидали добычи, в виде молодой неосторожной рыбки. Темнело быстро. Солнце давно уже зашло и озеро дышало холодными испарениями. Белесоватый туман подымался над его поверхностью и медленно полз по долине, закрывая своим пологом камыши и все пернатое его население.

Крики птиц начали стихать и в небе блеснули искристые звезды.

Мы с Ральфом пристроились у костерка на берегу озера и чутко прислушивались к звукам, доносившимся из камышей и с дальних плесов реки Мидиан-хэ.

Вверху, над нашими головами, пролетали стайки уток разных пород и свист их крыльев рассекал тишину наступившей ночи.

Жалобный крик кроншнепа и чайки, хорканье бекаса и уханье выпи, чередуясь, раздавались беспрерывно втечении долгой осенней ночи.

Под утро, когда начало бледнеть небо и звезды одна за другой меркли в глубине его бездонной пучины, послышался далекий крик лебедя-кликуна.

Мелодичные звуки этого голоса, то усиливаясь, то ослабевая, нарушали торжественную тишину заснувшей пустыни и будили многократное эхо в каменных твердынях горных хребтов, обступивших со всех сторон долину Мидиана и его затопленные низовые луга.

Птичье царство пробуждалось и одиночные голоса пернатых звучали уже в ближайших камышах.

Костер мой догорал. Ежась от холода я подложил еще сухого валежника и занялся приготовлением спасительного чая.

Ральф также ближе подсел к огню, отогревая свой бок, побелевший от инея.

Далеко в горах ревел изюбрь и где-то плакала навзрыд болотная сова!—

---

32. ТУН-ХО.

Историческая быль.

Была золотая маньчжурская осень. Однообразный летний зеленый наряд тайги расцветился всеми цветами радуги. Густой непроницаемый покров листвы ее загорелся яркими красками, напоминая великолепный персидский ковёр, наброшенный рукою сказочного великана на горы, долины и скалистые ущелья.

Глубокий купол безоблачного голубого неба раскинулся над миром и яркое полуденное солнце бросало на благоухающую землю свои горячие лучи. Неподвижный воздух был чист и прозрачен.

Какая-то особая торжественная тишина царила в увядающей, почившей от дел своих, природе. Из ближней пади, ленивыми взмахами могучих крыльев, подымался в вышину, кем-то потревоженный, беркут.

Миновав кумирню на горном перевале Лао-Лина, я спускался по тропе в глубокую падь реки Майхэ, намереваясь к вечеру добраться до ст. Шитоухецзы по шпалам лесовозной ветки.

Обычно я никогда не ходил по тропам, когда бывал в тайге один, из опасения нарваться на хунхузов; но на этот раз я изменил себе, уверенно шагая по тропе, в надежде вскоре попасть в район лесных заготовок, тем более, что слышен был уже шум и грохот подрубленных и падающих лесных великанов.

Я подвигался быстро по знакомой тропке, как вдруг на одном из поворотов показалась фигура вооруженного китайца, за ней другая, третья и целая вереница их резко обозначилась на золотисто-красном фоне таежных зарослей.

Я остановился и машинально сдернул винтовку с плеча, взяв ее на изготовку. Заметив меня, китайцы так-же остановились и слышно было, как защелкали затворы их ружей.

Момент был критический, и я сразу понял, что все преимущества на их стороне, а поэтому, вскинув винтовку на плечо, двинулся по тропе, навстречу китайцам.

Их было человек пятнадцать. Все они стояли неподвижно, как изваяния, держа на готове оружие.

Судя по одежде это были хунхузы. Взоры большинства были обращены не на меня, а сзади меня, на тропу, т.-е. очевидно они ожидали с этой стороны своих предполагаемых врагов. Подходя к ним, еще издали я крикнул китайское приветствие—„Лао-хао“, — на что хунхузы отвечали гробовым молчанием.

Удостоверившись, что я один и за мной никого нет, они сразу переменили тон, повеселели и, обступив меня, начали расспрашивать, кто я, откуда, не видел-ли в тайге кит. солдат и т. п. Разговаривая с ними, я рассмотрел их внешность.

Большинство были высокие и крепкие люди. Одежда почти однообразная. Вооружение так-же. Между винтовками Маузера попадались пистонные гладкоствольные старые ружья. Были и наши

Черный маньчжурский медведь.

Тун-хо со своими хунхузами.

берданки. Патроны блестели медными гильзами в нагрудных патронташах. Возраст хунхузов был самый разнообразный, начиная с мальчика лет 16 и кончая стариком лет 60.

Начальник отряда вооружен был пистолетом Маузера и чалма его была черного цвета, тогда как у остальных синего.

Подойдя ко мне вплотную, он отобрал у меня винтовку и передал ее своему оруженосцу. Я таким образом был обезоружен.

Из разговоров китайцев я узнал, что это был передовой отряд шайки Тун-Хо, известного тогда по всей северной Маньчжурии предводителя. Я знал, что Тун-хо не трогает русских и успокоился за свою участь, но начальник отряда объявил мне, что не может отпустить меня, до прибытия самого Тун-хо. Я молча покорился и должен был итти за хунхузами опять в ту сторону, откуда шел.

На перевале, у кумирни Лао-Лин-Мяо хунхузы остановились и я лег под тенью старого кедра, т. к. в тайге было душно. Возле меня расположился часовой, старый хунхуз, безостановочно дымивший своей длинной трубкой.

Остальные хунхузы разбрелись по кустам и их не стало слышно. Так прошло с четверть часа. По свистку своего начальника хунхузы, надев свои вещевые мешки на спину, вышли на тропу и двинулись с перевала вниз, направляясь по восточным отрогам Лао-Лина в долину реки Тутахезы. Я безропотно шел за ними, конвоируемый сзади старым хунхузом.

Шли мы безостановочно часа два, спускаясь с крутых склонов хребта, и достигли, наконец, одинокой фанзы зверолова, расположенной на высоком берегу Тутахезы.

Я бывал в этой фанзе неоднократно и старик зверолов меня узнал и желая ободрить, дружески похлопал по плечу, приговаривая: „Ни-пу-хай-па! пу-хай-па!", т. е. „не бойся, не бойся." Хунхузы расположились в фанзе и занялись чаепитием, предложив мне также принять в этом участие.

Под вечер, когда солнце скрылось за зубчатым гребнем Лао-Лина, и из таежных падей потянуло морозным дыханием осени, появился еще один отряд хунхузов, человек в 30. Одежда их отличалась разнообразием, но вооружение было отличное и состояло из магазинок Маузера. Начальник этого отряда, по прозванию Да-Лан, отличался огромным ростом и был на две головы выше среднего человека. Пришедшие хунхузы сообщили, что Тун-Хо прибудет ночью и останется в фанзе весь следующий день.

Большинство хунхузов относилось ко мне доброжелательно и даже изысканно вежливо, но часовой все-же неотлучно находился при мне и следил за всеми моими движениями.

Так как фанза была очень мала, все хунхузы расположились биваком на берегу реки и представляли собой живописную картину на фоне девственной первобытной тайги.

Наступила темная таежная ночь. Большие костры, разведенные хунхузами, отражались в волнах бурливой Тутахезы и столбы искр, крутясь под сводами вековых кедров, уносились в вышину, к звездному глубокому небу. Выставив часовых в обе стороны тропы, хунхузы улеглись спать возле костров на своих козьих шкурах.

В фанзе поместились оба начальника отрядов. Мне так-же предложили занять место на канах, чем я и воспользовался, т.-к. был сильно утомлен большим дневным переходом. Часовой расположился

на полу возле двери и сел у очага, раскуривая свою неизменную трубку. Вскоре хунхузы захрапели; не спал только мой конвоир, да старый зверолов, возившийся с чем-то у очага. Несмотря на усталость, я не мог уснуть и разнообразные мысли наполняли мою голову. Предстоящее свидание с известным предводителем хунхузов волновало меня и я старался представить его в своем воображении, как представлял его себе простой народ, в виде легендарного героя.

Тун-Хо был известен не только в Маньчжурии, он распространял свою деятельность и на часть Сев. Китая, представляя собой значительную реальную силу, которая обратила на себя внимание правительства и заставила его принять меры к ликвидации его деятельности.

Многочисленные шайки хунхузов, комплектуемые из самых разнообразных элементов населения, представляя собой надежный революционный кадр и ядро для готовящегося бунта.

Шайки эти, насчитывавшие в своих рядах до 60 тысяч отличных бойцов, конечно, были разрознены и не объединены. Недоставало только человека с сильною волей, популярного и предприимчивого, который сумел-бы сорганизовать в одно целое многочисленные партии хунхузов, разбросанные на обширной территории. Такой человек нашелся в лице Тун-Хо. Китаец по происхождению, он принадлежал к зажиточному классу южной Манчжурии.

В окрестностях Куан-чен-цзы у него были обширные поместья и своя торговая фирма в Инкоу. Имея постоянную связь с хунхузами, по своим торговым делам, отличаясь честностью и справедливостью, он приобрел значительное доверие и популярность не только среди хунхузских шаек, оперировавших в Маньчжурии, но и среди местного крестьянского населения.

Имя этого человека приобрело известный ореол и многие хунхузские шайки, выбрали его своим верховным главой. Сейчас-же после японской войны он становится во главе этих шаек.

Что заставило независимого обеспеченного человека сделать этот шаг и итти на рискованный и опасный путь главаря хунхузов и вступить в открытую борьбу с властью, остается тайной. Настоящая фамилия его была другая, в народе-же и среди своих приверженцев он был известен под именем Тун-Хо.

Не мало вложил он своих личных средств в дело организации военных отрядов, но казна его пополнялась, главным образом, налогами, которыми он облагал всех богатых людей, торговые фирмы и предприятия.

С непокорными и врагами он расправлялся беспощадно и подчас жестоко, но вероятно того требовала дикая своеобразная хунхузская психология и отчасти неизбежность создавшихся условий и обстоятельств.

Большая семья его, состоящая из нескольких жен и множества детей, находилась в одном из его поместий, в районе Куан-чен цзы, и никто не знал, что страшный предводитель хунхузов Тун-Хо, есть никто иной, как уважаемый, почтенный землевладелец и коммерсант южной Маньчжурии. Это обнаружилось уже впоследствии, когда сам Тун-хо был задержан и шайки его рассеяны.

Не будучи военным, он сумел организовать и дисциплинировать в одно крепкое целое разнузданную вольницу, состоявшую не только

из надежного старо-хунхузского элемента, но в большом проценте из отбросов общества и всякого сброда, преступников и уголовников.

Народная молва приписывала ему, конечно, особые сверхъестественные качества и самое имя его было окружено чудесным ореолом святости и колдовства.

Суд и расправу над своими сподвижниками он производил сам и карающая рука его, вооруженная Маузером, не давала пощады трусам, лжецам, грабителям и нарушителям установленной железной дисциплины. К нему стекались все недоволные, униженные и оскорбленные, угнетенные и преследуемые законом.

Имея всюду своих агентов, Тун-Хо всегда был в курсе всех дел и жизни края, или как говорили тогда, „глаза и уши Тун-Хо везде".

Крестьянам и беднякам он помогал, и они всегда находили у него защиту и покровительство. Обаяние его среди всего населения было так велико, что одно только имя его наводило страх и трепет.

Кроме недюжинных способностей и огромной силы воли, Тун-Хо обладал еще государственным умом в высокой степени, что дало ему возможность справиться с труднейшею задачей организации восстания и сформирования отрядов в дикой безлюдной стране, каковою была в то время Маньчжурия.

По существу своей деятельности, это был несомненно выдающийся хунхузский вождь.

Имея всюду своих сообщников и пользуясь доброжелательством всего населения, Тун-Хо везде имел приют и гостеприимно раскрытые двери. Запуганные и терроризированные им местные власти не осмеливались его трогать и принуждены были смотреть сквозь пальцы на его деятельность.

Местные китайские войска в военном отношении были ниже всякой критики и не могли противостоять организованным, хорошо вооруженным хунхузским отрядам Тун-Хо. Знаменные войска были не лучше, и спокойно сидели в своих крепостях-импанях, курили опиум и по вечерам громко трубили в свои длинные медные трубы, с целью устрашения видимых и невидимых врагов.

Таким образом Тун-Хо делал свое дело, и только в 1907 году Пекин опомнился, уяснив себе угрожающую опасность и послал в северную Маньчжурию, вновь сформированную из отборных войск дивизию, под командой генерала Чжан. Дивизия была сформирована, снаряжена и обучена, по образцу германской армии, и снабжена всем необходимым для действий в пересеченной горно-лесной стране.

КВ-ж дорогой было предоставлено все необходимое, для транспорта и передвижения этих войск в любой пункт на линии ж. д.

Для генерала Чжан был предоставлен бронированный пульмановский вагон, равно как и для его штаба и личного конвоя.

Резиденцией своей генерал избрал станцию Ханьдаохецзы, где был расквартирован в кит. поселке один полк вновь прибывшей дивизии.

По древнему маньчжурскому обычаю, генералу Чжан были предоставлены неограниченные права наместника богдыхана, в знак чего ему вручены стрелы, имеющие символическое значение неограниченной царской власти над жизнью и смертью всех без исключения подданных.

Прибыв в Маньчжурию, Чжан прежде всего, для ознакомления с положением вещей, объехал всю линию КВжд и на местах стал наводить суд и расправу над местным китайским населением, при чем всех, подозреваемых в пособничестве или соучастии Тун-Хо, без церемонии задерживал, предавая смертной казни, посредством обезглавления. Конечно, при таком способе следствия и суда, много пострадало невинных, но цель была отчасти достигнута, т. к. местное население, терроризированное и запуганное, находясь между двух огней, утратило всю свою активность и принуждено было в этой борьбе держаться пассивно, боясь навлечь на себя репрессии грозного Чжана.

По некоторым данным можно почти с достоверностью сказать, что, за время владычества в Маньчжурии генерала Чжана, срублено было не менее 3 тысяч китайских голов.

Преследовать Тун-Хо в открытую — Чжан не решился, т. к. в лесах и горах Гириньской провинции все тактические преимущества находились на стороне хунхузов.

Все незначительные столкновения и бои, происходившие между войсками Чжана и хунхузами, оканчивались в пользу последних. Так продолжалось до 1908 г.

Зимой этого года Тун-Хо начал концентрировать свои силы и первый значительный бой произошел в окрестностях ст. Шитоухецзы, при чем Тун-Хо искусным маневром завлек один батальон Чжана в узкое ущелье и уничтожил его поголовно. Между прочим весьма характерны действия Тун-Хо, предшествовавшие этому сражению.

Узнав, что Чжан созвал совещание военачальников и местных подрядчиков, для принятия того или другого решения, Тун-Хо переоделся в платье одного из подрядчиков и загримировался под его лицо и в таком виде явился на военный совет Чжана, где и узнал весь его стратегический план, следствием чего и было уничтожение целого батальона пекинских войск. Это неудачное сражение имело огромное влияние на психологию не только местного населения, но и на дух войск самого Чжана. После этого заметно поколебалась дисциплина в пекинской дивизии и, несмотря на суровые меры, принимаемые Чжаном, участились случаи дезертирства солдат к хунхузам.

В это время хунхузы были сосредоточены на Вост. линии, в районе станции Имяньпо-Шаньши. Численность их доходила до 10 тысячь; план Тун-Хо заключался в окружении войск Чжана кольцом и захвата его самого на ст. Ханьдаохецзы. Генерал Чжан был весьма самоуверен и не допускал мысли о возможности осуществления этого плана, но все-же принимал меры; но положение его становилось критическим и он все чаще и чаще уезжал из Ханьдаохецзы для объезда линии с бронепоездом. События очевидно назревали, и Чжан, вероятно, сознавал невыгоды своей позиции, но из самолюбия, или из других соображений, помощи у Пекина не просил, ограничиваясь возведением окопов и укреплением передовых пунктов в районе станции Ханьдаохецзы.

Русские войска в этой борьбе участия, из политических соображений, не принимали отчасти по просьбе самого Чжана, получившего соответствующие инструкции из Пекина.

Вокруг Хандаохецзы сосредоточены были отборные хунхузские отряды. На самой станции и в кит. поселке находились их шпионы и Тун-Хо ждал только удобного случая, для нанесения решительного удара.

В таком положении находилось дело, когда я попал в плен к одному из отрядов Тун-Хо и ждал появления в фанзе зверолова самого предводителя.

Долго я не мог заснуть, но усталость взяла свое и я забылся в крепком сне, даже на теплом кане, рядом с великаном хунхузом.

Под утро, когда забрезжил рассвет, я был разбужен хозяином фанзы, который объявил мне, что пришел сам Тун-Хо. Протерев глаза и осмотревшись, я увидел, что в фанзе никого нет, но снаружи доносились голоса и слышен был лязг оружия и топот ног. Часового возле меня не было и моя винтовка лежала на кане.

Не соображая в чем дело, я взял свою винтовку и вышел из фанзы. Солнце еще не взошло, но было достаточно светло, чтобы видеть все происходящее. У фанзы толпились хунхузы и оба начальника отряда стояли перед незнакомым мне китайцем.

Наружность его невольно обращала на себя внимание. Среднего роста, широкий в плечах и с могучей шеей, он производил впечатление физически сильного человека. В особенности характерно было его лицо: довольно правильные черты, орлиный тонкий нос, широкие скулы, косо поставленный прорез глаз изобличали в нем южный тип китайской расы.

Взгляд его был суров и проницателен; массивный подбородок обнаруживал силу воли и властность. Манеры его были изящны и деликатны. Одежда его мало отличалась от обычной формы хунхузов, только через плечо на ремешке перекинут был в футляре бинокль Цейсса, да на поясе виднелся пистолет-автомат-Маузера.

На бритой голове виднелась дорогая соболья шапка. На вид ему было лет 40. Некоторое время я стоял поодаль и наблюдал за Тун-Хо, стараясь запечатлеть в памяти фигуру знаменитого вождя. Повидимому, он отдавал какие-то приказания своим военачальникам; голос его был громкий и внушительный.

Все окружавшие были, повидимому, его ближайшие сотрудники и начальники отрядов. Их было человек десять. Они стояли, почтительно склонив головы, и изредка подавали свои реплики.

Так продолжалось с четверть часа. Затем совещание было окончено и военачальники начали расходиться. Заметя меня, стоящего невдалеке у фанзы, — Тун-Хо быстрыми шагами подошел ко мне и на чистом русском языке произнес:

— „Вы русский? Из Хантахезы? Зачем вы сюда пришли, так далеко от линии ж. д. ?“

Я объяснил ему, что я охотник и часто посещаю этот район, богатый дичью.

— „Каких-же зверей вы стреляете?—Снова задал мне вопрос Тун-Хо, пронизывая меня своим острым упорным взглядом, при чем рука его, с длинным ногтем на мизинце, опиралась на рукоятку Маузера.

Внутренно я волновался, но старался не обнаружить этого и спокойно отвечал, что стреляю кабанов, изюбрей, козуль, медведей и других зверей, которых потом вывожу на станцию Ханьдаохецзы.

Затем спросив мою фамилию, место службы и род занятий и сделав знак рукою, обозначающий, что ауденция окончена, вошел в фанзу. За ним вошли трое из его приближенных. Очевидно Тун-Хо собирался завтракать, т. к. хозяин зверолов и другой китаец, вероятно повар, суетились у очага и бегали в кладовую за продуктами.

Часть хунхузов куда-то отправилась по тропе на перевал Лао-Лин, меньшая часть расположилась у костров на берегу реки.

Я стоял в нерешимости и не знал, что предпринять, но вскоре из фанзы вышел великан хунхуз и передал, что начальник (т.-е. Тун-Хо) просит на чашку чая. Мне хотелось поскорее уйти отсюда, но отказать не было возможности и я вошел вслед за великаном в фанзу. Тун-Хо и его свита сидели на канах и пили ароматный чай из глиняных-чашек. Жестом пригласив меня сесть на кан, Тун-Хо подал мне налитую чашку, проговорив: «пожалуйста».

Церемония чаепития происходила в полном молчании, чему я был рад, т. к. ожидал расспросов со стороны Тун-Хо относительно расположения войск Чжана, но, очевидно, хунхузы были осведомлены об этом лучше, чем я сам, и оставили меня в покое.

Выпив почти залпом горячий чай, я отказался от дальнейшего угощения, откланялся, закинул ремень винтовки за спину и вышел из фанзы. На мой поклон Тун-Хо кивнул мне головой, при чем на лице его я впервые увидел улыбку. Следом за мной из фанзы вышел великан и вручил мне клочек бумаги с печатью, непонятными для меня иероглифами, при этом он сказал: ,,Начальник приказал выдать пропуск, так как наши солдаты опять вас задержат. С этой бумажкой вы пройдете свободно". Я поблагодарил и, спрятав пропуск в карман тужурки, сначала двинулся по тропе на перевал, но, пройдя верст пять, свернул в сторону, т. к. несмотря на бумажку от Тун-Хо, мне не хотелось встречаться с хунхузами. Я пошел целиной, направляясь на юго-запад, рассчитывая выйти к разъезду Сандавоцзи к вечеру того же дня. Идя по тайге, пересекая хребты, глубокие пади и скалистые ущелья, я несколько раз имел случай наблюдать зверей в их обычной обстановке и некоторые моменты их жизни.

В одном месте в дубняках на солнопеке я долго наблюдал медведей на жировке, при чем интереснее всего то, что медведи разных видов повидимому живут очень дружно. На старом большом дубе сидела семья черных гималайских медведей, состоящая из мамаши и двух полувзрослых медвежат, они объедали желуди, обламывая ветки с желудями, при чем много желудей падало вниз на землю.

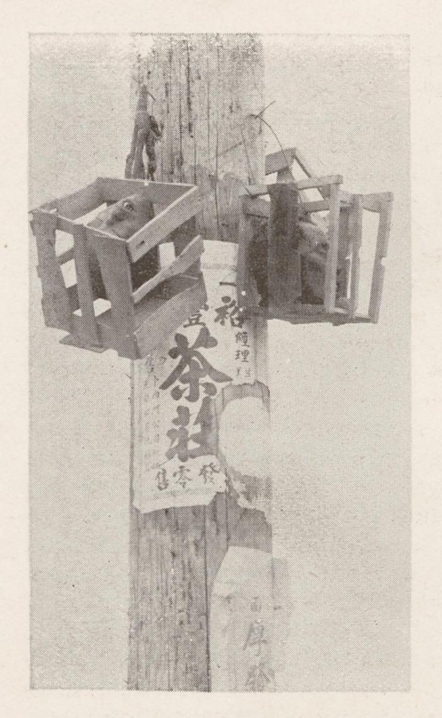
Под дубом разгуливал огромный бурый медведь и лакомился желудями, падающими с дерева.

Медведица, видимо, волновалась и не одобряла поведения своего бурого родственника, но прогнать его не решалась, не рассчитывая, конечно, на галантность четвероногого кавалера.

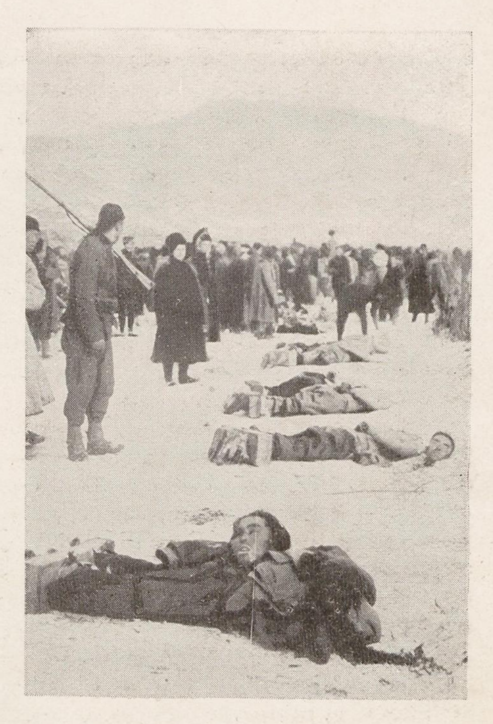
Я долго любовался этой таежной идиллией, но день клонился к вечеру, а до станции было не менее 10 верст. Уже совсем стемнело, когда я подходил к линии ж. д. Вдали виднелись огни Сандавоцзи, но не желая иметь дело с передовыми постами китайской охраны, я направился прямо на линию и нигде не встретил ни одного китайского солдата.

Так состоялось мое первое свидание с Тун-Хо. Впоследствии, месяца через два, я увиделся с ним опять, но при совершенно других обстоятельствах; но об этом после.

Теперь-же я хочу изложить события последних двух месяцев в их хронологическом порядке. Хотя русское правительство не вмешивалось во внутреннюю политику Китая, но все-же негласно шло навстречу генералу Чжану и помогало ему во всех случаях, когда это представлялось возможным. Тем не менее положение пекинских войск



На позорном столбе.



Казнь хунхузов.

Войска Чжана в погоне за хунхузами.

становилось день ото дня все хуже и назревали события огромной важности. Генерал Чжан, думая воздействовать на население, рубил головы на лево и направо и тем обнаруживал свое бессилие и отчаянное положение.

Местное китайское население почти открыто становилось на сторону Тун-Хо, выражая ему сочувствие и солидарность. Ряды хунхузских войск пополнялись все новыми повстанцами.

Оружие какими-то тайными путями доставлялось в тайгу. Русское население, расположенное по линии КВжд. хотя стояло в стороне от этого движения, но симпатии его скорее были на стороне Тун-Хо, который рисовался в воображении многих каким-то легендарным героем.

Так шли дни за днями.

Кольцо хунхузских войск охватывало все теснее и теснее район расположения дивизии Чжана. Последний, видя свое бессилие, пошел на компромис и несколько раз посылал к Тун-Хо делегацию, для переговоров, предлагая ему полную амнистию и почетную должность в войсках, но непреклонный и гордый Тун-Хо категорически отверг все предложения Чжана и прервал переговоры. Тогда Чжан, сознавая, что усилия его напрасны, объявил Тун-Хо вне закона и от имени богдыхана обещал высокую награду и большую сумму денег за голову предводителя хунхузов. Обещание было очень соблазнительное, но среди войск Тун-Хо не находилось предателя: обаяние вождя было слишком велико. В это время Тун-Хо выехал на юг, в Куанченцзы, чтобы согласовать свои действия с отрядами, опирирующими в районе Гирина и Мукдена. По пути он заехал в свое поместье, к семье и попал как раз на свадьбу своей дочери. Во время совершения обряда, поместье было окружено сильным отрядом конницы и Тун-Хо был арестован, закован в ручные и ножные кандалы и под усиленным конвоем отправлен на ст. Куанченцзы. В это время из Пекина прибыла на КВжд свежая дивизия новых войск с пулеметами и участь Тун-Хо была решена. Оказалось, что генерал Чжан подослал в хунхузские отряды своих переодетых офицеров и солдат, которые следили за Тун-Хо и своевременно дали знать Чжану о поездке вождя в Куанченцзы. Солдат, первый сообщивший об этом Чжану, был им щедро награжден и произведен в офицерский чин.

Будучи арестован и находясь в г. Куанченцзы, Тун-Хо просил разрешения поговорить с народом.

Во исполнение древнего обычая, когда смертнику разрешается последнее слово публично, его вывели в кандалах на площадь, под охраной. Народ сбежался со всех окрестностей, посмотреть и услышать последнее слово популярного хунхуза.

Тун-Хо был поставлен на высокий ящик. Обращаясь к толпе, он говорил внятно и громко и каждое слово его врезывалось в сердца слушателей, производя огромное впечатление. К сожалению, подлинная его речь не сохранилась для истории, но кой-какие обрывки из его слов запечатлелись и передавались потом из уст в уста, распространяясь среди местного населения. По окончании своей речи, Тун-Хо стал на колени и поклонился народу, прося у него прощения.

Многотысячная толпа замерла, слушая речь знаменитого хунхуза и, по окончании ее, ответила ему могучим криком согласия и одобрения. Крик этот, вылетевший из многих тысяч грудей, поколебал

воздух и разнесся многократным эхо по полям и долам Маньчжурии. Так был пленен Тун-Хо.

Привезенный на ст. Ханьдаохецзы, Тун-Хо был посажен в тюрьму в китайском поселке, где содержался, скованный по рукам и ногам, под усиленной охраной отборных пекинских солдат. Генерал Чжан в это время получил из Пекина распоряжение, предложить Тун-Хо помилование, под условием поступления в войска, с награждением чином полковника. Предложение это, переданное непосредственно от богдыхана, генерал Чжан должен был по этикету прочитать перед Тун-Хо лично сам. Во время чтения Чжан стоял, взяв руку под козырек фуражки, но Тун-Хо встать не согласился и выслушал телеграмму богдыхана сидя. По окончании чтения, Тун-Хо не пошевелился и не дрогнул ни один мускул на его суровом лице.

— „Передайте богдыхану, что Тун-Хо никогда не был изменником и смерти не боится. Судьба изменила ему и он должен умереть!" и просил больше его не беспокоить этими вопросами.

Согласно принятому этикету, церемония эта все-же повторялась втечении трех дней, но с теми-же результатами.

За отсутствием вождя, в хунхузских отрядах возникли несогласия и раздоры из за старшинства. Дисциплина быстро начала падать и некоторые крупные партии ушли совсем, или рассеялись. Население, узнав о пленении Тун-Хо, разочаровалось и не с такой охотой оказывало хунхузам поддержку, в виде продуктов и гостеприимства. Началась деморализация, грабежи, насилия и прочие аттрибуты разложения и анархии. Чжан был отлично осведомлен об этом через своих шпионов и, ослабляя охрану, отправил обратно в Пекин первую дивизию войск, оставив при себе самые надежные части.

Со времени пленения Тун-Хо, восстание можно было считать ликвидированным, о чем генерал Чжан и доносил в Пекин, приписывая себе победу над Тун-Хо, с перечислением количества отрубленных „хунхузских" голов.

В декабре 1908 года генералом Чжаном объявлено было о предстоящей казни Тун-Хо на ст. Ханьдаохецзы.

Накануне дня казни к станции начали стекаться толпы китайцев даже из далеких мест, верст за 60-70. Обычное место казни находилось к востоку от кит. поселка, в двух верстах от вокзала. Еще накануне, за день до назначенного дня, на лобном месте скопилось десятка два тысяч китайцев.

Мороз был сильный и чтобы не замерзнуть в долгую декабрьскую ночь, пришельцы жгли огромные костры, разложенные вдоль реки, на протяжении нескольких верст. Но вот наступило утро следующего дня.

Темные массы китайцев заколыхались и начали подтягиваться к месту казни, располагаясь вокруг него кольцом. Китайская милиция и отряды пекинских войск расталкивали народ и так-же окружили лобное место тройным кольцом густых цепей. На склонах ближайших сопок расставлены были сильные пикеты, вооруженные пулеметами.

Генерал Чжан, хотя и знал о разложении хунхузских отрядов, но все-же из предосторожности принял необходимые меры, на случай внезапного нападения хунхузов, с целью отбить плененного вождя.

Как только красный диск зимнего солнца осветил лесистые вершины гор, к лобному месту потянулся печальный кортеж смертников. Их было 27 человек. Каждый закован был в ножные деревянные ко-

лодки. Все они были размещены на арбе, по два человека, только Тун-Хо находился один на арбе, впереди всего кортежа.

Сбоку каждой арбы прибиты были высокие доски, где наклеиваются объявления китайскими иероглифами, с обозначением фамилии смертника и преступления, им совершенного. К каждой арбе был приставлен конвой из четырех солдат. Впереди всего кортежа выступал конный отряд в 50 рядов, во главе с командиром знаменного полка. За отрядом двигались конные трубачи, трубившие в длинные медные трубы. Грубые, низкие, клокачущие звуки этих древних музыкальных инструментов, резко рассекая морозный воздух, неслись в горную туманную даль, отражаясь многократным эхо в таежных падях и ущельях.

Было что-то таинственное мистическое в этих диких звуках, в тишине наступающего яркого радостного дня. Казалось, что звуки эти исходят из глубины веков, из тьмы времен и кровожадный зверь из бездны требует себе человеческих жертв.

Тун-Хо был совершенно спокоен и казался равнодушным. Во рту его дымилась неизменная трубка с нефритовым мундштуком. Я узнал его сразу, но лицо его приняло еще более суровое выражение и орлиный нос обострился.

Среди толпы китайцев, окружившей смертников, я заметил несколько знакомых лиц и вспомнил, что я их видел в тайге, на перевале Ляо-Лин, когда был задержан хунхузами. Несомненно здесь было много сподвижников Тун-Хо, пришедших отдать последний долг своему любимому вождю.

Остальные смертники, ехавшие на арбах, вели себя так-же довольно спокойно, но в выражении глаз их заметна была смертельная тоска, граничащая с отчаянием. Многие лежали на арбах в состоянии опьянения, т. к. накануне казни, по установленному обычаю, их поили крепким ханшином, с одурманивающим настоем.

По прибытии на место казни, солдаты-конвоиры сняли хунхузов с арб и на руках отнесли на заранее назначенные места, вытянувшиеся в одну линию, поперек площади, в расстоянии трех шагов друг от друга. Всех их поставили на колени, лицом к востоку, чтобы дать им возможнось последний раз взглянуть на восходящее солнце.

Куртки и рубахи с них были сняты и они остались обнаженные до пояса. Руки их были связаны на спине веревкой. Сзади каждого хунхуза стало по два солдата. Тун-Хо стоял на коленах на правом фланге; под ним разостлан был шелковый ковер. Около него суетились какие-то темные фигуры, оказалось, что это близкие родственники, приехавшие из Куанченцзы за телом Тун-Хо.

Казалось, все было готово для совершения казни, но ждали еще самого Чжана, для прочтения всенародно повеления богдыхана. Минут через десять примчался на рысях Чжан, со своей свитой и, осадив монгольского иноходца посреди площади, быстро вынул какую-то бумагу из кармана и громко прочел текст повеления богдыхана о предании смерти Тун-Хо.

Перед этим старший начальник скомандовал „на караул" (по китайски) и войска взяли ружья, как полагается по уставу. Толпа застыла и наступила торжественная тишина, нарушаемая только храпом и фырканием лошадей. Голос Чжана резкий и громкий, рубил как топором эту тишину. Коленопреклоненные хунхузы слушали с сосредо-

точенным вниманием. У Тун-Хо руки не были связаны и он курил свою длинную трубку.

По окончании церемонии, Чжан со своей свитой и конвоем отъехал в сторону и отдал распоряжение приступить к исполнению казни. В это время из толпы вышел на площадь гигантского роста китаец, одетый во все черное; голова его была повязана черным платком.

Это был палач, специально присланный из Пекина. Лицо его темно-бронзового цвета, и вся фигура олицетворяла какую-то дикую силу, присущую хищному зверю. В руках его сверкал остро отточенный, широкий, немного искривленный меч, с длинным эфесом. За ним следовал его помощник, маленький человечек, так-же одетый во все черное; в руках его виднелся длинный и узкий нож. Эта почтенная и страшная пара вышла на середину плошади и остановилась перед Чжаном, в ожидании дальнейших распоряжений.

Внимание толпы обращены было на палачей, вид которых производил потрясающее, жуткое впечатление. Казалось, что это не обыкновенные люди, а исчадия самого ада, исполнители злой преступной воли. Так прошло минут пять. Чжан важно сидел подбоченясь на своем белоснежном иноходце и видимо с наслаждением наблюдал унижение и предсмертные муки своего врага. Затем, по мановению его руки, палач крикнул что-то своим диким голосом и в несколько прыжков очутился на правом фланге шеренги смертников.

Один взмах меча, блеснувшего в руках великана, и отсеченная голова Тун-Хо, отделившись от туловища, покатилась по утоптанному снегу, обогряя его алою кровью. Обезглавленное туловище, оставаясь некоторое время в прежнем положении, подалось вперед и упало на ковер. Из рассеченных артерий шеи хлынул фонтан крови и, шипя и клокоча, разливался по ковру, стекая струями на снег, жадно его впитывающий. В это-же время помощник палача перевернул туловище Тун-Хо на спину и одним взмахом своего ножа вскрыл грудную клетку, запустил туда левую руку и вытянул трепещущее сердце.

Вторым взмахом он перерезал аорту и жилы и передал его палачу, тот быстрым движением выхватил у него горячее, истекающее кровью сердце, поднял его над собой, крикнул что-то своим зычным голосом, как кричит хищная птица, терзая еще живую жертву, и бросил его далеко в толпу. Что произошло затем, описать трудно. Застывшая на мгновение народная масса ринулась к этому сердцу и каждый старался урвать от него хоть маленький кусочек.

Произошла давка, свалка и драка. Кому досталось сердце Тун-Хо неизвестно, но вскоре порядок был восстановлен палками милиционеров и прикладами солдат. По народному поверью, сердце героя и храброго человека (или частица его) является талисманом и приносит счастье. Пока все это происходило, я подошел к голове Тун-Хо и взглянул в его открытые глаза, они все так-же былы суровы и казалось сознание еще не покинуло их.

Он смотрел на меня пристально и почудилось мне, что глаза его дрогнули, заморгали и снова взгляд их остановился на мне.

Но вскоре они начали тускнеть и взгляд остеклился. На меня смотрела смерть.

Труп Тун-Хо и голова его взяты были родственниками, уложены в заранее приготовленный гроб и увезены в поселок, для отправления на родину.

Бросив в толпу сердце вождя, палач быстро перебегал от одного смертника к другому, взмахом меча отсекал голову, предварительно крикнув ему какое-то предупреждение. Головы катились как кочаны капусты и потоки крови струились, впитываясь в снег и окрашивая его в алый цвет.

Каждый удар меча по шее сопровождался особым хрястом, при пересекании шейных позвонков. Если палачу неудавалось одним взмахом отрубить голову и она повисала на коже или хрящах дыхательного горла, помощник доканчивал его дело своим острым ножом.

Вся процедура отсекания голов, произошла очень быстро, не более как в четверть часа. при чем смертники стоя на коленях внимательно следили за этой процедурой, спокойно ожидая своей очереди и подставляя шею под удар беспощадного меча.

Покорность судьбе и хладнокровие их были удивительны. В числе зрителей много было русских, при чем с некоторыми, при виде этой потрясающей картины казни, сделалось дурно и их пришлось оттирать снегом. Таково действие на психику человека этого кровавого зрелища.

По окончании казни, генерал Чжан со всей своей свитой, покинул лобное место и, при звуках труб и литавров, уехал на станцию.

Часть трупов казненных была взята родственниками, для погребения, не взятые-же закопаны в заранее приготовленную яму, при чем, по окончании засыпки ямы землей, по месту этому несколько раз прошел эскадрон кавалерии пекинских войск, дабы сгладить самое место погребения казненных.

В тот-же день головы казненных хунхузов, привязанные за косы, выставлены были на частоколе, при входе в китайский поселок, и вороны стаями вились над ними, с довольным карканьем.

Когда я подошел к ним, чтобы взглянуть поближе, у многих голов глаза и мясистые части были уже расклеваны птицами. Налетевший ветер трепал их волосы и черные косы как змеи, шевелились и извивались между сухими решетинами частокола.

К полудню на месте казни не было уже ни одной души и только стаи ворон справляли кровавую тризну, да голодные собаки с жадностью поедали запекшиеся сгустки человеческой крови.

Яркое маньчжурское солнце светило с высоты безоблачного неба.